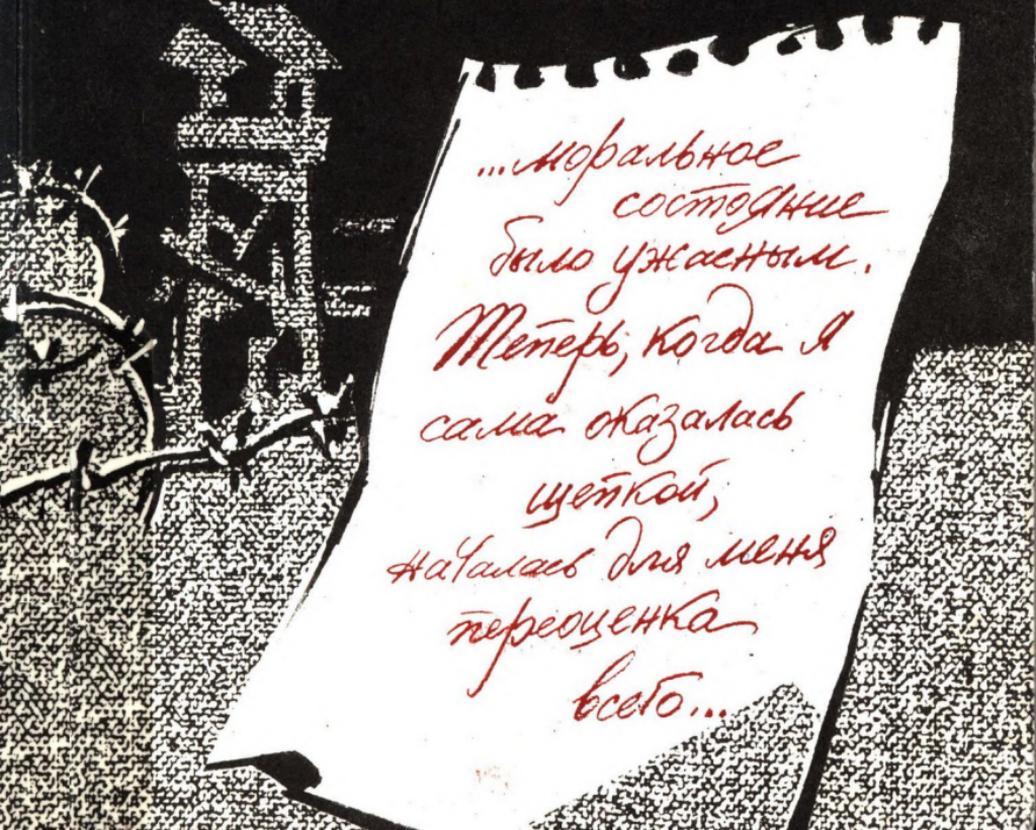


распятые



...моральное
состояние
было ужасным.
Мать, когда я
сама оказалась
щёткой,
началась для меня
переоценка
всего...

РАСПЯТЫЕ



Писатели —
жертвы
политических
репрессий

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ

Захар Дичаров

ВЫПУСК 4

От имени живых...

Историко-мемориальная комиссия
Союза писателей
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Отделение издательства «Просвещение»
1998

УДК 929
ББК 83
Р 24

*Настоящее издание осуществлено
на средства депутатского фонда
Председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Юрия Анатольевича Кравцова*

От имени писателей Санкт-Петербурга
выражаем ему искреннюю признательность
за сочувствие и помощь

Распятые. Писатели — жертвы политических репрес-
сий: Вып. 4. От имени живых... / З. Л. Дичаров — авт.-
сост. СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1998.— 255 с.:
ил.— ISBN 5-09-009028-9

В четвертом выпуске книги «Распятые» своими воспоминаниями о годах, проведенных в тюрьмах и лагерях, делятся ныне живущие писатели — жертвы политических репрессий.

© Издательство «Просвещение»,
Санкт-Петербургское отделение, 1998
Все права защищены

ISBN 5-09-009028-9

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАМЯТИ

Людам, из жизни которых были свирепо вырваны пятнадцать-двадцать лет творческого труда, здоровье, радость семейного очага, вряд ли могло даже присниться, что наступит время возвращения на свободу, время воскрешения из небытия не только памяти о погибших, но и всего того, что создано их трудом.

Однако представление о том времени не может быть полным, если перед читателем не возникает и сама личность того, кому принадлежит запечатленное слово, личность литератора.

«От имени живых...» — так называлась книга, которой предстояло увидеть свет в издательстве «Советский писатель» еще несколько лет назад.

Ее написала группа литераторов: Даниил Аль, Игорь Бахтерев, Анатолий Горелов, Захар Дичаров, Владимир Днепров, Дмитрий Лихачев, Адриан Македонов, Игорь Михайлов, Надежда Рыкова, Василий Соколов, Иван Уксусов, Вадим Фролов.

У всех позади годы и годы тюрьмы, лагеря, ссылки... Всего лишь несколько оставшихся в живых из более чем 130 ленинградских литераторов, подвергшихся незаконным репрессиям, рассказывали о себе, о своей судьбе. О выстраданном. О пережитом. У каждого из них до ареста уже было литературное имя. О себе же могу сказать, что первая моя книга вышла в 1932 году, то есть за пять лет до ареста. Это были очерки, посвященные путиловской комсомолки.

И вот она — корректура подготовленной к печати рукописи. Наискосок, на уголке титульного листа несколько слов: «В печать по исправлению. 19 сентября 1991 года». И моя подпись.

Однако — нет: начиналась эпоха рынка, судьбу книги решал не голос разума, не сила чувств, а только сухой коммерческий расчет. Издатели были глухи к велению времени: «О пережитом — правду и только правду».

Корректура сохранилась. Тиража не последовало.

А годы делали свое неумолимое дело, и живые, вчера еще сидевшие за рабочим столом, уходили из жизни. Они не дождались своей публикации. Это Игорь Владимирович Бахтерев, Анатолий Ефимович Горелов, Владимир Давыдович Днепров, Симон Давыдович Дрейден, Адриан Владимирович Македонов, Игорь Леонидович Михайлов, Надежда Януарьевна Рыкова, Ва-

силий Андреевич Соколов, Иван Ильич Уксусов, Вадим Григорьевич Фролов.

Но их слово живет. Мы его сохранили.

И еще минуло какое-то время, пока, наконец, неизданная рукопись обрела голос. Она становится частью тетралогии «Распятые». И хотя «иных уж нет», название ей оставлено прежнее: «От имени живых».

Все, что содержится в книге, сказано живыми и от имени живых... Прочтенная многими, она останется жить в их душе и сознании, ибо как сказал поэт,

...в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может *.

Открывают книгу воспоминания Даниила Аля (Альшица). Даниил Натанович — доктор исторических наук, автор трудов по русской истории VIII — XVI веков.

Своими воспоминаниями о годах, проведенных в тюрьме, делится драматург и прозаик Игорь Бахтерев.

Большое место отводится воспоминаниям одного из старейшин литературного цеха Ленинграда Анатолия Горелова. И дело здесь не в возрасте: почти всем авторам настоящего сборника было далеко за семьдесят, а кому и за восемьдесят. Горелов — участник такого этапного события в истории социалистической культуры, как Первый Всесоюзный съезд писателей (1934 год) — с момента основания Союза писателей и по 1937 год руководил его Ленинградским отделением; много и плодотворно работал в молодежной и партийной публицистике. На протяжении ряда лет возглавлял журнал «Резец» — издание, ставшее первой творческой трибуной для многих молодых литераторов.

Творческую манеру Анатолия Горелова не спутаешь с манерой Надежды Рыковой, а стиль Адриана Македонова — со стилем Ивана Уксусова. И если одни (это я могу сказать и о себе) показывают прежде всего мрачную действительность сталинщины, как бы говоря: «Вот то, что было. Смотрите и оценивайте, делайте выводы сами», то другие не избегают обобщений. Воспоминания Анатолия Горелова в этом отношении особенно верны: о чем бы он ни говорил, какой бы случай из своей тюремной, лагерной или ссыльной жизни ни припоминал, это неизменно повод для размышлений, причем не столько о собствен-

* Стихи Давида Самойлова.

ной судьбе, сколько о судьбах народа, партии, всей страны в целом.

Поэт Игорь Михайлов назвал свои мемуары «Сквозь ненастье». Чтобы придать репрессиям характер хоть какой-то юридической законности, каждому из арестованных предъявляли фальсифицированные обвинения. Мы знаем Игоря Михайлова — поэта. В своих воспоминаниях он проявляет себя как прозаик-мемуарист. Десятки лиц, пейзажи «отдаленных мест», человеческие характеры, множество точно изображенных деталей возникает под пером автора.

Страницы воспоминаний Адриана Македонова отданы главным образом периоду заключения. Молодой критик и литературовед, друживший с Твардовским, он открывает нам новые детали творческой биографии поэта; мы узнаем, что в 1937 году Твардовскому, как и многим его собратям, грозил арест, и лишь по чистому везенью он избежал его.

Перед нами предстает фигура одного из главных деятелей РАППа Авербаха, трагическая судьба матери Македонова. Вскоре после ареста сына она также была схвачена, а затем расстреляна. Сын узнал об этом через много лет.

Вспоминая собственное умонастроение той поры, Македонов вполне самокритичен. Даже тогда, когда он был сам арестован и получил восемь лет лагерей по ОСО, и после, находясь за решеткой, он еще долго пребывал в уверенности, что «отец народов» ничего не знает. Впрочем, справедливо заключает мемуарист, так же наивно рассуждали в 1937 году многие.

Люди, на многие годы лишённые свободы, переносили свое положение по-разному. Каждый в сущности вел собственную войну, и прежде всего с самим собой, с собственным малодушием, отчаянием, безнадежностью. Нужно было не дать себе пасть духом, опуститься. И главное — находить разумный смысл в том, что ты продолжаешь жить, не утратив надежды на будущее.

Надежда Януарьевна Рыкова — одна из них. Небольшая рукопись Надежды Рыковой тоже о власти насилия. «Лес рубят — щепки летят» — таков эпиграф, который предваряет название, звучащее символично: «Из воспоминаний щепки». Мы знаем Рыкову как переводчика, критика, литературоведа, чей многолетний труд подарил читателям произведения зарубежной литературы. Хорошо известны ее статьи о Мольере, Доде, Прусте, Франсе, Роллане. В переводах Рыковой были изданы Гюго, Расин, Мериме, Шекспир и многие другие.

Более шестидесяти лет прошло с момента первой публикации Н. Я. Рыковой: ее перевод книги Виванти «По газетному

объявлению» появился в 1925 году, а в 1987 году была издана в ее переводе «История Флоренции» Никколо Макиавелли, книга, которая доносит до нас напряженный драматизм эпохи Возрождения.

Когда знакомишься со страницами воспоминаний Надежды Рыковой, с ее рассказом о собственной судьбе, невольно хочется привести в некую параллель строки из «Истории», созданной четыре с половиной столетия назад: «Для укрепления государственной власти приняли также много других мер, не только непереносимых для тех, против кого они были направлены, но возмущивших даже честных граждан из партии, поддерживавшей Синьорию, ибо они отказывались считать прочным, уверенно стоящим на ногах государство, которое приходилось защищать с помощью таких насилий. Народ обманули».

Известная поговорка гласит: «Обманывается тот, кто хочет быть обманут». Страницы воспоминаний «щепки» Надежды Рыковой с удивительной точностью раскрывают нам одну из сторон этой трагедии, стремление и способность человека добровольно обманываться, показывают механику и логику самообмана.

В 1933 году в Ленинград из Берлина пришло письмо Анны Зегерс. Она описывала чудовищное зрелище, устроенное фашистами 5 мая на Александерплац: костер, в котором пылали книги Маркса, Энгельса, Ленина, классиков немецкой литературы. Сжигали также книги советских писателей: Юрия Либединского, Бруно Ясенского. Тут же корчились в огне страницы романа Ивана Уксусова «Двадцатый век».

Эта книга — одна из первых, написанных рукой рабочего, — получила в начале тридцатых годов широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом. На международной конференции писателей, проходившей в 1930 году в Харькове, Уксусов был самым молодым. Его приветствовали, поздравляли. Он увез с собой в Ленинград пятьдесят восемь книг с автографами на сорока трех языках, не предвидя, что эти подарки станут причиной его беды.

В 1935 году Уксусова арестовали и обвинили в том, что он шпион: дескать автографы на немецком, английском, французском, итальянском и других языках — не дружеские надписи, а шифровки.

Среди тех, кто подвергся репрессиям после гибели Кирова, не часто можно было встретить человека, который отделался бы тремя годами ссылки. Но прежде чем ссыльный Уксусов оказался на поселении в Тобольске, он прошел полный курс допросов в Большом доме на Литейном проспекте.

Ивана Уксусова избивали, топтали ногами, кастетом вышибали зубы. Одиночка, допрос, опять одиночка. Он рассказывает о своей жизни, не подвергая прошлое никакой внутренней цензуре. Несмотря на то, что ему довелось изведать на себе всю жестокость «сталинских опричников», он долгие годы продолжал верить Сталину и в Сталина, никак не причисляя его к виновникам произвола. Искренность писателя не вызывает сомнений.

Писатели, представленные в этой книге, имеют за плечами различный тюремно-лагерный стаж: от нескольких месяцев до двадцати лет. Игорь Бахтерев пробыл за решеткой в общем-то недолго. Но след того события остался в его жизни навсегда. Он был арестован в 1931 году, в пору, когда массовые репрессии еще не стали повседневной реальностью.

Молодой, двадцатитрехлетний, только что начавший печататься литератор, он был одним из организаторов литературной группы, известной под названием «Обериу». Девизом ее участников был поиск нового мироощущения в подходе к фактам и вещам. Арестованного водворили в ДПЗ — Дом предварительного заключения, как тогда называлась внутренняя тюрьма НКВД. Началось следствие. От Бахтерева потребовали признаний в совершенных им и другими обериутами преступлениях. Угрозами и моральным нажимом добивались, чтобы он оговорил Маршака. Но политическое беззаконие тогда еще не вошло и полную силу. Все окончилось тем, что Бахтерев был на три года изгнан из Ленинграда и Москвы, где проживание на этот срок было для него запрещено.

Ну а дальше ему просто повезло. Случилось так, что Сталину пришлось по душе пьеса И. Бахтерева и А. Разумовского «Полководец Суворов», поставленная в 1938 году Центральным театром Красной Армии. И этого оказалось достаточно, чтобы репрессии 1937 года писателя не коснулись.

Судьбы других обериутов — Хармса, Введенского, Туфанова, Д. Левина, Олейникова, Заболоцкого, Вагинова — складывались по-разному; Николая Олейникова расстреляли, Даниил Хармс погиб в тюремной больнице.

В книгу вошли и воспоминания Василия Соколова. Он учился в Ленинграде, затем работал в партийной печати в Новгороде. В середине тридцатых годов стали появляться в «Звезде», «Резце» и других изданиях его стихи, очерки и рассказы. Его приняли в свое содружество Александр Прокофьев, Александр Решетов, Бронислав Кежун. Творческий рост молодого литератора прервала общая беда: он был арестован, получил по ОСО

восемь лет лагеря, и вновь его произведения появились в печати только спустя два десятилетия.

Среди миллионов репрессированных была особая категория, о которой можно сказать, что за всю историю цивилизации подобной ей не существовало. Я говорю о тех, в чьих приговорах стояло четыре буквы: ЧСИР или ЧСВН. Это означало «член семьи изменника Родины» или «член семьи врага народа». Ими могли быть жены, матери, сестры, дочери и сыновья, которым быстрое и щедрое на расправу сталинское правосудие отмеряло по восемь-десять лет лагерей. В этом кровавом потоке изломанных, исковерканных человеческих судеб могли быть и были дети.

Совсем маленьких, тех, кого сделали круглыми сиротами, определяли в детские дома. Иногда общего типа, иногда — специальные. Подростков, кому исполнилось двенадцать-четырнадцать лет, отправляли в колонию, а тех, кто постарше, — в ссылку. Это было еще весьма милостивое наказание.

В книге бывшего генерала НКВД Александра Орлова «Тайная история сталинских преступлений» можно прочитать о том, что Сталин опасался молодежи даже больше, чем старых членов партии, так как в критический момент именно она могла превратиться в реальную угрозу для его тирании.

Детство и юность Вадима Фролова проходили среди людей, которые были живым олицетворением революции. Он знал их не по учебникам, в том числе и знаменитую Веру Фигнер. В тридцатые годы в стране существовало Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В нем состояли люди, которые встали на революционные баррикады задолго до Октября, яростно боролись с самодержавием, а затем становились узниками царских тюрем или каторги. В их числе были Лев Дейч, Феликс Кон, Иван Теодорович, многие другие. Общество издавало журнал «Каторга и ссылка», литературу о революционном движении в России.

В 1932 году Вадим Фролов вместе с матерью, Розой Рабинович, поселился в здании Дома политкаторжан в Ленинграде. Здесь жили представители самых различных партий, принявшие Октябрьскую революцию и поверившие в нее.

И Фролов, и его сверстники были самыми обыкновенными ребятами середины тридцатых годов. «До хрипоты спорили о литературе, до упаду танцевали, увлекались девчонками и спортом...» Но пришло время, и дом, в котором обитали люди революции, превратился в полигон произвола.

Поздняя осень 1938 года. Каждую неделю в стенах дома — аресты. «У Гнихов никого не оставили. Еще по нашей лестнице

взяли Гроздицкого и Кишкеля... Каждую ночь, как овцы, ждем, за кем придут». Схвачена мать Фролова, больше они не увиделись. Юношу отправили в ссылку, ее расстреляли. Впрочем, ссылкой для Вадима дело не ограничилось: в Сарапуле он без суда и следствия оказался за решеткой, так как отказался «помогать органам».

Парадоксальность лагерных дней и ночей, размашистых строек состояла в том, что показная человечность, фальшивая парадность, лицемерие, заменившие собой истинную гуманность, нередко принимались за чистую монету многими мастерами литературы. Горький, Погодин, Симонов — можно было бы и еще привести имена — с искренней, но, увы, такой сентиментально-неправедной восторженностью прославляли сталинский метод перековки преступников, нимало не усомнившись в его истинности.

«Записки из Мертвого дома» Достоевского давно уже стали классикой, когда речь заходит об изображении изломанного, искалеченного мира, скованного кандалами, окруженного тюремными стенами. Кто знает, быть может, годы спустя слова, сказанные в данной книге, тоже станут классикой. Ни один из авторов этих мемуаров даже в самых нечеловеческих условиях не утратил себя как личность, не поступился совестью, своим духом. И то, что выплеснулось сейчас на бумагу, уже само по себе есть разоблачение преступной лжи.

Воспоминания Владимира Днепров в общей картине исповедей стоят несколько особняком. Это объясняется не только обилием событий, определивших жизненный путь автора, но и их характером.

В 1919 году шестнадцатилетним подростком Днепров вступает в Красную Армию. В Киеве, где он родился и жил, полыхает гражданская война. Юный боец, связанный с большевистским подпольем, проходит опасную школу борьбы с контрреволюцией. Позже он становится одним из вожakov комсомола. В течение многих лет личной дружбой и работой он был связан с выдающимися людьми двадцатых годов. Почти все они подверглись впоследствии кровавым репрессиям. Рассказам о Шацкине, Кострове, Сырцове, Деборине, их судьбе посвящен ряд страниц очерка «Это было».

Владимир Днепров учился на философском отделении Института красной профессуры, с 1929 года преподавал в вузах Москвы, Ленинграда, Саратова, Воронежа. Потом наступил долгий перерыв — пять лет одиночки в Суздальском политизоляторе. Лишь много лет спустя смог он возвратиться к деятельной

жизни. Предметом его творческого труда — философа, критика, литературоведа — стал теоретический анализ историко-литературного процесса. Известны его крупные исследования: «Черты романа XX века», «Литература и нравственный опыт человека», «Идеи времени и формы времени», а также работы в области эстетики.

В своих воспоминаниях Днепров мало касается того времени, когда он находился в заключении. Главным образом он возвращается памятью к более раннему периоду своей жизни. Он стремится осмыслить тот отрезок нашей истории, который предшествовал исполинскому валу сталинского террора, — и как его жертва, и как историк и философ прослеживает генезис явления, которое мы однозначно называем сейчас сталинизмом, сталинщиной.

Днепров задает себе вопрос: как могло случиться, что партия, народ допустили общество до такого состояния, когда усилиями вышколенного, воспитанного в раболепии государственно-административного аппарата массы были низведены до скотского состояния. И действительно ли никто не сопротивлялся чудовищному давлению режима? Ответ на этот вопрос далеко не прост, но Владимир Днепров, опираясь на пережитое им самим, старается его дать.

«Какой же общий смысл того, что здесь рассказано? Следует важный общий вывод: поколение двадцатых годов шаг за шагом отходило от поддержки Сталина и отходило тем дальше, чем большую личную власть приобретал Сталин. Впитанные в плоть и кровь с молодых лет демократические традиции ленинской поры не мирились с державной властью одного лица... Можно с уверенностью сказать: политически мыслящая часть поколения двадцатых годов все дальше шла по пути противопоставления себя Сталину, — хотя и с отдельными срывами и колебаниями... Это предreshало судьбу поколения двадцатых годов — его можно назвать погубленным поколением. Какая скорбь охватывает, когда думаешь о громадных духовных, интеллектуальных и нравственных ценностях, которые погибли вместе с ним!»

Эти выдержки были бы только умозрительными рассуждениями, если бы не исходили из личного опыта: Днепров не раз встречался со Сталиным, он жил и работал в среде ученых-философов, крупных партийных работников, и ему не из вторых рук, а непосредственно были известны обстоятельства внутрипартийной борьбы того времени.

Один из представителей «поколения двадцатых годов», Владимир Давидович Днепров открывает такие обстоятельства и

факты эпохи, отстоящие от нас более чем на полвека, которые, быть может, и объясняют, как родились сталинизм и сталинщина, как совершился горестный поворот к «развитому» социализму, созданному под руководством Сталина, и спустя годы к ужасам расстрелов, раскулачивания, лагерей, на годы и годы обескровившим Россию.

Возвращаясь мыслями к прошлому, все мы, ранее репрессированные, оцениваем его на свой лад и по-своему. Одних томили в ледяных «кандеях», другим вышибали зубы и ломали ребра, третьи, поставленные на круглосуточный «конвейер», теряли сознание, четвертые тихо доходили в лагере от истощения. Но и за тюремными стенами, и за лагерной зоной атмосфера садизма, произвола, ничем не ограниченной жестокости, зверства была общей для всей страны. Ею дышали. Теперь, с высоты прошлого, для нас особенно важно подвергнуть всестороннему, в первую очередь нравственному и политическому, анализу эпоху сталинщины.

Бесконечно прав был А. И. Герцен, когда писал: «Кто мог пережить, должен иметь силу помнить».

Мы — помним.

Захар Дичаров,
Председатель
Историко-мемориальной комиссии
Союза писателей Санкт-Петербурга



**Даниил
Натанович
АЛЬШИЦ**

род. 1919

Министерство безопасности России
28 сентября 1993 года
№ 10/16—10807

Альшиц Даниил Натанович, 1919 года рождения, уроженец Петрограда, еврей, с высшим образованием, кандидат исторических наук, женат, член ВКП(б) с 1944 по 1945 год, в феврале 1945 года исключен из рядов ВКП(б) за сокрытие соц. происхождения и судимости отца, гражданин СССР. Награжден орденом «Красная Звезда» и медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Старший библиограф Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, проживал по адресу: Ленинград, ул. Пестеля, 14, кв. 15.

Арестован 6 декабря 1949 года Управлением МГБ по Ленинградской области по обвинению в пр. пр. ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР (антисоветская агитация).

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 28 июня 1950 года заключен в ИТЛ сроком на 10 лет. Находился в Каргопольлаге МВД.

Постановлением Центральной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселении, от 3 января 1955 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 26 июня 1950 года

в отношении Альшица Д. Н. отменено, дело на основании п. «б» ст. 204 УПК РСФСР в уголовном порядке прекращено.

Альшиц из-под стражи освобожден.

По заключению прокурора Санкт-Петербурга от 15 января 1992 года Альшиц Д. Н. подпадает под действия Закона РСФСР от 18 января 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», т. е. реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

АЛЬ (настоящая фамилия Альшиц) Даниил Натанович (3.11.1919, Петроград) — драматург, прозаик. Доктор исторических наук, профессор. В 1937 году поступил на исторический факультет Ленинградского университета. Участник Великой Отечественной войны. В 1945 окончил университет, в 1947 — аспирантуру. С 1948 — сотрудник Гос. публичной библиотеки (Ленинград), с 1955 работал в должности Главного библиографа. Автор трудов по русской истории VIII — XVI вв. Исследовал собственноручные поправки и дополнения Ивана Грозного к истории своего царствования. Популярное изложение этого исследования см. в книге Р. Пересветова «Тайны выцветших строк» (1961) и «По следам находок и утрат» (1961 и 1963). В конце 50-х обратился к драматургии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За трудовую доблесть» и др.

Опаснее врага. Сатирическая комедия в 3-х действиях.— В соавторстве с Л. Раковым. Л., Искусство, 1962. 98 с.; Правду! Ничего, кроме правды! Историко-документальная драма.— В сб. пьес Д. Аля «Правду! Ничего кроме правды!» Л., Сов. писатель, 1976. С. 79—138; То же.— В сб. пьес Д. Аля «Диалог». Л., Сов. писатель, 1987. С. 195—238; Приказа умирать не было: Повесть и рассказы. Л., Лениздат, 1980. 208 с.; То же. Повести и рассказы. 2-е изд. Л., Лениздат, 1985. 192 с.; Допетровская Русь в граде Петра: Рассказы из русской истории XVII — нач. XVIII вв.— Нева, 1989, № 2. С. 192—196; № 5. С. 204—206; 1991. № 7. С. 198—206; Рассказы из древнерусской жизни. В соавторстве с великим трагиком и столь же великим сатириком — Историей.— В альманахе «Белые ночи». Л., Лениздат, 1989. С. 291—326; Дела и люди.— Из кн.: «Хорошо посидели...» — Литератор, 1990, № 6; Дорога на Стрельну: Повесть и рассказы о молодых защитниках Ленинграда. Л., Детская литература, 1991. 240 с.; Хорошо посидели. Воспоминания времен сталинщины. Ч. I. Из книги того же названия. Нева, 1992, № 8. С. 96—165;

Никто не поверит, кто сам не бывал. Подборка стихотворений, написанных в заключении.— Санкт-Петербургские ведомости, 1992, 15 февраля; Мистер Твистер в Санкт-Петербурге. Стихотворный фельетон.— Лит. газета, 1991, 13 ноября; То же.— Санкт-Петербургские ведомости, 1992, 12 сентября; Наш гость из Санкт-Петербурга. Подборка стихотворений, написанных в заключении.— Литературные новости, 1992, № 3; Мать Ивана Грозного (Легенда). Литературные новости, 1992, № 6; Основы драматургии: Учебн. пособие для студентов института культуры. Л., ЛГИК, 1988. 64 с.

Научные труды по истории России

Нашествие Батыя. М., Воениздат НКО СССР, 1939. 47 с.; Иван Грозный и приписки к Лицевым сводам его времени. Исторические записки Ин-та истории АН СССР. Т. 23. М., Изд-во АН СССР, 1947. С. 251—289; Новый документ о людях и приказах опричного двора Ивана Грозного после 1572 года. Исторический архив. IV. Изд. Ин-та Истории АН СССР. М., Изд-во АН СССР, 1949. С. 3—71; Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей. Памятники XI—XVII вв. Описание. М., Книга, 1968, 158 с.; Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного.— Л., Наука, 1988, 244 с.

Даниил Аль

«СВОЯ» ТЮРЬМА

Тюрьма, как и война, у каждого своя. Значит, я могу дополнить своими воспоминаниями то, что уже написано на эту тему.

Мой следователь Трофимов отлично понимал лживость и фальшивость возведенных на меня обвинений. Но, будучи верным служакой, тем не менее делал все, чтобы «спасти» эту «липу», состряпанную оперативниками, от полного провала. У меня не было при этом ощущения, что он испытывает ко мне еще и личную неприязнь. Скорее — так, по крайней мере, мне казалось — он испытывал ко мне какой-то интерес. Это сказывалось в том, что он нередко заводил со мной разговоры на отвлеченные от существа моего дела темы, главным образом на исторические — о Петре, о Екатерине. (Я нарочно не называю в этом ряду Ивана Грозного, поскольку этот вопрос не был бы отвлечением от моего дела.) Так или не так, но свою служебную задачу — упрятать меня в лагерь в качестве «врага народа» — Трофимов выполнял старательно.

После окончания следствия и предъявления мне для ознакомления следственного дела я был переведен в общую камеру

№ 28. Собрали там больше двадцати человек. Дела у всех были абсолютно «липовые». У одного из моих новых сокамерников на руках была копия приговора Верховного Суда о его оправдании и освобождении из-под стражи. Поначалу все мы были убеждены, что нас собрали для освобождения. Но шли недели и месяцы. Стало ясно, что освобождать нас не собираются.

Примерно через четыре месяца нашего пребывания в этой общей камере, 23 августа, после завтрака, дверь камеры приоткрылась и корпусный сказал:

— Всем приготовиться на выход с вещами.

Мы стали собирать вещи в узелки. Все понимали, что мы расстаемся. Никто теперь не верил в освобождение. Многие, в том числе и я, верили в предстоящий суд. Так или иначе, мы понимали, что началось какое-то движение в сторону приговора, расставания с этой тюрьмой и заключения в лагерь.

Мы начали прощаться. Многие обнимались. У многих на глазах — слезы. Расставаться было грустно. Да, все мы успели привыкнуть друг к другу. Жалко было расставаться и с веселым Женькой Михайловым, мудрым и добрым Симоном Дрейденом, с симпатичными рабочими братьями Лаврениевыми, с российским чемпионом по шахматам Кронидом Харламовым, с конструктором авиамоторов Климовым.

Но вот снова раскрылась дверь.

— Климов с вещами.

Дошла очередь и до меня. Махнув на прощание рукой товарищам, я пошел, направляемый надзирателем, куда-то вниз по лестнице.

Сердце билось учащенно. Я понимал, что иду навстречу своей новой судьбе, не сулившей ничего, кроме новых мучений и тягот. Старался себя подбадривать. Хорошо-де, что настанет какая-то определенность: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Меня привели на второй этаж к двери кабинета начальника тюрьмы. Дверь была открыта.

— Входите, — сказал надзиратель.

Я вошел. В кабинете стояла массивная мебель, обтянутая черной кожей, — диван с высокой спинкой, кресла. Напротив двери стоял большой письменный стол, за которым сидел молодой майор МГБ. Я обратил внимание на университетский значок у него на груди.

— Садитесь, пожалуйста. Ваша фамилия?

Я назвалсся.

Майор протянул мне бланк, размером меньше половины обычного бумажного листа. В его верхней части было типограф-

ски напечатано: «Особое Совещание при Министре государственной безопасности СССР». Ниже было впечатано на машинке: «Выписка из протокола от ...июля 1950 года». По сторонам, разделенным вертикальной чертой, было впечатано на машинке:

Пункт протокола 136.

Слушали:

Постановили:

Дело по обвинению такого-то ... Направить такого-то...
в пр. пр.* ст. 58-10, ч. I в ИТЛ сроком на 10 лет.

Под этим текстом стояло несколько подписей. Под ними — типографски напечатанное слово «читал». Вслед за местом для подписи была впечатана линейка для указания даты.

Я подписал в указанном месте и вернул бумагу майору.

Такова была процедура «суда», которого я ждал, к которому готовился, на справедливость которого рассчитывал.

Позднее я убедился, что через ОСО, то есть без суда, были направлены в лагеря примерно 80 процентов заключенных.

Меня подвели к двери новой общей камеры. Дежурный по этажу надзиратель открыл дверь, я вошел и... Боже мой! В камере были все наши, кто был вызван «с вещами» раньше, чем я.

Товарищи тотчас меня окружили. Посыпались вопросы:

— Ну что, Даниил Натанович?

— Что вам дали?

— Сколько?

Я сказал: «Десять лет лагерей».

В ответ раздались веселые возгласы:

— Ха-ха-ха! И у меня десять!

— А у меня пятнадцать!

— А мне двадцать пять вlepили!

— Ха-ха-ха!

Все это говорилось со смехом. Царило какое-то нервное оживление.

Один за другим входили остальные наши товарищи. Каждый раз повторялось все то же:

— Сколько дали?

— Пятнадцать.

— Ха-ха-ха! А мне десять!

— А мне двадцать пять!

Последним вошел инженер из политехнического.

— Ну что? Сколько дали?

* В преступлениях, предусмотренных...

Вместо ответа он вынул из внутреннего кармана пиджака копию оправдательного приговора Верховного Суда, порвал ее на мелкие кусочки и бросил в парашу.

«Особое Совещание» дало ему десять лет лагерей, продемонстрировав тем самым свое презрение к Верховному Суду.

«Нездоровое оживление» момента первых встреч (воистину гениальное словосочетание, найденное Ильфом и Петровым) быстро улетучилось. Вызвано оно было, видимо, огромным несоответствием между жестоким приговором и тем самоощущением, которым обладал приговоренный, то есть полным и абсолютным невосприятием себя преступником: «Вот дураки! Я совершенно ни в чем не виновен, а они мне такой срок вlepили!» Такова в примитивной схеме психологическая подоснова странного нашего смеха.

Всякое благодушие и даже внешнее бодрчество у нас исчезло окончательно после предоставленного нам свидания с родственниками. Только теперь трагизм и неповторимость случившегося обнажились для каждого в полной мере. Тяжело и больно было и раньше. Тюрьма, допросы, угрозы, ощущение своего бессилия, предвидение страшной судьбы и даже гибели, разлука с близкими, беспокойство за их судьбу, обида за совершенную в отношении тебя несправедливость — все это было и до этого дня. Было. И мучило, и страшило, и оскорбляло. Но рядом жило и другое. Не оставляли иллюзии, надежды. Пусть нелепые, неразумные. Но они были.

Постоянно занимали ум тревожные думы о семье. Тем не менее, они раньше, до свидания, никогда не обретали такой остроты, не причиняли такой боли. Как-то смягчала мысль о том, что «главный страдалец» среди членов семьи — сам арестованный: «Это я в тюрьме, я лишен свободы, а значит, нормальной жизни, а они все-таки на свободе».

Да, свидание все переменяло. До него случившееся было как бы закрытым переломом. Теперь обнажилась кровавая рана, с рваными краями, с торчащей из нее сломанной костью. Теперь уже нет надежд и иллюзий. Теперь уже известно: десять, пятнадцать, а то и двадцать пять лет лишений, мучений и разлуки. Разлуки, быть может, навсегда. Теперь твои близкие останутся в памяти не только в окружении родных стен, но и в тюремном помещении, за барьером, за железной сеткой, такими же несчастными и обездоленными, как ты сам. Плачущие, слабые, бессильные помочь тебе и себе, через силу выкрикивающие ободряющие слова. Самые важные из этих слов, в которые теперь только и остается верить: «Буду ждать! Будем тебя ждать!» Но

как звучат они для тех, кто получил срок двадцать пять лет? А впрочем, и для тех, кто получил десять?..

В начале века Генрих Манн написал целую книгу, заполненную описанием переживаний жертвы, угрызений совести доносчика, драмы родственников, жестокости властей и тюремщиков. С героем этого романа («Верноподданный») произошла ужасная драма. Его арестовали и продержали в тюрьме шесть месяцев. Миллионы читателей во многих странах ужасались несправедливости рока и жестокости людей. Какой, однако, чепухой является повод для всех этих страстей — шестимесячное заключение — по сравнению с нашими судьбами. Меняются времена, меняются нравы!

Дня через три нас стали вызывать с вещами по несколько человек. Мы понимали: на этап. Каждая группа ехала в тот или иной лагерь. В какой — неизвестно.

Со многими, вернее, с большинством моих сокамерников из бывшей 28-й, я простился навсегда.

Во дворе тюрьмы нас погрузили в «воронок», на кузове которого с двух сторон было написано: «Хлеб». Машина тронулась...



**Игорь
Владимирович
БАХТЕРЕВ**

род. 1908

Министерство безопасности России
28 сентября 1993 года
№ 10/16—10807

Бахтерев Игорь Владимирович, 1908 года рождения *, уроженец Санкт-Петербурга, русский, с высшим образованием, беспартийный, холост, гражданин СССР, литератор, проживал: Ленинград, ул. Некрасова, 60, кв. 81.

Арестован 14 декабря 1931 года ПП ОГПУ в ЛВО по обвинению в участии в антисоветской группе, сочинении и распространении к/р произведений, т. е. в пр. ** ст. 58-10 УК РСФСР.

Постановлением Выездной Сессии Коллегии ОГПУ от 21 марта 1932 года Бахтерев И. В. из-под стражи освобожден. Лишен права проживания в московской и ленинградской областях, пограничных округах сроком на 3 года.

Постановлением Президиума Ленгорсуда от 18 января 1989 года Постановление Коллегии ОГПУ от 21 марта 1932 года отменено, производство по делу прекращено в соответствии с п. 2 ст. 5 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления.

* Игорь Владимирович Бахтерев умер в 1996 году.

** В преступлениях, предусмотренных ...

Из книги «Писатели Ленинграда»

Бахтерев Игорь Владимирович (9.09.1908, Петербург) — драматург, прозаик. Окончил Высшие курсы искусствоведения при Институте истории искусств (1930). Печататься начал в 1930, сотрудничал в детских журналах и газетах. В соавторстве с А. Разумовским написал пьесы: «Полководец Суворов» (впервые была поставлена в 1938 на сценах Центрального театра Красной Армии и Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, в новой редакции шла в 1948—1956), «Двойная игра» (1951), «Откровение в бурю» (1962). Написал воспоминания о Н. Олейникове (в соавторстве с А. Разумовским — в ленинградском сборнике «День поэзии», 1964), Н. Заболоцком (кн. «Воспоминания о Заболоцком», 1977). Автор статьи «Пером, резцом и кистью» (в книге «Незабываемое», 1977).

Рождение коммуны. Л., 1930.— В соавт. с А. Разумовским; Калифский Узбой. М.— Л., 1932.— В соавт. с А. Разумовским; Полководец Суворов: Пьеса. Л., 1939 и др. изд.— В соавт. с А. Разумовским; Русский генерал: Пьеса. М., ВУОАП, 1944.— В соавт. с А. Разумовским; Ровно в полночь: Пьеса приключений в 9-ти картинах. М., ВУОАП, 1945.— Перед загл. Брайтон (коллективный псевдоним И. Бахтерева, Н. Никитина, А. Разумовского); Ровно в полночь: Повесть.— Магадан, 1946.— В соавторстве с А. Разумовским; Однажды воскресным вечером. Нева, 1961, № 10; 250 часов с Лениным.— Юность, 1964, № 5.

Игорь Бахтерев

ГОРЬКИЕ СТРОКИ

Невеселый разговор пойдет об одной литературной ленинградской группе. Каждый входивший в группу начинал писать в двадцатые годы — А. Введенский, Д. Хармс, Ю. Владимиров, Д. Левин, К. Вагинов, Н. Заболоцкий, Н. Олейников. К этой группе причисляет себя и автор горьких строк...

Сначала о названии. Эта группа именовалась «Левый фланг», пока в 1927 году не произошло небывалое — «Дом печати» пригласил участников «фланга» под свою крышу. Тогда же выяснилось, что руководителей «Дома» не устраивает наше название. По их разумению, слово «левый», «левое» был прерогативой политиков. Так не по своей воле, под безапелляционным давлением, «фланг» превратился в «Обериу», приблизительно — «объединение реального искусства».

За несколько дней до объявленного в афишах отчетного вечера появился взволнованный директор «Дома» Баскаков и объявил: по всей видимости, вечер отменяется, звонили из реперткома и заявили, что автор стихотворной элегии — Бахтерев — допустил политическую ошибку. Баскаков вместе со мной отправился в репертком. Конечно, не только слово, целое четверостишие было тут же исключено, конфликт урегулирован.

Во избежание подобных ситуаций собрание оберiuтов решило перед каждым выступлением приходиться в «Дом печати» показывать политредактору, что мы намереваемся читать на очередном выступлении, и только после санкции «Дома» нести в репертком. Результат сказался незамедлительно. Одно из моих стихотворений было задержано и к чтению не допущено. В нем говорилось: «...мы одни, далеко улетели павой старенькие дни». Трудно предположить, что редактору пришло на ум.

А вот случай, еще яснее говоривший о политическом настрое того времени. Известный критик, редактор театрального журнала Падво ворвался на отчетном вечере за кулисы, стал топтать ногами и выкрикивать, что оберiuты — прямые кандидаты в тюрьму (в этом он не ошибся), и объявил: если демонстрация сумасшедшей «Бам» (имелась в виду «Елизавета Бам») не прекратится, а отчетный «балаган» будет продолжен, он, Падво, позвонит в НКВД. И, действительно, позвонил. Разговор длился недолго, после чего маститый редактор приутих.

Прошло недели две, когда мы узнали, что Падво сам оказался за решеткой и бесследно исчез. Вряд ли Падво был в чем-то виновен и заслужил своей участи. Просто он оказался одним из сотен, а затем миллионов.

Некоторые, усиленно стучавшиеся в Обериу, стали называться учениками, другие, например Липавский, сочувствующими, а вот у Хармса, кроме учеников, числился целый штат «естественных мыслителей»: странных философов, хиромантов, отслуживших студенческий срок фокусников, фанатичных докторов, музыкантов-самоучек. Об одном из таких и пойдет разговор.

Он носил странную фамилию — Сно, был в прошлом петербургским журналистом, интересно рассказывавшим про трущобы, он услаждал Хармса и его гостей игрой на цитре. Этот старик имел сына, которого со времен университета знал оберiuт-прозаик Дойвбер Левин. Дойвбер жил в студенческом общежитии на Мытне, а там частенько бывал студент, кажется, юридического факультета Сно. Потом младший Сно был изгнан из университета за какие-то неблагоприятные дела. И вот появился

снова. Прежде отец Сно предпочитал не распространяться про сына — следователя НКВД, и вдруг заговорил. Оказалось, что сын хочет познакомиться с обершутами «в уютной домашней обстановке за чаркой доброго вина. О винном и закуточном,— продолжал старик,— можно не беспокоиться — все будет».

Встреча за чаркой состоялась. Произошло это где-то на Надеждинской, ставшей затем улицей Маяковского, неподалеку от квартиры Хармса. Кроме самого следователя и хозяйки комнаты, где происходило пиршество, в сборище участвовали Александр Введенский, Юрий Владимиров, конечно, Даниил, кто-то еще. Дойдбер на закуску и горячительное не польстился, оказался наиболее дальновидным. Я не пришел, неожиданно загрипповал. О происходившем на Надеждинской я был подробно проинформирован участниками. Во-первых, у вполне благообразного отца сын оказался редкостно безобразным: маленький, подслеповатый, совершенно лысый, с лицом возмущенного орангутанга. И все же этот выродок пытался выполнять роль тамады. Речь зашла о беспричинной скрытности людей. Сно стал вспоминать царский гимн и, восхищаясь музыкой, запел.

— Не так, не так,— поправил Введенский. Сно явно обрадовался.

— Значит, наш бывший гимн знаете? Не забыли?

— А как же,— прихвастнул Введенский, главным образом под влиянием винных паров.

— Спойте, если не слабо,— предложил Сно.

Не одобряя поведение Александра, Владимиров стал что-то выкрикивать, Даниил — громко петь немецкую песенку, заглушая крамольное пение. Введенский, одобряемый Сно, не унился.

— Бить тебя мало,— сердито проговорил Даниил, и Александр немного струхнул, особенно после того, когда Сно заторопился уходить под предлогом неожиданно возникшей необходимости идти на дежурство.

— Мы люди подневольные,— проговорил Сно, исчезая.

Эпизод копеечный, а разросся в серьезное обвинение, главным образом Введенского, а попутно и Хармса в приверженности к монархизму, обвинение же в немецком, японском или еще каком-то шпионаже было еще впереди.

С этим Сно я был тоже знаком, немножко и при других обстоятельствах. А было это так.

Начну издалека. Моя мать — одна из первых женщин-юристов. Отец — инженер-механик. В 1912 году родители, сколотив с большим трудом нужную сумму, вступили в строительный ко-

оператив и построили квартиру. (Известный всем ленинградцам дом, вернее, дома по улице Некрасова, против Некрасовского сквера; любопытно, что последний, самый крупный взнос родители сделали в октябре 1917 года.) После революции владельцам квартир было разрешено самоуплотняться. В двух комнатах нашей квартиры появились жильцы — начальник научного отдела Госиздата П. В. Ром и его семья. Некоторое время Ром жил и работал в Германии; этого было достаточно, чтобы его арестовали, семью выселили, а в его комнаты въехал некий Антон Францевич Божечко, профессиональный фотограф, затем чекист, подчинивший органам НКВД науку Ленинграда.

Когда летом семья Божечко отбывала на дачу, Антон Францевич устраивал в своих комнатах шумные рауты, благо, продолжая самоуплотняться, мама поселила в квартире девиц-новгородок. На этих раутах развлекались не только новгородки, но и друзья Божечко, работники секретно-политического отдела: пили, танцевали, слушали запрещенного Вертинского, выхватывали пистолеты, стреляли боевыми патронами в потолок. На одном из таких раутов я и увидел следователя Сно. Обериутами он в то время, как видно, не занимался. Его привлекали государственные дела, залезание в стенные шкафы и подслушивание, не веду ли я с новгородками антисоветские разговоры. Странности такого поведения старались пресечь его друзья, напоминая, что он не на работе, что сегодня целесообразнее танцевать. И все же Сно не переставал заниматься сыском, такова уж была его натура. Перестав шнырять по шкафам, он подошел ко мне и принялся расхваливать прелести буржуазного мира: красивые женщины, костюмы, последние пластинки, прогулки на яхтах.

— Разве подобное противоречит социалистическому миропониманию? — сказал я.

— Эх ты, буржуйчик! — проговорил Сно, не найдя убедительного контраргумента. И пошел пытаться новгородских девчат.

— Похоже, — сказал Дойвбер, прослушав мой отчет. — Таким он бывал и на Мытне.

Перехожу к следующему рассказу, имеющему прямое отношение к нашей печальной теме.

Случилось это в начале зимы 1931 года. Сначала арестовали Даниила Хармса, забрав при обыске несколько мешков рукописей, писем, выписок из книг, многого другого. На следующий день схватили Александра Введенского в вагоне «стрелы», за несколько минут до отбытия в Москву. Утром позвонил главный редактор детского отдела Госиздата и попросил передать в Москве кому-то из редакторов письмо. Александр назвал номер

вагона и свое место. Не посыльный, а сам редактор встретил Введенского у входа в вагон, передал письмо и ушел. Арест был произведен в соответствии с правилами, с предъявлением ордера, с указанием адресата: вагон такой-то, место такое-то...

Ну, а меня взяли, кажется, на следующий день дома. Божечко, во избежание лишних разговоров, конечно, отсутствовал.

Около одиннадцати часов шумно появились арестовывающие, сразу с парадного входа на кухню. В моей девятиметровой комнате начинался ремонт: мебель, все вещи были вынесены, размещены, а вернее сказать, разбросаны по всей квартире. В комнате оказались только кровать да библия, больше ничего.

— Когда-то тоже интересовался. Оставлю тебе, может, еще пригодится, — сказал чекист, кивая на библию. На этом процедура обыска закончилась.

Ехали на легковой по улице Некрасова, потом по Литейному, потом оказались в ДПЗ — Доме предварительного заключения (строительство так называемого Большого дома только начиналось). Въехали с улицы Воинова. Оказавшись в «приемной», посмотрел на стенные часы: было двенадцать ночи.

Подобно многим, я оказался в одиночной камере. Ничего похожего на то, что рассказывали очевидцы о временах более поздних: на кровати чистая простыня, довольно мягкая подушка, теплое одеяло. Провожая, мама дала мне большую французскую булку. Девушки-соседки завернули булку в «Ленинградскую правду». На допрос меня вызвали примерно через неделю, за эти дни мрачного безделья я зазубрил газету от первой до последней строчки, она меня развлекала и очень поддерживала.

Попав в ДПЗ, я чувствовал себя почти хорошо. Чем же я там занимался? Во-первых, едой (чай, суп, каша), во-вторых, чтением единственной газеты, а потом самым главным, самым серьезным делом, — но это не с первых дней. Ночную пустоту каждую ночь заполняли не то стуки, не то стрекотания, пока не раздавался голос дежурного: «Спать, спать!» На несколько минут стрекотание прекращалось, и опять...

Потом все для меня раскрылось. За отопительной батареей я обнаружил два предмета, один — загадочно-непонятный: тяжеленный напильник. Второй, не менее странный, — клочок бумаги с таблицей. Кто-то неведомый передавал, как переговариваться с таким же неведомым соседом. Так мне открылся смысл ночных стрекотаний и перестуков. Мой напарник обнаружил чрезвычайную разговорчивость: сразу доложил имя, фамилию, свою полную, как большинство, невиновность. Затем последовали советы: поведение при допросе (больше молчи), распреде-

ление ролей среди допрашивающих: всегда двое — один добрый, другой злой. Потом вопросы, вопросы.

Вскоре меня пригласили на первый допрос. Передо мной сидели два человека. Оба представились. Одного я не раз встречал на раутах у Божечко — сотрудника, возглавлявшего секретно-политический отдел (СПО), Лазаря Когана, обращавшего на себя внимание располагающей внешностью, лучистой добротой взгляда. Другого я видел впервые.

Он и вел допрос. Коган ему как бы ассистировал.

Про обериу поначалу разговоров не было — только о детском издательстве. Отношение к нему я имел весьма относительное, главным образом добрым знакомством с Маршаком, дружбой с Пантелеевым и, кажется, к тому времени уже арестованным Белых.

«Почему детское издательство?» — задавал я себе вопрос. Ответ пришел, но не сразу. Следователь обращался ко мне, как и полагалось, сугубо зло: что-то кричал, возмущался, а Коган то и дело его одергивал, говоря:

— Не горячись, он и так расскажет о том, что нас интересует.

— Не хотите ли чаю или кофе, — неожиданно обратился ко мне Коган. Я отказался. — Может быть, папиросу? Простите, совсем забыл, вы же не курите. Понимаете, вы должны понять, — продолжал он, — у нас общие государственные интересы. — И вдруг спросил: — Какой город вас больше интересует: Алма-Ата или Ташкент?

— Все равно, — сказал я, — люди всюду живут и работают.

— Конечно, конечно, — согласился Коган.

Кажется, на этом предварительное собеседование и закончилось.

После одной из встреч следователь не то на меня, не то на Когана заорал:

— Долго прикажешь возиться с этим говном — мальчишкой?

— Будь сдержанным, договоримся. Все дело в вашей позиции, — сказал мне Коган. — Нам совершенно необходимо согласие одного из обериутов подписать важнейший документ: что вы, Бахтерев, являетесь участником антисоветской группировки в области детской литературы. Подпишите — получите минимально, не подпишете — пеняйте на себя.

— Решим вопрос завтра, — сказал я.

— Согласен, мой принцип — не обманывать.

По пути в камеру и в камере я не переставая думал, как же правильнее поступить? Почему на допросах ни разу не называл-

ся Разумовский, хотя детские книжки, статьи и очерки написаны нами совместно. Почему не упоминался детский писатель и одновременно оберит Дойвбер Левин? Видел я только Туфанова. Меня привели на прогулку, его — уводили.

Наутро решил: «организация» — полнейшая фикция, соучастников нет. Называть некого. Может быть, оберитов? Конечно, исключено. Пусть пытаются. Приму всю ответственность на себя. Верить было рискованно, но я поверил и подписал. Начались дни мучений и терзаний. На «брандахлыст» или кашу я не мог смотреть.

— Заболел, что ли? — спросил разносчик так называемого обеда.

— Хуже, — проямлил я, возвращая миску.

Примерно в эти дни к маме зашел Божечко.

— На допросах Игорь держится — лучше нельзя. — Похвала эта вряд ли меня украшала.

К тому времени мой застенный собеседник исчез: перевели в другую камеру, отправили в лагерь или расстреляли. На смену пришел неразговорчивый, то ли не умеющий пользоваться табличкой, а возможно, там в камере не было никого. И вдруг через несколько мучительных, одиноких дней раздался знакомый звук открывающейся двери. В голове мелькнуло: начинается, теперь — держись.

Наметанный взгляд дежурного обвел камеру. Все в порядке.

— Собирайтесь. С вещами.

Уроки застенного говоруна не прошли зря: перевод в другую камеру означал — следствие закончено. Слова дежурного прозвучали музыкой.

Трудно подобрать слова, определяя положение советского заключенного года через три-четыре, во времена посадок Заблоцкого или Берггольц, — тогда арестованных избивали, откачивали и снова избивали, а беременную женщину, схватив за ноги и за руки, колошматили об стену, а ведь близился еще более страшный год — тридцать седьмой.

Из общей камеры ДПЗ меня перевели, а точнее перевезли в «Кресты». Тюрьма на противоположной стороне Невы. Что интересного и характерного можно рассказать про эту «организацию»? Необычайно вкусный черный хлеб, выпекаемый самими заключенными, никогда не закрывающиеся двери камер и большое количество уголовников: шпаны и воря.

Должен сказать, что Лазарь Коган вполне оправдал свою располагающую наружность. По представлению СПО мне была предъявлена не помню какая статья и определение «трой-

кой» самого легкого, как считало следствие, наказания: «минус два» (Москва и Ленинград) на три года. Расписываясь в книге освобожденных, я обратил внимание на человека, оторвавшегося от какого-то гроссбуха и подслеповато на меня смотревшего. Только потом, выйдя на улицу и ощутив блаженство быть свободным, я понял: смотревший на меня был следователь Сно.

И все же ставить «конец» преждевременно. Остается немало такого, что требует некоторых дополнений и размышлений. Например, почему следствие называло меня не оберiuтом, что было бы вполне естественно, а детским писателем, хотя мое отношение к детской литературе ограничивалось сотрудничеством с оберiuтом Разумовским в газетах и журналах для детей. Наша наиболее весомая книжка «Бибармейцы» вышла, когда я был уже арестован, под одной фамилией (хотя деньги выписывались издательством двоим). А что касается других книжек: «Рождения коммуны» или «Калифского узбоя», следователи (закрываю по разговорам с ними) вообще не знали, хотя они выходили под двумя фамилиями.

Так почему же? Ответов может быть два. Первый — арестовать — арестовали, а группу создавать не хотели, это бы усугубило вину и потребовало более серьезных наказаний. Отгадка вторая — в издательстве были арестованы многие редакторы, авторы (Васильева, Белобородов, Белых), иллюстраторы детских книжек. Возможно, подбирались к центральной фигуре детской литературы — самому Маршаку. Это и была главная причина его внезапного переезда в Москву. Когда директор детского издательства Желдин по моей просьбе позвонил в СПО (секретно-политический отдел), ему ответили:

— Бахтерев? Как же, знаем. За парнем ничего нет. Можете заключать договора и печатать.

С кем Желдин говорил — не сказал, может быть, и не знал.

Позднее Бахтерев и Разумовский стали авторами известной в стране пьесы «Полководец Суворов». Ни Александр Введенский, ни Даниил Хармс не имели защитника в лице самого «вседержителя» Сталина, которому нравилась пьеса.

Когда началась Великая Отечественная война, НКВД принялся повторно арестовывать тех, кто раньше привлекался по политическим статьям. Даниила Хармса арестовали в Ленинграде, погиб он в блокаду.

Александра Введенского взяли в то же время в Харькове, где он жил, женившись на харьковчанке. Погиб он по дороге в концентрационный лагерь, заболев сыпным тифом.

Дойвбер Левин ушел на фронт добровольцем, сводя, как он писал жене, «личные счета» с ненавистным Гитлером. Погиб подо Мгой.

Александр Туфанов, высланный в Новгород (на Волхове) и работавший в педагогическом институте, с началом войны был снова выслан, теперь в небольшой город Галич, где умер (со слов его вдовы) от дистрофии на ступеньках районной столовой.

Юрий Владимиров умер в конце двадцатых, Константин Вагинов в начале тридцатых годов, оба своей смертью. Судьба Николая Заболоцкого хорошо известна. Николай Олейников был расстрелян, обвиненный в троцкизме, отношения к которому не имел ни малейшего.

Александр Разумовский умер последним несколько лет назад от сердечного приступа.

Таков печальный конец ленинградского литературного «авангарда».



Анатолий Ефимович ГОРЕЛОВ

род. 1904

Архивный фонд УФСБ РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Горелов Анатолий Ефимович, 1904 года рождения *, уроженец г. Житомира, до ареста работавший ответственным редактором журнала «Звезда» в Ленинграде, член профсоюза издательских работников с 1921 года.

Арестован 12 марта 1937 года УНКВД по Ленинградской области. Обвинялся в том, что являлся участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации и входил в контрреволюционную группу работников литературы, систематически вел к/р беседы, направленные против ВКП(б) и Советского правительства, т. е. в пр. пр. ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Выездной Сессией Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 21 марта 1937 года Горелов А. Е. был приговорен к тюремному заключению сроком на 10 лет, с конфискацией имущества, с поражением политических прав на 5 лет.

По Постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 13 июня 1939 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 21 мая 1937 года по делу Горелова А. Е. был отме-

* Анатолий Ефимович Горелов умер в 1991 году.

нен и дело о нем передано на новое рассмотрение со стадии предварительного расследования.

По постановлению Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июля 1940 года Горелов А. Е. был осужден к 5 годам лишения свободы.

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 2 октября 1954 года Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июля 1940 года в отношении Горелова А. Е. отменено и дело о нем производством прекращено за недоказанностью обвинения.

По данному делу Горелов А. Е. реабилитирован.

1 ноября 1949 года Горелов А. Е. был вновь арестован УНКВД по Архангельской области. По Постановлению Особого Совещания при МГБ СССР от 1 июля 1950 года Горелов А. Е. за принадлежность к троцкистско-зиновьевской организации был сослан на поселение в Красноярский край.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Горелов Анатолий Ефимович (11.III.1904, Житомир) — критик, литературовед. Чл. КПСС с 1927. Почетный гражданин г. Кировска (1979). В 1919—1924 был рабочим. С 1924 учился в Институте истории искусств, в 1925 работал в Выборгском райкоме комсомола (Ленинград), сдал экзамены экстерном (1930), был зачислен в аспирантуру, но в 1931 направлен в Хибинский редактором газеты «Хибиногорский рабочий». Член бюро горкома партии Хибиногорска 1-го созыва. Регулярно стал печататься с 1926, работая секретарем газеты «Смена». В 1929—1937 был главным редактором журналов «Резец», «Стройка», «Звезда», газеты «Лит. Ленинград», ведал отделами литературы и искусства «Ленинградской правды» и «Красной газеты». В 1934—1937 — первый секретарь Ленинградского отделения Союза писателей. Участник I Всесоюзного съезда писателей (1934), на котором был избран членом правления СП СССР. В 1970-е гг. опубликовал статьи о Блоке и воспоминания.

Путь современника: О творчестве Мих. Слонимского. Л., 1933; Бесстрашие художника: Сб. статей. Л., 1935; Испытание временем: Сб. критических статей. Л., 1935; Подвиг русской литературы. Л., 1957; Очерки о русских писателях. Л., 1961 и др. изд.; Гроза над соловьиным садом: А. Блок. Л., 1970 и 1973; Три судьбы: Тютчев. Сухово-Кобылин. Бунин. Л., 1976 и др.

ПЕРЕЖИТОЕ

Случайность — тайное проявление причинной связи явлений. Найти за случайностью необходимость — это и есть обнажение скрытой логики действительности.

То, что в лихорадке бесчисленных тюрем и лагерей, в змеиных судорогах этапных маршрутов мы столкнулись с женой в какой-то немыслимой географической точке, — было случайностью в ее архифантастической форме. Однако именно эта неправдоподобность как-то нарушила автоматику бесчеловечной системы угнетения: за девять лет нашего с женой пребывания в одном лагере — ни один человек не решился донести куда следует. А знали об этом все, начиная с начальника огромного лагеря и кончая охранником на вахте.

Вот почему я и решаюсь сослаться на чудо нашей лагерной встречи с женой, как на своеобразнейшее свидетельство борьбы живого с обреченным.

Вывешенные в тюремной камере Соловков правила гласили, что заключенным предоставляется право раз в месяц писать и получать письма. Это было ложью.

Со дня ареста я не получил ни одного извещения о судьбе близких. Вплоть до августовского дня 1940 года, когда жена увидела меня, грязного, обросшего длинной бородой, плетущимся в хвосте этапа и упала без сознания, а я прошел мимо, стараясь сохранить спокойствие и не привлечь внимания сопровождавших нас умных собак и тупых охранников. Стоило мне рвануться в сторону, и выстрел, предусмотренный командой: «Шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения!» — мог уложить меня тут же, у ног потерявшей сознание женщины.

Но расскажу по порядку. Всего один раз, в Соловках летом 1939 года, мне предложили расписаться в получении денежного перевода. Дежурный по коридору прижал бланк с таким умыслом, чтоб я не смог разобрать текст сопроводительного письма. Моей расторопности хватило, однако, чтоб разглядеть выглянувший из-под торчащего пальца штампель почтового отделения: «Айкино».

Никто в камере не знал дачной местности под таким названием. Но я уверил себя, что жена вывезла нашего сынишку на дачу и оттуда перевела мне деньги. Такое предположение тешило сердце.

Через год я выбыл этапом из Ленинграда на Печору. Вместо тюрьмы мне предстоял лагерь. И я наивно предполагал, что это облегчение участи.

В Ленинграде, в этапной камере, я попал в группу политических. Здесь было несколько кадровых чекистов, все они получили по десятке, было несколько моряков, они также оказались «особистами», то есть работниками флотского Особого отдела, были также профессор физики Алексей Васильевич Улитковский, доцент физик Кирилл Васильевич Струве, работник речного порта Лазарь Илларионович Талалаевский и я.

Чекисты знали, что в этапе и на лагерных пунктах им будет худо. И вплоть до Котласа им удавалось как-то договариваться с охраной — и нашу группу даже на пересылках помещали отдельно от уголовников.

Конструировал Котласскую пересыльную зону сам сатана, да еще в припадке буйного помешательства. Теснота была такая, что спать на нарах можно было лишь в очередь или по могучему благу. Бригады отправлялись на работы, а на освободившиеся места кидались вернувшиеся с работы. Лежать удавалось только на боку. Если, особенно ночью, кто-нибудь отлучался по нестерпимой нужде, он терял место.

Грязь, вонь, воровство, драки. Баланда, пахнувшая разогретой помойкой. На относительно небольшой площади, проволочной сеткой разбитой на тесные загоны, скапливалось население, исчисляемое пятизначным числом. Отсюда баржами от Северной Двины на Вычегду гнали тысячные этапы. Общим гуртом — политиков и уголовников.

В бараке взял надо мною шефство Петрусь. Не представляю, чем я его прельстил, может, беспомощностью. Я действительно растерялся, попав в такую преисподнюю. Должен сознаться, что для меня самого осталось загадкой, почему за все годы заключения меня не только не обижали уголовники, но, наоборот, оказывали мне знаки расположения. Встреча с Петрусем также из «случайностей», благодаря которым я и уцелел. Я безусловно обязан Петрусью жизнью, и по сей день вспоминаю этого дважды убийцу и милейшего парня с чувством личной признательности.

Во-первых, ему я обязан тем, что изредка и мне перепало плацкартное место на нарах. Лежа впритык ко мне, он успел уже пожаловаться на судьбу: дважды влюблялся, оба раза оказывался рогоносцем и оба раза... Да, с героиней второго своего увлечения, уже в лагере, он также разделался, под горячую руку.

На этап за зону вывели тысячи две заключенных. Рядом со мной оказался Петрусь. Он сиял от удовольствия. Успел уже разведать, что отправляют на двух баржах, по тысяче голов. Человек двести узбеков. Остальной народ — уголовщина.

За время пребывания на котласской пересылке мы успели кое-что разведать про этапы на Печору. Самым опасным оказывалось для политиков соседство в темном брюхе баржи с превосходящими силами уголовников. «Друзья народа» при полнейшем невмешательстве охраны, пребывающей лишь на палубе, грабили, избивали, а случалось — и убивали «врагов народа», если те проявляли неповиновение. Охрана отчитывалась лишь головами, живые или мертвые — для арифметики значения не имело.

Пока длилась суматоха с подготовкой этапа, группа наша обсудила ситуацию и приняла твердое решение драться насмерть. Конвой согласился спустить нас первыми в баржу, а за нами — узбекский табор. Тем самым мы получали возможность подготовить удобную позицию, занять корму и тем обезопасить себя от вражеского окружения.

Петрусь, конечно, заметил наши конспиративные перешептывания, но проявлял полнейшее равнодушие. Он деловито, одной рукой приподнял мой мешок и сокрушенно покачал головой. Дело в том, что перед самым отправлением из Ленинграда мне была вручена солидная передача: носильные вещи, ботинки, продукты. Передача еще более убедила меня в том, что с семьей благополучно.

— Сидорок кусачий, — заметил Петрусь, — вцепился в плечо.

Комендантом нашей группы мы утвердили Лазаря Талалаевского. В решительности его мы убедились еще в Ленинграде, в этапной камере. Только нас привели в вокзального вида помещение, забитое галдящей толпой, к нему, подскакивая и присвистывая, подкатил дюжий тип и что-то шепнул на ухо. Далее произошло нечто, противоречащее закону земного притяжения. Парень оторвался от земли и взлетел затылком вперед. Затем последовало мгновенное мимическое уточнение. Лазарь поднял кулак на уровень глаз, поворачивая, осмотрел его и слегка наклонил голову: мол, понятно? Парень в это время оторвался от пола, глянул на демонстрируемый кулак и величаво, не без грации, склонился: понятно, мол! И тут же растворился в толпе.

Итак, Лазарь был утвержден комендантом. К своим чрезвычайным обязанностям он отнесся с полным сознанием исторической ответственности. Быстро построил нас в несколько рядов и потребовал строжайшего выполнения указаний.

Петрусь шепнул мне: «Пойду с вами».

Я замялся. Смущенно начал разъяснять, что мы намерены, если на нас нападут, беспощадно драться.

— И моя свинчатка сгодится, — спокойно ответил Петрусь.

— Чего же ты против своих попрешься, — урезонивал я его, — ведь они тебе отомстят.

— Скотье, у меня с ними характер не сходится.

Последовала команда грузиться, и конвойный дал нам знак выйти из колонны и направиться к трапу, ведущему на баржу. По танцующему, неогороженному трапу мы взбегали на баржу, а там, подгоняемые конвойными, лезли вниз, в темную и тесную горловину люка. На дне баржи сразу охватывала тяжелая сырость.

Мы стремительно занимали корму, а Лазарь, как бывалый квартирмейстер, принялся рядами укладывать перед нашей позицией неистово галдящих узбеков. Те с таким рвением занимали указанные места, с таким воодушевлением орали, точно получили распоряжение незамедлительно возвратиться к своему родному узбекскому солнцу.

У самого уха я услышал треск отдираемого дерева. Это Петрусь разделялся с обшивкой кормы. Он сунул мне в руки кусок расщепленной доски и закричал: «С дрынами вернее будет!» Нужно отдать должное военной сметке Лазаря. Он оценил инициативу Петруся, и в следующее мгновение, по приказу своего командира, группа приступила к самовооружению. Лазарь успел еще связаться с главкомом узбеков: учитывая неистощимые вокальные возможности южного воинства, мы условились, что узбеки беспрепятственно пропустят к нам неприятеля, а затем, с тыла, в нужный момент ударят всем своим штурмовым оркестром. Когда этот нужный момент наступил, они взвыли с такой страшной силой, что напугали охранников, и те открыли стрельбу, а напавшие на нас уголовники потом уверяли, что им показалось, будто баржа тонет, и поэтому в растерянности и валились под нашими дрынами.

Хвост этапа еще извивался в люке баржи, а к нам, шагая через узбеков, уже направлялась делегация: впереди рослый дядя в лихо заломленном беретике, с развевающимся шарфом, а за ним, чуть отстав, два адъютанта. Подойдя к нам вплотную, вожак небрежно-повелительно кинул: «Выкладывай шамовку, делить будем!»

И я вторично вынужден был убедиться в молниеносности реакции Лазаря. Он безмолвно взмахнул дрыном, я услышал тошнотворный хряск, и беретик исчез, провалился сквозь днище.

Адъютанты ответили таким сверлящим мироздание призывным посвистом, что мне даже показалось, что у меня посыпались искры из глаз. Я успел заметить, как из глубины баржи ри-

нулась, прискакивая, многоголовая гидра, а затем все сгнуло в сплошном утробном раже.

Я задел доской по перекладине потолка, и нестерпимая боль заставила меня выронить оружие. Рука мгновенно выскочила из плечевого крепления и тут же вновь, как мне показалось, села в полагающееся ей гнездо. Но боль у плеча осталась. И я отступил в глубь кормы на правах контуженного. В суматохе боя, в полумгле, Петрусь ухитрился заметить мое положение. Узнав, что я вывихнул руку, Петрусь быстро ошупал предплечье, очень больно надавил, рванул руку — и она болезненно, но зашевелилась.

Но тут переполох вспыхнул в противоположной стороне баржи. Видя, что содом под палубой не стихает, кто-то из конвойных просунулся в люк и навел автомат. Народ отхлынул к середине баржи, в панике потеснил узбеков, те нажали на нападавших на нас уголовников, — и битва захлебнулась в невообразимой тесноте.

Как быстро звереет человек. Никак не предполагал, что я способен с таким ожесточением молотить дрекольем по головам. А еще удивлялся, каким образом могла возникнуть среди следователей советского учреждения эпидемия садизма.

Вскоре к нам пожаловала мирная делегация. Делегаты, один живописнее другого, мирно уселись между нами. Интересовались, кто мы, какие сроки. Давали советы, как себя держать в лагере. Расставались мы, крепко пожимая друг другу руки. Мы завоевали уважение. На следующий день беспрепятственно бродили по барже, присаживаясь к картежникам. Всюду мелькали перевязанные головы, руки, но даже жертвы великой битвы были настроены добродушно.

Баржа день ото дня становилась нестерпимее. Мучила жажда, грудь лихорадочно вздымалась, пытаюсь разжиться иным воздухом, не этим дурным, промозглым, донимала сырость.

Как мог, Петрусь старался меня развлечь. Рассказывал о своих пассиях: вторая была истинная стерва, а с первой он малость погорячился, может, обломалась бы. Маху дал, нужно было обрюхатить, с ребенком забыла бы про баловство.

— А у вас как по этой части? — задает он мне вопрос.

— Хорошо у меня, Петрусь, — отвечаю, — очень хорошо.

Он деликатно выпрашивает, всегда ли хорошо было, не случалось ли, конечно, за дело, и прибить жену. Я чувствую его тоску по женщине, по семье, по устойчивой жизни. Мне хочется укрепить его пошатнувшуюся веру, я рассказываю ему о хороших людях, о верных подругах. Он спрашивает, как звать жену,

какие у нее волосы, глаза. Имя «Роза» ему очень нравится. Я пожаловался, что за все эти годы мне ни одного письма жены не передали. Петрусь осторожно осведомился, уверен ли я в ее готовности поддерживать переписку.

Тогда я рассказал ему, как жену вызвали на партийное собрание и предложили от меня отказаться, а она, по словам следователя Смирнова, «арест взяла под нахальное сомнение» и ответила, что никогда не поверит в мою виновность и никогда от меня не откажется. Розу исключили из партии с формулировкой: «За недоверие к органам государственной безопасности».

Петрусью рассказ мой очень понравился, тоном знатока он меня заверил, что для мужика фартовая баба — дело заглавное.

За несколько суток пребывания в сырой, до невозможности перегруженной барже все мы очень ослабели. Даже уголовники приуныли, все чаще собирались они у люка, задрав головы, точно волки на луну, выли изощренные ругательства. Если охраннику надоедало, он начинал бить тяжелым по задраенному люку, и тогда толпа незамедлительно меняла репертуар. Теперь уже неслось протяжное, нудное: «Во-ды-ы-ы...»

По сигналам и нервному придыханию буксира мы догадываемся, что нас пришвартовывают. Баржа вздрагивает. На берег и с берега несутся выкрики. Всех нас охватывает возбуждение. Хотя нечему радоваться, разве лишь новому этапу лишений. Баржа нас изнурила, стала ненавистна, и, не заглядывая в будущее, мы мечтаем поскорее покинуть свою скрипучую могилу, увидеть солнце, подставить лицо ветру, вздохнуть во всю изболевшуюся грудь.

Подталкиваемый Петрусем, я наконец взбираюсь по лесенке и вываливаюсь из люка. День пасмурный, однако он кажется мне ослепительно светлым. Я даже прикрываю глаза от хлынувшего на меня дневного сияния. Схватываю глазом мутное колебание воды внизу, и в это мгновение Петрусь рядом со мной задиристо выкрикивает: «Даешь Айкино!»

А я, еле сдерживая дрожь голоса, спросил:

— Как называется город?

Петрусь развеселился:

— Ха-ха, город! Порядочной блохе — один скок. Вот тебе и все Айкино.

Невдалеке от реки начиналась довольно широкая улица. У самого ее начала, в стороне от дороги, нас и расположили табором. Отдышаться. Охрана почти не обращала на нас внимания. Деваться тут некуда было.

По дороге пробегали грузовики, лениво глазели на нас прохожие. И над всем селением висит такая же убогая, обшар-

панная, заплаканная церковь. Петрусь, оказывается, тут уже был. Объясняет, что мы находимся в Коми АССР, на территории Северо-Печорского железнодорожного лагеря, лагерь тянет линию на Печору и Воркуту. В Айкино помещается одно из отделений лагеря. А глазющие на нас люди в большинстве — зеки.

Лихорадочно размышляю. Если Роза отсюда перевела деньги, следовательно, тут она и работает. Значит, ее сюда выслали. Где остался сынишка?

Я оглядываю искалеченную церковь, все вокруг отдает серой тоской, небо низкое-низкое, застланное тучами. Падают тяжелые капли дождя. Сухие губы жадно слизывают их холод. Сейчас нас прогонят этой широкой улицей, может, за окном одного из этих домиков находится Роза, а я пройду мимо, на далекую Печору.

Жадно слизывая с губ холодные дождевые капли, я шепчу Петрусю:

— Я открою тебе страшный секрет. Ты должен мне помочь. Иначе быть беде.

Петрусь глядит на меня непонимающими глазами. В самое ухо я хриплю ему, что тут, в Айкино, находится Роза, нужно сообщить ей обо мне, а я не знаю, как это сделать. Петрусь как-то странно глядит на меня, а затем указательным пальцем сверлит свой висок. Он явно думает, что я спятил. И я снова, путаясь в словах, рассказываю ему про почтовый перевод со штемпелем «Айкино».

Теперь уже у Петруся ошалелый вид. Он жадно шепчет, сверкая глазами: «Теперь поверю, что можно по банному билету выиграть тещу с мотоциклом». Накаляясь, он уверяет меня, что хотя лично он, Петрусь, по науке в бога не верит, но если я встречу с Розой, то — и он ткнул пальцем в небо — там кто-то болтается.

Вскоре Петрусь возвращается с десятком папиросных мундштуков и коротеньким грифельком. И на каждой бумажке я надписываю: такой-то, прохожу с этапом. И ставлю свое имя.

Зажав записочки в руке, Петрусь исчезает. Оказывается, он стрелял этими бумажками в кузова проходивших машин. Часа два продолжалась мука тщетного ожидания. Затем нас подняли. Ноги мои отказывались двигаться. Когда мы проходили по улице, я вглядывался в окна, еще уповая на чудо. Позади остался и последний дом. Стало пусто на душе, и хотя мы только что отдыхали, ноги налились свинцом, а мешок словно наполнился камнями. Вскоре мы вошли в лес, и нас как-то сразу окатил дождь. Накрытые брезентовыми плащами, по бокам шлепали

конвоиры и злобно ругались. Если колонна начинала раздаваться в ширину, а окрики не действовали, конвойные приспускали собак. Ряды давно перемешались, мы бредем толпой.

Чувствуя всю непоправимость случившегося, мучимый неудачей, я кричу сквозь шум дождя Кириллу Васильевичу Струве, что в Айкино осталась моя жена, что мне не удалось с нею связаться. Длинный, мокрый, он кажется мне в эту минуту шагающей водосточной трубой, и меня сердит, что он меня не понимает, взгляд его то ли испуган, то ли насмешлив.

Петрусь куда-то запропастился. Не иначе, испытывает неловкость оттого, что ему не удалось помочь мне. Рядом оказывается Лазарь Талалаевский. Он уже знает мою историю. Человек оперативный, Лазарь придумал выход: на первом же этапном пункте сказаться больным. С ближнего расстояния легче будет связаться с женой.

Дождь прекратился. Но дорога стала непролазной. Мы вынуждаемся из сил. Конвой непреклонен, колонна зажата лесом, привал делать негде. Вертухаи ярятся, почти без перерыва по всей колонне доносится: «Давай! Давай!»

Еще мокрый от дождя, я покрываюсь испариной, мешок врезается в плечо, ноги разъезжаются в склизких лужах. Я растегиваю ворот, дышу шумно, и мне все хочется дышать открытым ртом. Носом я уже не успеваю втягивать воздух. А ведь я вынослив. Еще недавно мне ничего не стоило в солнцепек на велосипеде гнать из Ленинграда в Детское Село, мог, не бросая весел, прогнать лодку от коней на Аничковом к заливу, до Лахты. Увы, три с половиной года тюрьмы не могли не сказаться. Особенно голодуха Соловков.

Мы одолели лишь первый десяток километров. Впереди — не меньше тысячи. Нет, мешка мне все равно не дотащить. Я отжимаюсь к обочине и одним рывком скидываю мешок. Стало легче, бойко прошел несколько шагов и непроизвольно оглянувшись, увидел, как Петрусь подхватил мой мешок. Жар кинулся мне в лицо. Стало неловко и грустно. От Петруся я этого не ожидал. Страшно было оглянуться, встретиться с ним глазами.

Начало вечереть, когда, вконец измученные, мы вышли на площадку, очищенную от леса. Впереди возникли унылые очертания вышек.

Тут и для нас полагались отдых и кормежка. Но место занято, и мы понимаем, что «заправка» не состоится. В лучшем случае кормежку и водопой перенесут на утро. И колонна начинает роптать. В основном тут бытовики, уголовники. Кто-то из них пронзительно свистнул. Разбойным посвистом откликнулись

в таборе у зоны. Конвойные заорали на нас, собаки разбушевались, начали рваться с поводков, над колонной пронеслась буря негодующих выкриков: народ требовал воды, хлеба.

Прокатился выстрел. В мгновенно наступившую тишину врезалась команда сойти с дороги. Вохряки прикладами подталкивают ближайших, собаки тычутся мордами, рычат, и народ, наваливаясь друг на друга, скатывается в придорожную топь. Ноги увязают, спотыкаются о пни, а нас все злее отжимают дальше от дороги.

Какая-то группа набирает скорость и резвее положенного откатывается к лесу. Это замечают охранники. Отчаянно матерясь, они тяжело бегут наперерез, с трудом поспевая за собаками, бешено натягивающими поводки.

— Стой!

— Ложись!

— Куда прешь?

Сбитые с толку, мы беспомощно шарахаемся среди пней и противно чавкающих провалов между пнями. Но тут уже гремит залп, доносится истошный крик: «Ложись, стреляю!» — и мы вповалку кидаемся на пни, в воду, в хлещущий вереск, лицом в чьи-то ноги, уже не в силах ни дышать, ни соображать. Кто-то отпихивает мою ногу и свирепо шипит: «Убирай колеса!» Я поднимаю голову, хочу переползти, но в это же мгновение доносится предостерегающее: «Не вертухайсь!» — и щелкает выстрел. Плюхаюсь носом в чью-то мокрую штанину, отряхнув, попадаю щекой в колючий вереск, и спружинившая ветка сшибает мои очки. А над головой снова гремит: «Не вертухайсь!»

Так провели мы ночь. И если я до смерти не закоченел, то лишь потому, что наливался злобой, наливался ненавистью. Не забыть. Не простить. И за тех, кто на бесчисленных каторжных дорогах лег, как сегодня я, но уже не встал.

Когда лежишь в болоте, когда знаешь, что стоит тебе встать — и тебя уже навечно врежут в землю, когда слышишь, как кто-то, не сдюжив, лежа мочится, прокливаемый соседом, время тянется неторопливо. Можешь думать всласть. И я думал: как хорошо, что Роза не видит меня, ведь она продолжает верить, что я выдержал, не надломился, остался таким, каким был до того страшного вечера. Может, это даже лучше, что мы не встретились. Ведь ее должен напугать мой вид: бородатый, состарившийся, изможденный. Жалость — плохой попугачик любви. Я не хочу жалости.

Мог ли я знать, что в это время женщина с палкой, тяжело передвигая набрякшие ноги, вышла на дорогу и замерла над на-

шей поверженной ратью. Сухими от боли глазами она глядела в ночь, в темень, шарила взором по уродливым комьям, расплассанным по болоту. Сердитый окрик вертухая заставил ее вздрогнуть и снова прибавить шаг. Нужно было поспеть в зону, что-то сделать, перехватить залегший на передышку этап. Ведь почта Петруся сработала.

Можно себе представить, какой издевкой прозвучал утренний «Подъе-е-ем!..», провозглашенный зычным голосом охранника. Я чувствовал себя вдавленным в болото. Оно засосало меня, и ни сил, ни желания не было оторвать от этой жижи свое тело.

Лишь когда поднялся, когда утренний ветер шмыгнул в рукава пальто, пробежал сквозь тело, только тогда я почувствовал, что меня бьет дрожь. Губы свело, я пытался пошутить над собой, но слова перекосило, и они уродливо застряли в одеревеневших губах.

Я полез рукой под гимнастерку, тело было мокрым и скользким. Дрожь начала бить сильнее. А вокруг одни лишь чужие лица. Среди вечерней суматохи я оторвался от своих. Глянул под ноги: неужели в этой влажной, могильной вмятине я провел ночь?

Пошел разыскивать своих. Только сделал несколько шагов, меня чуть не сбил с ног Петрусь. Он сердито накинулся:

— Все кусты обегал, тебя разыскивая. Всех вертухаев о тебе расспрашивал. Тьфу,— сплюнул он,— увидит тебя Роза, признает, что лучше ишака серого иметь, нежели такого мужика. Переоденься поскорей, принарядись, рожу подскобли! Вот чучело зеленое!

Тут только я заметил, что у Петруся два мешка. Один из них мой. И мой мешок Петрусь сердито пихает мне в живот.

Борода Петруся густая, иссиня-черная. Над ней резко выделяется землистая серость под глазами. А глаза жаркие, воспаленные, с красными прожилками. Видать, и ему нелегко далась эта летняя ночь. Петрусь пихает меня мешком, а я отступаю. Мне совестно того, что я подумал. Вконец растроганный, я растерянно отнекиваюсь, ведь я кинул мешок, он уже не мой. А губы из-за волнения не слушаются, я ощущаю, как они беспомощно скашиваются и подрагивают. И мне уже обидно оттого, что Петрусь орет на меня, кроет меня кусачими словами. Оттого, что сердце мое преисполнено раскаянием и признательностью, смысл его ругани вовсе до меня не доходит, меня попросту обижает тот факт, что он не ощущает моей благодарности.

— Ты что, полагаешь, что я шакал? Ах, туды-растуды, значит, Розе своей признаешься, что Петрусь — шмаровоз, грабнул на дороге, земляка заголил, барахлишко его загнал?

Петрусь до того разбушевался, что на нас уже начали оглядываться.

Я вытащил белье, полотенце. Сильно растер тело и, надев все сухое, сразу почувствовал тепло и прилив бодрости. Не понимаю, как Петрусь ухитрился под дождем и в болоте сохранить сидор сухим. Даже сахар сохранился. Но стоило мне заикнуться о дележе, как Петрусь вновь забурился словесностью.

Наша группа снова в сборе. Все уже знают, что в Айкино находится моя жена, но мне не удалось с нею связаться. Сочувствуют, дают советы, и вновь и вновь поражаются такому совпадению.

Меня вызвали к начальству. Мне показалось, что весь этап выкрикивает мою фамилию. И никакой связи с Розой я в этом не усмотрел. Я попросту удивился, почему такое количество людей на разные голоса меня выкликают. Когда я наконец откликнулся, впереди меня, вновь на разные лады, прокатилось торжествующее: «Идет!», «Идет!» Сторонясь, народ освобождал мне дорогу.

Вконец удивленный, я подошел к военному в фуражке с синим верхом. Захлопнув папку с бумагами и равнодушно взглянув на меня, он отрывисто спросил:

— Бухгалтер?

— Какой...— вскинулся я, но на слове «бухгалтер» осекся, ибо стоявший рядом высокий, худой человек в телогрейке и серой кепке давнул мою ногу и вкрадчиво, я бы даже сказал доверительно, осведомился:

— Где вы работали бухгалтером?

От боли в ноге я подскочил, поэтому вовсе уже свирепо собирался огрызнуться на кепку:

— Как...

Но худой дядя, сохраняя нежнейшую улыбку, ловко меня ушипнул, так что я почти одновременно оказался контуженным и в ногу, и в руку, и тут же одними губами, чуть тронув воздух, произнес: «Ро...з...ска...»

Никто кроме меня не мог услышать и понять это колыхание зефира. Но молния догадки меня уже ударила.

— Да, да, главный бухгалтер! — завопил я, обращаясь к военному, — я был в полной растерянности. Когда военный вздумал уточнить, в каком учреждении я состоял главным бухгалтером, то мое собственное ухо с ужасом зафиксировало:

— Я работал главным бухгалтером ОГИЗа.

А кепка удовлетворенно заметила, обращаясь к военному:

— Хорошо, очень хорошо: ОГИЗ — это объединение государственных издательств. Учреждение всесоюзного масштаба. Кандидат для нас подходящий.

Отметив все мои данные, военный приказал «собраться с вещой».

Кроме меня отобрано было еще шестнадцать человек. Извлечение одного человека могло возбудить подозрение. Я изловчился шепнуть человеку в кепке фамилии моих попутчиков.

Физик Кирилл Васильевич Струве отрекомендовался нормировщиком. А когда военный осведомился, где он работал, Кирилл Васильевич с таким высокомерием сослался на изданный им учебник «Основы нормирования», что и я полностью ему поверил.

Алексей Васильевич Улитовский, профессор физики, пожилой человек с длинной бородой, скромно назвал себя бухгалтером. Учítывая, что Алексей Васильевич состоял директором Института метрологии, он не погрешил против истины. В дальнейшем Алексей Васильевич стал (посмертно) лауреатом Ленинской премии.

Чем обернулось мое звание «главного бухгалтера всесоюзного масштаба», как записал меня военный, расскажу позднее. Сейчас лишь добавлю, что ни Петруся, ни Лазаря Талалаевского в тот момент под рукой не оказалось, их так и не удалось включить в группу липовых специалистов, отобранных для Айкино. Я не успел ни попрощаться с Петрусем, ни братски поблагодарить его. Он лишь навечно остался в моей памяти.

Семнадцать человек повели в обратном направлении, мимо нашего ночного лежбища, лесом, разбитой, не успевшей просохнуть дорогой. Тут только я успел сообразить, что почти все мои попутчики знают про Розу, кто-нибудь может проболтаться, и чудо нашей встречи может закончиться весьма плачевно. И я пустил по рядам предупреждение держать язык за зубами.

К естественной усталости присоединилось бурное волнение. Ведь я уже знал лютую правду: Роза осуждена, в лагере заболела, несколько дней как вышла из больницы и снова работает в штабе отделения. Это по ее просьбе человек в кепке — Василий Иванович Ермаков, главный бухгалтер отделения, нагнав на лошади наш этап, получил разрешение начальства отобрать специалистов.

Я шел справа, а Кирилл Васильевич Струве слева, поэтому на какое-то мгновение он раньше моего заметил со своей стороны в окне женщину. Он радостно прорычал: «Вот она!», а я уже глядел на Розу сквозь какой-то туман. Глаза ее растерянно обегали ряды, она меня не узнавала: ведь я и сам не узнавал себя, когда ловил свое отражение в оконном стекле — изможденный, бородатый дядька. Но вот она задержалась на мне, я ус-

пел кивнуть головой, но тут же заметил, что Роза, западая в глубь комнаты головой, тихо сползает с подоконника.

Лагерный пункт находился в ограде церкви. Недаром с первого же взгляда показалась она мне такой сиротой, скособоченной, оскверненной. В ней я и провел свою первую лагерную ночь. Описать встречу с Розой мне трудно не только потому, что и в воспоминаниях она кровоточит. У меня попросту нет подходящих слов выразить и счастье, и трагизм этой встречи.

От Василия Ивановича я уже знал, что Роза, увидев меня, действительно потеряла сознание,— ведь она только вышла из больницы и очень слаба. Сейчас Роза успокоилась и скоро придет в зону. Следует, однако, сохранять величайшую осторожность,— если станет известно, что мы муж и жена, меня незамедлительно отправят в другой лагерь.

Я стоял во дворе, в толпе прибывших, когда Роза вошла в зону и, оглянувшись, медленно направилась к нам. А я должен был сохранять спокойствие, не привлекать внимания. Мы стояли почти рядом, точно чужие друг другу.

Потом мы встретились в крохотной кабинке Василия Ивановича, милого, родного человека, всем сердцем разделявшего наше волнение, наше счастье и нашу муку. В кабинке все время кто-нибудь толкался, но мы смогли хоть обменяться несколькими словами.

Вскоре все уже знали, что в зону прибыл муж Розы. И ко мне приходили знакомиться, пожать руку, посочувствовать. И на лицах изможденных людей светилась радость оттого, что вопрекор жестоким законам заключения произошло такое непредусмотренное событие. Все, оказывается, знали, что Розу исключили из партии за «недоверие». Знали, что и тут, в лагере, когда у нее распухли ноги и ей предложили перейти в контору, потребовав письменного отказа от мужа — врага народа, она на это не согласилась.

А женщин, проживавших с Розой в одном бараке, больше всего пленило «предчувствие» Розы, упрямо утверждавшей, что мы встретимся, что меня приведут именно в этот лагерь. Все знали мистическую надежду Розы, что я прибуду в Айкино, и ее лихорадочное наблюдение за проходящими этапами. После моего всамделишного появления в зоне обстоятельство это обросло самыми фантастическими подробностями. Фантазия людей, истосковавшихся по своим близким и любимым, неистово и доброжелательно разрисовывала нашу с Розой повесть.

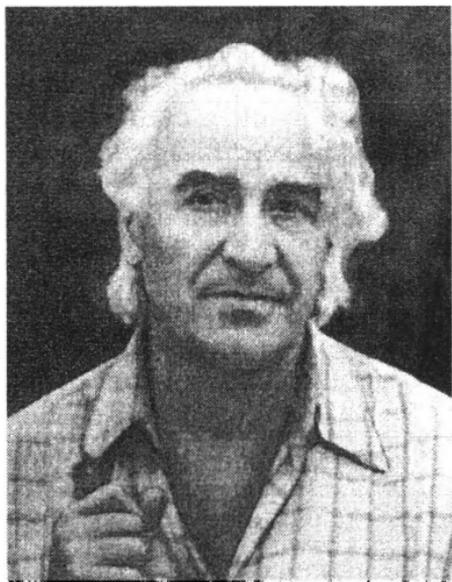
Могли ли они подозревать, что один из наших первых разговоров с Розой уже породил недоумение и боль...

Комсомолка двадцатых годов, Роза сохранила прямолинейную беспощадность суждений. Попав в условия лагеря, она сделала из этого неукоснительные политические и организационные выводы. Она порвала с партией, а позже не восстанавливалась в КПСС. Я же продолжал ощущать себя коммунистом и литератором, нравственно живя как бы вне заключения. Не берусь утверждать, что именно я поступил честнее. Мы оба были правы. Потеряв веру, Роза иначе поступать и не могла. Время сняло наши разногласия.

Через девять лет после встречи у айкинской церкви меня снова арестовали в комнатке Розы. Снова попал в тюрьму, а там — в «особую камеру» с ее обыкновенными обитателями и их необыкновенными историями.

Еще через шесть лет, уже в Ленинграде, в 1955 году, мы с сыном дожидаемся прибытия поезда. Меньше двух лет было Жене, когда он остался без матери и отца. И за ним приходили тогда, и его предназначали в детский отстойник, где сирот обучали благодарить за счастливую жизнь. Но бабушка спрятала внука. Так он уцелел. Теперь он студент.

Вместе встречали Розу, возвращающуюся из мест, где она оставила восемнадцать лет своей жизни...



**Захар
Львович
ДИЧАРОВ**

род. 1912

Министерство безопасности
Российской Федерации
Управление
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
28 апреля 1993 года
№ 10/14

По имеющимся в Управлении МБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области материалам, Дич Захар Львович, 1912 года рождения, уроженец Варшавы, до ареста студент ЛГУ, проживал в Ленинграде, Бабурин пер., д. 6 кв. 108*.

Арестован 9 сентября 1937 года. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 28 января 1938 года осужден по ст. 58-10 ч. I и 58-11 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы.

Вторично арестован 16 декабря 1948 года. Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 2 марта 1949 года осужден по ст. ст. 17—58-8, 58-10 ч. I, 58-11 УК РСФСР к ссылке на поселение.

Определением Военного Трибунала ЛенВО № 1097 от 24 октября 1956 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 28 января 1938 года и постановление Особого Совещания МГБ СССР от 2 марта 1949 года по делу Дич З. Л. отмене-

* Литературная фамилия писателя З. Л. Дич — Захар Дичаров.

но, и дело о нем производством прекращено за отсутствием состава преступления. Дич З. Л. реабилитирован.

Дич Захар Львович находился под стражей в заключении с 9 сентября 1937 года по 29 марта 1946 года и с 16 декабря 1948 года по 24 марта 1949 года.

Основание: арх. уголовное дело № П—18939.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Дичаров (Дич) Захар Львович (1.01.1912, Варшава) — прозаик, публицист, сценарист, поэт. Детство провел в Петрозаводске, здесь окончил семилетку и курсы киномехаников, работал с кинопередвижкой в Карелии и Ленинградской области, затем — электромонтером на предприятиях Ленинграда (1930—1936). Учился в Вечернем лит. ун-те им. А. М. Горького, получил среднее медицинское образование, окончил ист. фак. Ленинградского университета (1958). В 1937—1946 и 1949—1954 был на различных работах в районах Крайнего Севера и Сибири, в 1946—1949 — литсотрудник газеты в г. Волхове, в 1954—1955 — сотрудник Дома творчества Литфонда СССР, затем по 1957 — референт депутата Верховного Совета СССР академика О. Б. Лепешинской. Печататься начал в 1929. З. Дичарову принадлежит историко-географическое исследование «Первый американский путешественник по России и Сибири Джон Ледьярд», за которое он избран действительным членом географического общества СССР. По его сценарию создан художественный фильм «Остров Волчий» (1969). В его литературной записи вышли воспоминания О. Б. Лепешинской «Путь в революцию» (1963). Является автором цикла публицистических передач по Всесоюзному и Ленинградскому радио «Не только семейное дело» (1978—1979) и др.

Омоложенный гигант: Очерки. Л., 1932; Записки о необыкновенном: Рассказы. Л., 1959; Рассказ о городе и человеке: Очерки. Владивосток, 1960; Волхов: Ист.-краеведческий очерк. Л., 1961; В стране таежных следопытов: Очерки. М., 1962; По эту сторону океана: Очерки. Л., 1963; Человек покоряет реки: Очерки. М., 1964; Снова февраль: Повесть и рассказы. Л., 1965; В том краю: Рассказы. М., 1966; Остров Волчий: Повесть. Мурманск, 1968; Тайна острова Эль-Параисо: Фантаст.-приключен. роман. Звезда Востока, 1975, № 8—9; Хановой: Роман. М., 1976; О совести, о долге. Л., 1979.

А также: До последней минуты... Ленинградским писателям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Лениз-

дат, 1983 (автор-составитель); Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Выпуск 1-й «Тайное становится явным». Л., «Северо-Запад». 1993 (автор-составитель); Выпуск 2-й «Могилы без крестов». С.-Петербург, 1994 (автор-составитель); «Голоса из блокады. Ленинградские писатели в осажденном городе. 1941—1944», 1996; «Необычайные похождения по России Джона Ледьярда — американца», 1996.

Захар Дичаров

ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ...

Камера

Если обернуться в свое прошлое, что там?.. У одних — война и все, что было до нее или после нее. У других — нечто спокойное, благополучное, тихое — день да ночь, сутки прочь. У третьих — недели, месяцы, годы, перечеркнутые тюремными решетками, окруженные колючей проволокой лагерей, арестантская пайка, пересыльные тюрьмы, этапы...

Я был среди третьих. И длилось это девятнадцать лет — с 1937-го по 1956 год.

Ночью 8 сентября 1937 в дверь моей комнаты постучали (я жил в коммунальной квартире). «Кто?» — «Дворник». Вслед за дворником шагнул через порог человек в шинели. У двери встал часовой с винтовкой.

Всю ночь длился обыск, хотя что там было искать у студента, обитавшего в маленькой, скудно обставленной комнате? Уже совсем рассвело, когда это действие закончилось. Энкавдэшник позвонил из коридора по телефону, вызвал машину, а потом потянулись минуты ожидания. Я обнял Киру, мы сели на узкую кушетку и так сидели, как две застигнутые непогодой птицы.

Мы ни о чем не говорили. Молчал и дворник-понятой, и часовой, стоящий у двери с винтовкой, и тот, кто выполнял арест. Потом в дверь постучали: пришла тюремная машина.

— Выходите! — приказал энкавдэшник. Он был молодой, наверное, моего же возраста, и, как видно, в органах недавно: то что-то смущался, то напускал на себя вид опытного чекиста. И повторил:

— Выходите, не задерживайтесь!

Кира сказала:

— Возьми с собой одеяло, маленькую подушку, белье...

— Ничего этого не надо. Там все есть.— И усмехнулся.— Как в доме отдыха. И еды не надо, накормят.

— Ну, тогда захвати хоть это,— Кира подала пакетик с конфетами. Она не выронила ни слезинки, но ее тонкие плечи дрожали. Сплетя пальцы, она с силой сжимала ладошки.

С этим пакетиком, в единственном своем костюме и шапке-кубанке я и вышел из комнаты, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.

Настоящих тюремных машин, как видно, не хватало. Меня сунули в кузов грузовика-фургона. Там уже находился кто-то. Часовой сел у задней стенки.

Странное чувство я испытывал: как будто все это уже было. И обыск, и арест. И старинная тюрьма. И то, как меня обыскивали и раздевали, фотографировали в профиль и в фас, заставляли пальцы, вымазанные черной краской, прижимать к бумаге, оставлять отпечатки.

Ну да, с тех пор как я научился читать, сколько уже было прочитано всевозможных книг, в которых героев вот так же хватали и бросали в темницу. Только какой же я герой?

Корпуса из потемневшего от времени красного кирпича, протянувшиеся за высокими стенами вдоль Нижегородской улицы (ныне улица Лебедева), назывались до Октября 1917 года Военным каторжным централом. Там содержали революционных солдат и матросов. Отсюда увозили их на казнь или отправляли в Сибирь. Теперь у нее не было названия, но все знали, что это тюрьма НКВД. Четыре этажа одиночек.

— Руки назад! — и ботинки застучали по железу. Все — железное: ступени нешироких лестниц, перила, переходные площадки, решетчатые двери, узкие галереи вдоль камер. Сталь и камень. Постукивание тяжелых ключей о металл, промежуточные двери открываются, закрываются. Остановка.

Лязгая, грохочет ключ, открывается последняя дверь — с глазком и прикрытым окошком. Камера.

Я вошел и остановился у порога. Прижался спиной к двери. Ко мне обратились лица арестантов. В камере-одиночке их было с десяток, если не больше. Как могли они здесь уместиться?..

— С прибытием, значит? — бросил один. Но не насмешливо, а скорее печально.— Вот тут, в уголочке примоститесь. У нас, как в соборе: «В церкви яблоку было негде упасть, а вошел господин пристав, и ему место нашлось».

Но я не садился; прижав к себе узелок, в котором лежало мыло, зубная щетка, конфеты, всматривался в население камеры. У одних — борода и усы, у других — просто давно небритые щеки. И лица у всех такие настороженные, а может быть уг-

рожающие? Куда же меня привели? Это, наверное, все бандиты, убийцы, грабители?..

Я достал из узелка пакет с конфетами, неуверенно положил на торчащий сбоку щиток железного стола.

— Вот... угощайтесь, пожалуйста...

И тут раздался смех. Человек в узких «грибоедовских» очках взял пакет и протянул мне обратно.

— Так и есть, новичок вообразил, что попал к блатным! Иван Александрович, подождитесь на два-три микрона, пусть товарищ сядет и отдохнет. Да садитесь же. Еще настоитесь!

По правую сторону от двери находилась железная койка, прикрепленная к стене. У задней стены лежали сложенные стопкой три или четыре тюфяка. На этой «мебели» и сидел народ — впритык друг к другу. Напротив входа, в углу — унитаз. На стене полка, на ней ложки, миски. Из окна, забранного «намордником», цедится слабый свет.

— Я тут вроде старосты,— сказал мужчина в «грибоедовских» очках. На интеллигентном лице светились яркие, серые глаза.— А на воле — Денисов. Доктор наук. Институт физиологии имени Павлова. Ну, и с остальными познакомитесь. А сейчас — как дела в Испании? Что там слышно?

Узелок с «имуществом» выпал из моих рук: их интересует, что происходит в далекой, чужой Испании?.. Я рассказал, что знал из газет: решительного перевеса не имеет ни та, ни другая сторона, но положение Народного фронта становится с каждым днем сложней.

Обсуждали горячо, можно было подумать, что идет какое-то собрание. Потом задали несколько вопросов мне: кто, откуда. А-а, студент. Так, так...

— И до студентов, значит, добрались,— произнес мужчина с гладко зачесанной, почти совсем седой головой. У него было худое лицо, как бы рассеченное двумя морщинами. Он потянул в себя воздух, еще больше втянул щеки, снова распустил. Это и был Иван Александрович.

— Про историю забыли?..— Денисов насмешливо поднял брови.— В царское время студенты были первыми бунтарями.

— Так то — в царское...

Открылось окошко, мне сунули алюминиевую миску и ложку. Снова захлопнулось. Слышно стало, как в соседней камере черпак с баландой звякнул, ударяясь о край миски. Разносят обед.

Потянулись дни. Они казались непомерно долгими, но в то же время и быстрыми, это оттого, что весь день проходил в раз-

говорах. О чем? О своем «деле», хотя некоторые понятия не имели, в чем оно состоит и в чем их обвиняют. О семьях. О делах служебных. Но больше всего о том, что делается в стране: о том зловещем, всеохватном и непонятном. Аресты, аресты, расстрелы, процессы... Зачем, почему?.. Сто догадок и ни одной разгадки.

Из всех, с кем я находился в камере, только имя Денисова было мне известно: большой ученый, физиолог, уже не один год изучающий поведение животных высшего порядка. В Колтушах, в институте Павлова размещался обезьянник, где обитали орангутанги «Рафаэль» и «Роза». О них самих, об исследованиях, которые велись Денисовым, много и часто писали в газетах, и не только в советских. Эксперименты Денисова имели международную известность.

На третий или четвертый день он рассказал мне, — другие уже знали об этом, — как сначала его подвергли высылке, но Павлов тут же дал телеграмму Молотову, и его возвратили. Второй раз — уже после того, как Павлова не стало, — его отправили в ссылку вместе с семьей. Причем не как-нибудь, а с «почетом» — предоставили для личных вещей, мебели и прочего имущества целый вагон-теплушку. Настойчивые требования Орбели, адресованные в правительство, возымели действие: вагон вернули с полпути.

В третий раз не было ни вагона, ни семьи: арест и вот эта тюремная камера. «Рафаэль» и «Роза» лишились своего опекуна и хозяина. Бесполезно было задавать себе вопросы, зачем, почему, для чего это надо? Все объяснилось после одного из допросов, который длился всю ночь.

Этого сугубо интеллигентной наружности, мирного и по профессии и по склонностям ученого обвинили, оказывалось, в... терроризме. Вместе со своими коллегами Денисов посещал философский семинар, который вел один из преподавателей Ленинградского университета и научный сотрудник Академии наук Карев. После убийства Кирова Карева сочли причастным к террористическому заговору и расстреляли. Все, кто посещал семинар Карева, были брошены в тюрьму.

Артиллерийский инженер-капитан, в гимнастерке без ремня, с удалой иронической усмешкой на сухих губах, ничего не рассказывал о себе. Просто обронил коротко, что ему шьют такое, что даже во сне не увидишь.

Зато Иван Александрович — человек с простым открытым характером, который нередко называют «русским», словоохотливо рассказал, что влип за... «сегнерово колесо».

— Вы по школе помните еще, что это?

Ну, как не помнить? Если взять три-четыре-пять, словом, несколько изогнутых под прямым углом полых трубочек, соединить их в центре так, чтобы в них одновременно поступала под напором жидкость, то это придаст им реактивное вращение. Опыты с таким устройством мы, мальчишки, с великой охотой устраивали у себя в школьной лаборатории.

Так вот, Иван Александрович, заведовавший на Невской судоремонтной верфи, что в Петрокрепости, всякой механикой, устроил на праздник Октябрьской революции «сегнерово колесо» из четырех медных трубок, подал в них воду. Устройство завертелось, выгаликивая из себя прозрачные струи. А так как вращалось оно быстро и струи подсвечивали, то и получилось веселое и эффектное зрелище.

Но вот кончился праздник и того, кто затеял «колесо», арестовали. Обвинение было предельно простым и ясным: соорудил под видом «сегнерова колеса» изображение фашистской свастики: крест с четырьмя лапами. А то, что повернуты они были в другую сторону, значения не имело: все равно фашистский знак, а стало быть — вражеская пропаганда.

Кажется, год спустя я встретил этого доброго неунывающего человека на этапе в Котласе. Перекинулись словечком.

— Десятку припаяли, — сказал он и развел руками так, как если бы сам ее себе припаял. — И не по ОСО, а по суду. Доказчики, видите ли, нашлись!

Лица всех остальных, кто был со мной в той камере, теперь уже стерлись из памяти. Но сколько же довелось в последующие годы наслушаться — кого, как и за что бросали за решетку, за колючую проволоку — на гибель, на смерть, на забвение. Если бы собрать все эти «случаи», «причины», «основания» воедино — какая бы получилась фантастическая книга! Именно так: фантастическая. Ибо ни один логически мыслящий юрист, судья, да просто любой здравомыслящий человек не придумал бы того, что содержится на ее страницах!

Не много дней пришлось мне провести в этой камере, но в одном я убедился: все, кто населял ее, были люди. И каждый в отдельности — человек, в высоком смысле этого слова. В один из дней, под вечер, открылась дверная форточка, дежурный надзиратель спросил: «Кто есть на Дэ», на это откликнулись двое: Денисов и я. Мне приказали:

— С вещами!

Прощание коротко. Взаимные пожелания поскорей оказаться «на воле», а через несколько минут я очутился на дру-

гом этаже, в камере, где было достаточно просторно: водворили в одиночку. Меня все еще не вызывают на первый допрос, я не знаю, в каких преступлениях мне предстоит покаяться, так что я могу пока предаваться размышлениям о чем угодно и сколько угодно...

Под одним крылом

Дежурный надзиратель крикнул в дверную форточку: «С вещами!» Кончалась одиночка. Спустя часа два я оказался во внутренней тюрьме НКВД на улице Воинова (ныне Шпалерной).

И тут, так же, как и там, на Нижегородской, длинные корпуса, узкие мостики-галерейки вдоль камер, крестообразная архитектура в плане, и в центре похожее на широкую сторожевую башню сооружение со стеклянным куполом: центральный пост.

Но на этот раз не было для меня никакой одиночки, а по переходам и лестницам вели меня в коридор, по бокам которого шли большие общие камеры. Вместо двери в каждой — широкая и высокая решетка, вместо окошка, забранного снаружи «намордником», просторные, но тоже зарешеченные окна.

Камера, куда меня ввели, как объяснили те, кто тут томился уже не один месяц, бывшая тюремная церковь. И населяло ее по меньшей мере полторааста человек.

Посреди камеры тянулись два длинных, составленных в стык стола. Вдоль стен — сложенные штабелем деревянные щиты. Возле столов — несколько скамеек. В углу, за перегородкой — умывальник и то, что на бытовом языке называется туалет, а в тюрьме параша.

Как и каждого новенького, меня сразу же обступили люди, в большинстве своем давно не бритые, рассчитывая на то, что я только что с воли и, значит, могу поделиться новостями. Но мои новости оказались уже давними, да и что я, студент второго курса истфака, мог бы поведать такого, чего они сами не знали, не понимали.

Староста вручил алюминиевую миску и ложку, а когда подошла ночь, показал место, где я могу устроиться на ночлег. Но какой же это был удивительный ночлег. На цементный пол уложили плоские деревянные щиты, это явилось «первым этажом» нашей спальни. На эти щиты поставили невысокие козелки и на них постелили еще ряд щитов, так появился «второй этаж». На такие нары улеглось все население камеры. Спали буквально впритык друг к другу, вплотную, никаких тюфяков или другой подстилки не было и в помине; под головой сумка или наволочка, в которой тебе разрешили принести с собой полотенце,

мыло, кое-что из продуктов. Лишь у немногих оказывалось одеяло, взятое из дома.

Но мест на всех все равно не хватало, и нередко только что схваченные люди сидели, скорчившись, прямо на холодном каменном полу, ожидая, когда освободится место. Так и я провел две ночи, а потом мне досталось место под столом, и я познакомился с двумя своими соседями. Один был священник в темно-серой рясе, человек лет около шестидесяти, с длинными с проседью волосами; его привезли из какого-то деревенского прихода, а другой — мужчина среднего роста в очках с толстыми стеклами, в черном костюме. Справа — отец Федоровский, слева — Матвей Петрович Бронштейн.

В тот вечер, когда я сумел, наконец, вытянуть ноги на отведенном мне пространстве, мы почти ни о чем не говорили. Даже сама возможность хоть как-то расправить уставшие, онемевшие за день суставы давала подобие отдыха. Когда утром в шесть часов нас подымали стуком тяжелого надзирательского ключа и мы убирали с пола щиты, места для того, чтобы посидеть, не хватало. И вот вокруг столов, в длину они имели метров шесть, как лошади по кругу, ходили, ходили, ходили арестанты. В камере было свое неписаное правило: те, кто посидел с часок, уступали место другим.

Были среди нас и такие, которых допрашивали «на конвейере», то есть круглые сутки. Менялись следователи, а жертву заставляли стоять у стенки неподвижно. Отекали ноги. Иногда допрашиваемый терял сознание... Таких, едва их приводил надзиратель, укладывали на щит, подкладывали что-то под ноги, чтобы был отток крови. И кормили.

Наши ночи были, пожалуй, еще пострашней, нежели дни. На допросы чаще всего вызывали ночью. Гремел ключ в стальной решетчатой двери, резкий, повелительный голос выкрикивал: «Иванова Эс Пэ — на допрос!» И от этого металлического лязга и оклика у каждого сжималось сердце. «А может и меня?»

Я рассказываю обо всем этом, чтобы была понятна та атмосфера непрерывного угнетения: спертый воздух, отчаяние и надежда. Иногда только что арестованный человек приносил с собой обрывок газеты, в которую была завернута еда, и из него мы узнавали (ни книг, ни газет не полагалось), что наш сокамерник такой-то, еще три-четыре дня назад находившийся среди нас, осужден и расстрелян, как это было, например, с инженером Охтинского химического завода Копорским. Бывало и так, что вызывали на допрос человека, который (как потом выясня-

лось) в эти самые часы сидел в театре на спектакле и не чувал над собой беды: машина истребления давала сбои.

Кончался день. Отбой. Мы укладывались. Отец Федоровский снимал рясу, оставался в исподнем, подстилал штаны, клал под голову сапоги, накрывался своим одеянием. Ту же процедуру проделывали мы. Матвей Петрович подстилал брюки и жилет, прикрывался пиджаком. Ложе, конечно, было жестким, с непривычки утром болели все мышцы, ломило все кости, но терпелись, ничего.

Когда при свете следующего дня мы разговорились, я узнал, что мой сосед слева — профессор Бронштейн — заведующий кафедрой теоретической физики Ленинградского университета. И знал таких моих преподавателей, как академик Борис Дмитриевич Греков, академик Василий Васильевич Струве, академик Евгений Викторович Тарле.

Тюремный день долг и томителен, когда ты сидишь в одиночке, но когда вокруг тебя люди, а люди эти в большинстве своем были цветом нашей интеллигенции, эта странная жизнь в плену у своих становится более терпимой.

Ясно и зримо представляю себе Матвея Петровича, слегка сутулого, медленно шагающего под руку рядом с Алексеем Диким, режиссером, народным артистом СССР, и о чем-то спорящих. Я заметил у Бронштейна такую особенность: он разговаривал, слегка склоняя черноволосую голову в сторону соседа и даже чуть-чуть наклоняя ее набок. Жесты его были как-то скованы, скупы, причем, может быть, вследствие большой своей близорукости, он иногда держал невдалеке от лица согнутую в локте руку, как будто рассеянно всматривался в собранные в щепоть пальцы.

В эту камеру я попал в половине октября и пробыл в ней до конца января или начала февраля следующего, 1938 года, когда меня оттуда перевели в знаменитые «Кресты». Но сколько же было за недели и месяцы пребывания там переговорено с моими соседями по ночлегу! Отец Федоровский держал себя со спокойной мудростью глубоко верующего человека, который считает, что испытание послано от Бога, и, стало быть, надобно через него пройти. Он хорошо знал два иностранных языка и иногда приводил изречения Гёте. Но и у Матвея Петровича я не замечал какой-либо растерянности, страха, уныния. Он был ученый, твердо знающий законы природы, и человек с художественным воображением, автор нескольких популярных книг по физике, написанных для детей. Пожалуй, больше всего его томило, именно томило, а не угнетало, недоумение: почему он оказался

здесь, почему от него требуют каких-то немислимых признаний, во имя чего?.. Именно как человек широко мыслящий он пытался узреть в фактах и событиях своей личной жизни какие-то элементы общего процесса и объяснить себе этот процесс.

Мы все, заключенные этой камеры, свободно общались между собой. Бронштейн нередко подолгу разговаривал и с протоиереем, если память не подводит, Матвеевым, настоятелем Никольского собора, и с бывшим командиром армейского корпуса Степановым, и с певцом из Кировского оперного театра Сабининым.

Матвея Петровича вызывали на допросы не часто и обычно днем, хотя, кажется, были иногда и ночные допросы. Помнится, в январе 1938 года это происходило чаще. Мне кажется, что он испытал на себе и силу следовательских кулаков, я заметил на его теле синяки, когда он как-то раз снимал с себя рубашку, чтобы ее простирнуть, а оставался в пиджаке... (Впрочем, испытал это и я на себе: мне выбили часть зубов.) Но он никогда не жаловался и просто уходил от такого рода разговоров. Ко мне он относился доверительно. Рассказывал, что его арестовали в Киеве и везли оттуда в тюремном вагоне и что он долгое время был убежден, что причина ареста в том, что он однофамилец Льва Троцкого-Бронштейна. Но как-то сказал мне, что ему предъявляют обвинение в том, что он член некоей «преступной контрреволюционной группы» и что ему даже показали «уличающий» протокол допроса, подписанный известным советским физиком Фоком, с которым ему доводилось работать.

— Но нет,— сказал Матвей Петрович,— я убежден, что это фальшивка и что ею меня провоцируют на какие-то ложные признания. Фок не мог такого сказать!

Число заключенных в нашей камере менялось: то около полутораста, то не больше сотни. Аресты шли волнами. Но даже в этих страшных условиях — это тоже человеческий коллектив. А коллектив склонен к самоорганизации. В камере был староста, был также «завхоз», который ведал раздачей хлебных паек, следил за тем, как разливали баланду и кашу из общего котла, был и культорганизатор. Он отвечал за организацию досуга. Каждый вечер, а иногда и днем, в камере устраивали лекции или рассказы бывалых людей. Выступал Алексей Дикий, рассказывал о том, как он руководил еврейским театром «Габима», как находился с ним в Палестине и затем возвратился в СССР. Капитан дальнего плавания — фамилию не помню — рассказывал много интересного о знаменитых Галапагосских островах. Не один раз выступал и Матвей Петрович. Его рассказы о пробле-

мах современной физики были не просто интересны. Широко образованный человек, он умел коснуться и еще каких-то важных человеческих проблем.

Так шли недели. Подошло время и мне расставаться со «Шпалеркой». Заключительным аккордом моего пребывания в ней было заявление в прокуратуру, в котором я написал, что ко мне применяли недопустимые при ведении следствия методы допроса, насилие, физическое воздействие, и что я считаю подобное следствие незаконным.

Хорошо помню озлобленное лицо моего следователя (если не подводит память — Хромова), который сказал:

— Так бы тебе сунули пятерку — и все, ну а раз компрометируешь советское следствие — получишь десятку!

Десятку мне, правда, не удалось схватить, получил восемь лет за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Попрощались мы с Матвеем Петровичем по-дружески, не обнимались, а попросту крепко пожали друг другу руки. Каждый пожелал другому быстрее быть «на воле», но когда я видел, как за последние две недели осунулось, побледнело и даже пожелтело лицо Бронштейна и как тоскливо и печально смотрят его глаза, мне раз от раза становилось за него всей больней. Когда годами длилось мое кочевье по тюрьмам Красноярска и Кирова, по лагерям Воркуты и Печоры, по поселеньям Енисейского Заполярья, все казалось: а не встречу ли я где-нибудь этого жизнелюбивого, яркого человека.

Не встретил...

Спустя двадцать лет, будучи уже реабилитирован, я нашел в Москве жену Матвея Петровича — Лидию Корнеевну Чуковскую и рассказал ей о нем все, что знал. Она, в свою очередь, поведала мне, что Матвей Петрович скончался в 1942 году в одном из северных лагерей. Однако лишь недавно стало известно, что доктор наук, одна из больших надежд советской физики, Матвей Петрович Бронштейн был расстрелян в феврале 1938-го, в возрасте тридцати одного года.

Княж-погост

Этап наш уходил от Котласа все дальше. Дорога — то вилась по льду Вычегды, то взбиралась на береговые откосы и тянулась от селения к селению, прорезая черный зимний лес. Из очередной этапной избы, сразу после раннего подъема и скудной утренней кормежки, шагали почти до самых сумерек. Ноги становились деревянными, и вся партия ползла еле-еле. Уже не помогали окрики конвойных: «Не растягивайся!» А когда кто-

нибудь, вконец обессиленный, падал и не мог подняться, начальник конвоя тыкал пальцем в тех двух зеков, что казались ему поздоровей, и приказывал: «А ну, подымайте — и в первый ряд!»

И двое, тоже замученных долгим переходом, покорно брали упавшего под руки и с тяжким усилием тащили вперед. Чаше, чем кого-либо, приходилось подымать молодого армянского учителя Мелкумяна.

Перед выходом из Котласа нас одели в обычное арестантское одеяние первого срока: грубое белье, поверх бумазейную рубаху, цветом похожую на серую осеннюю тучу, черные ватные штаны, ватный бушлат и валенки. На голову ватную же, плоскую, как блин, ушанку. Тому, кто не умел аккуратно накрутить портянки да еще никогда в жизни не ходил в валенках, особенно в новых, ходьба была невмоготу. Он быстро натирал мозоли на ногах, а потом уж от каждого нового шага можно было криком кричать.

У Мелкумяна так и получилось. Он не шел, а уродливо ковылял: сколько хватало сил, терпел, но потом падал. Мне тоже приходилось его тащить. И когда мы еле двигались впереди колонны, я слышал его полубезумное бормотание:

— Куда меня ведут?.. Зачем?.. — в его голосе звучало такое отчаяние, такая смертная тоска от одной только мысли, что каждый метр пройденного пути уводит его все дальше от дорогой ему Армении, что мука физическая, наверное, меркла перед ними.

Он вызывал бешенство конвоиров, на него извергался поток мата, но в конце концов они давали ему сесть на дровни, и какое-то время его несчастные ноги могли отдохнуть. Так мы и двигались с одной только мыслью — добраться бы до ночлега. Шли, пошатываясь, но не давая себе сбиться в сторону; каждое утро, выстроившись в колонну, когда уже готовились тронуться в путь, слышалось грозное, грубое: «Шаг влево, шаг вправо — стреляем без предупреждения!»

Княж-погоста, крупного лагерного пункта, ждали с нетерпением. Знали, что там будет дневка, передышка дня на два-три, помывка в бане, и уже не думалось ни о чем другом: ни о том, что и как будем делать дальше, потом, а хотелось только одного — добраться до этого места.

Весна уже начинала подогрывать пухлые вычегодские снега. Они становились сыпучими, в них вязли ноги, и пройти очередной пролет длиной в двадцать пять-тридцать километров было для многих нестерпимой мукой. Один из нас, военный инженер Смирнов, заболел. Лицо у него пылало от жара, идти он не мог,

его положили на сани. Позади колонны тащились трое-четверо дровней с запасом путевого продовольствия, ну и, конечно, для самих конвоиров, которые, приустав от пешего хождения, поочередно садились в сани. Заключением полагалось только шагать.

Но заболевшего, хоть и в почти бессознательном состоянии, полагалось довести и сдать по счету, по списку «куда положено».

В Княж-погосте мы ночевали уже не в этапной избе, а внутри зоны в бараках — длинных, с двойными нарами, устроенными из неокоренных жердей. Никакой особой работой нас не занимали. Смирнова положили в лагерную больницу, размещенную в таком же бараке. Кто хотел быть поменьше в спертom воздухе «жилухи», где спало по восемьдесят-сто человек, могли записаться в хозбригаду. Дела в ней были простые: пилить-колоть дрова для кузни, взяв в руки метлу или лопату, заниматься уборкой, таскать для бани воду. Рядом со мной спал геолог из Москвы, высокий костистый человек со слегка выпученными глазами, Козлов. Он предложил: «Чем тут мозоли на костях набивать, пошли в хозбригаду».

На пару с ним мы попали в распоряжение простого, говорившего на «о» мужичка Кондратия, имевшего какой-то небольшой, года три или четыре, срок. Был он слегка суетлив, скороговоркой командовал, кому куда идти, что делать. И когда ходил, заметно прихрамывал. Потому-то, наверное, его и оставили при лагпункте.

Мы с Козловым пилили еловую сушину возле кухни, когда он вдруг приказал нам оставить это занятие, взять две штыковые лопаты и идти за ним. Я спросил куда.

— А тут, недалеко, за зону... Пошли, пошли!

Козлов уставился в него выпуклыми глазами:

— С вещами, что ли?..

Хозмужичок досадливо дернул плечом:

— Э-ээ, какие там вещи! Недолго тут... Ну-у дорогу подсыпать. Бери лопаты!

Вместе с нами он дошел до вахты, что-то буркнул дежурному вохровцу, и тот пропустил нас. Мы вышли за зону и поплелись за ним по уже потемневшей притаявшей дороге. Шли с четверть часа, так и не понимая куда и зачем. Потом свернули в сторону, по узкой, кой-как протоптанной тропе, тянувшейся через лес, вышли к широкому прогалу, имевшему форму неправильного квадрата. Остановились на краю.

Для свежего глаза он казался странным. Точно какой-то одичавший виноградник истыкан невысокими, в метр-полтора ко-

лышками; ряды их тянулись метров на полсотни вправо, влево — во все стороны; под каждым невысокий холмик. Только не замечалось нигде и следов старых высохших лоз, а торчали на колышках-столбиках прибитые поперек небольшие куски фанеры, дощечки.

Нас привели на кладбище.

Оно не было обычным, это поле мертвых, на котором находят последний земной приют все, невзирая на чины, ранги и должности. Это было арестантское кладбище, где в промерзший грунт закапывали только эзков, а в качестве последнего документа, удостоверяющего личность того, кто стал отныне только тленным прахом, приколачивали фанерку.

На ближайшей от меня дощечке я прочитал: «к/з Кривульский Н. А. Год рожд. 1907. КРТД. Срок 8 лет». И все. И на каждой дощечке — те же пункты, хотя на некоторых еще было добавлено: «Конец срока — 1945 год». Или другая цифра.

— Пошли,— позвал Кондратий.

Все могильные холмики были еще в снегу, мы петляли меж ними, местами проваливаясь по колено. Он привел нас в дальний угол. И тут увиделась землянка, прикрытая двускатной крышей, еще сохранившей на себе клочья толя. А рядом с землянкой смуглел повлажневшей древесиной штабелек гробов.

Втроем мы спустились в землянку и теперь, в смутном свете, падающем сквозь открытую настежь дверь, обозначились носилки и на них человек.

— Взялись,— угрюмо произнес Кондратий.

Козлов встал в ногах, а мы двое ухватились за ручки у изголовья, вытащили носилки наружу и поставили на снег.

Мертвец был прикрыт куском мешковины, виднелись только ноги, обутые в казенные — наверное, больничные — тапки. Кондратий показал на штабелек гробов: надлежало взять один и положить в него покойника.

Гробов было четыре, и все они оказались короче, нежели человек, что лежал перед нами. Мы выбрали тот, что подлинней,— будущий жилец не помешался и в него.

Сколоченные из необрезных досок и горбыля, с широкими щелями между пазами, они выглядели как некая хозяйственная принадлежность, приготовленная для домашних потребностей, ну, скажем, держать заготовленные на зиму кочны капусты или кормовой турнепс.

На трупе лежала уже заготовленная дощечка, со столбиком, предстояло выкопать яму и опустить туда гроб. Надпись на фанерке гласила: «з/к Кельсон-Кельве. ст. 58-10. Срок 10 лет». Год

рождения указать, как видно, забыли: на вид ему было лет сорок пять. Худое, с впалыми щеками, посиневшее лицо обросло черной щетинкой. Одет он был не в казенную, а свою собственную темно-синюю рубашку с редкими светлыми полосками и черные брюки. На голове тубетейка; он показался мне жителем Востока, но Кондратий, который знал о нем больше нашего с Козловым, обронил:

— От воспаления в легких помер. Сказывали, что сам-то из Ленинграда-города, вроде бы такой человек, ну книги писал...

Яма была выкопана, но что делать дальше, мы не знали: мой земляк не умещался в гробу. Кондратий приказал:

— Ну ладно, давай клади.— Мы стояли, не двигаясь. Он повторил с надрывом: — Чего стали?.. Подогнем ему ноги, и...— Он отколотил одну боковую доску, мы кое-как уложили труп в щелястый ящик, так что он лег почти боком с подогнутыми ногами и вытянутыми вдоль тела руками, и опять кое-как прибили доски и крышку. Постороннему глазу могло показаться, что человек не умер: просто спит, слегшись в неудобной позе.

Ну вот и все. Гроб опущен в яму. Над ним насыпан холмик и в изголовье вкопан столбик с фанеркой. Можно уходить. Мы сняли шапки. Я заметил, что губы у Кондратия вздрагивают и по сивой бородке катятся слезы. Он что-то громко шептал, наверное, это была какая-то русская молитва. Козлов отвернулся и еще больше ссутулился. А я не мог произнести ни слова: горло было схвачено, стянуто петлей, не было сил дышать.

— Задолжал он...— пробормотал Козлов, поправляя лопатой осыпавшийся в одном месте холмик.— Не отсидел положенное.

— Задолжал...— как тихое эхо, откликнулся Кондратий. Он трижды широко перекрестил могилу и, уже не произнося ни слова, пошел обратно в зону, даже и не оглядываясь, идем ли мы за ним.

День стоял все такой же серый, продуваемый зябким северным ветром, и звуков в нем не было никаких, кроме отдаленного вороньего грая да скрипа какой-то надломанной бурей ели.

— Вот и нас с тобой когда-нибудь вот так же,— сказал Козлов с натугой, точно преодолевая удушье.— Когда-нибудь...

Я молчал. Мне хотелось сказать, что мы закопали не просто скончавшегося арестанта, мы навсегда зарыли память о нем. Кто и когда узнает о клочке этой оскорбленной жестокостью и насилем земли?.. И о том, кто в ней?

— Проходите,— бросил вохровец.

Загремел засов. Открылась дверь. Мы вернулись в зону, по которой ходили пока еще живые...

Путь в неизвестность шел по воде. Но сначала по совсем раскисшей дороге, под яростный лай овчарок мы прошагали от Ухты до реки Ижмы, там нас погрузили в длинные тюремные баржи. Они не были предназначены для перевозки людей, в сырых, пахнущих смолой, наглухо закрываемых трюмах таскали бочки с соленой треской, пиленный лес или скот.

Все эти запахи, давным-давно впитавшиеся в обшивку, смешались, теперь к ним добавились еще испарения человеческого тела. В два широких квадратных люка с трудом просачивался свет, а к вечеру в трех-четырех местах подвешивали фонари «летучая мышь», и их жалкие желтые огоньки светились только возле трапов, ведущих наверх.

На палубе у самого кормового борта помещался дощатый гальюн, нависающий над водой, — к нему всегда была очередь. Конвоиры огрызались, когда кто-то выстанывал, что вот, дескать, терпеть нет мочи, бросали: «Чего терпишь, коли приспичило? Отливай в трюме!»

Запахи становились еще гуще и тошнотворней.

Буксирный пароход, плюясь черным дымом, тащил не одну нашу баржу, а целых четыре, сцепленных по две. Слышно было, как в носовых плечах хлупает вспененная ходом вода. Нас везли неизвестно куда. И сколько нам плыть, тоже никто не ведал. Горячей пищи не было. На палубе устроено что-то вроде печи с вмазанным в нее котлом. Там кипятили воду. По утрам старосты раздавали хлебные пайки, к ним по куску сырой соленой рыбы; сахару не полагалось, но кипятку было вдосталь.

Время от времени кому-то удавалось подняться в гальюн или налить в котелок воды, и тогда узнавалось, что из Ижмы мы уже выплыли в Печору, река широкая, пристаней не видать, и плывем не вверх, а в сторону устья. Караван добрался до затона Щелья-Юр, и там нас выгрузили на берег.

В затоне размещалась судоремонтная верфь. Тут отстаивались всю зиму речные суда, тут их чинили, освежали. Дымились трубы мастерских. Нас привели в какое-то помещение, сложенное из деревянных брусьев, внутри — широкое, с большими окнами. Для каждого нашлось место на полу, было тепло и сухо.

Появилась горячая пища — баланда из сушеной рыбы с редкими крупинками, иногда подбрасывали по черпаку каши из крупяной сечки. Начальник конвоя сказал, что как только лед сойдет вниз, к Нарьян-Мару, так поплывем дальше. Но куда дальше — не открыл.

Странные это были дни, наверное, недели полторы-две. Кормежка была жалкая, чувство голода не исчезало. На работу не выводили. Оставалось одно — разговоры. Уже обозначились «компании»: уголовные — отдельно, большая часть остальных — «враги народа» — тоже жались поближе друг к другу, потому что блатари не считали грехом стырить пайку, залезть в вещевую сумку и вытянуть оттуда то, что поинтересней.

Но вскоре самыми желанными для урок оказались те из нашего брата, кто умел «тискать романы», то есть пересказывать содержание приключенческих или детективных книг. Такому предоставляли лучшее место и подкармливали.

Одного из своих земляков, ленинградского географа Валерштейна, я хорошо запомнил. Коротко остриженные волосы, выпяченные скулы, орлиный нос и пронзительный взгляд глубоко посаженных глаз. Он «тискал» уркам романы Дюма. С подробностями, с пересказом и даже с изображением диалогов в лицах — рассказывал главу за главой «Графа Монте Кристо».

Погода не хотела считаться с планами ГУЛАГа. Налетали с севера шквалистые ветры, били плотными снежными зарядами по таежным берегам, по резной шири, на которой все еще ползла торосистая шуга. А то вдруг схватывалось все это морозом. Запертые в затоне суда одевались в белое.

Этапная публика такой погоде была вроде бы рада: мантулить не заставляют, пайку и баланду, что положено, выкладывают, а срок между тем идет.

Сиденье наше в Щелья-Юре окончилось в одно утро. Светило солнце. На Печоре покачивались последние редкие льдинки, путь дальше был свободен, и опять потянулись по реке тюремные глубокие баржи, и опять стало слышно, как под днищем плещется и бурлит весенняя вода. Караван доплыл до устья Усы и двинулся вверх по ней. Половодье было в самом разгаре, не надо было обходить островков, мелей, шли ходко, поздним вечером причалили к Адзьва-Вом; на языке коми «вом» означает «приток».

Гуском мы поднялись по крутой осклизлой дороге. На голом берегу громоздились черные угловатые холмы — каменный уголь. Вправо склады, опоясанные забором, влево, в зоне, брусчатые, посеревшие от дождей бараки, а за ними ряды брезентовых палаток, длиной каждая метров по пятнадцати. Туда нас и поместили.

Палаток таких было не меньше полутора десятка. По низу каждой, примерно на полметра высоты, тянулась дощатая опалубка из горбыля, она была двухслойной, а в промежутке засы-

пана земля. По обе стороны от входа — нары из жердей. Принесли и раздали матрасные чехлы, достались они в первую очередь уголовникам. Те набили их стружками. Это был уже комфорт. Я тоже принес кучу стружек, прикрыл сверху парой портянок, в изголовье положил мешок с вещами.

День дали нам для устройства, и началась работа на рейде. По неширокой и неглубокой реке Усе везли воркутинский уголь в мелкосидящих деревянных посудинах, паузках, а здесь, в Адзьве, его перегружали на крупные, с большой осадкой баржи по 800—1000 тонн водоизмещением и доставляли в порт Нарьян-Мар, почти у впадения Печоры в Карское море. Там бункеровали проходящие по Северному морскому пути суда или же, как топливо, отправляли в Архангельск и Мурманск.

Все было очень просто. Из трюма прокладывали к берегу узкие дощатые настилы, потом ты брал в руки тачку с высокими бортами. Насыпал, нагрузил доверху — и пошел, покатил по доскам. Довез до места, кувырнул тачку, высыпал — и обратно.

Тачка весит килограммов тридцать, да уголек в ней еще полсотни килограммов, вот и попробуй вкатить ее наверх по крутому откосу...

Минула неделя, полярный день съел остаток ночей, солнце уже не уходило за горизонт. И все двадцать четыре часа слышалось дробное грохотание колес. Кончала работу одна смена, приходила другая.

Пока стояла высокая вода, почти каждый день паузки с Воркуты подходили один за другим. Над рейдом истошный крик шкиперов и бригадиров: «Давай, давай! Мать-перемать, и так уже стоим сколькой час!»

Но арестантов на все не хватало. Перестали уводить в зону на обеденный перерыв. Баланду привозили в водовозной бочке. В двухведерных кастрюлях — куски вареной трески. Пайку выдавали с утра. Казенной посуды никакой не полагалось. Мастерили котелки из старых консервных банок. Ложку давали, но чтобы не утащили, каждый носил ее с собой.

Много месяцев люди просидели в тюремных камерах без воздуха, без движения. От плохого питания, от всего пережитого, выстрадавшего они превратились в собственные тени: бледно-желтые лица, худые руки, ввалившиеся глаза, опавшие щеки. Лишь немногие были в том же возрасте, что и я, студент второго курса. Остальной народ — кому за сорок, за пятьдесят и старше, большей частью те, для кого привычнее труд умственный.

Десятичасовые смены все удлинились: двенадцать, пятнадцать, восемнадцать...

Приходил начальник лагерного пункта — тоже заключенный — высокий жилистый латыш с короткой фамилией Цвик и, не выпуская из зубов трубку, негромко повторял: «Пока эту баржу не загрузите, в зону — никого!»

Нас не отпускали. Высоко стоящее солнце припекало все сильнее. На Севере переходы от весны к лету быстры. Уже вилась в нагретом воздухе облачка комаров и мошкар, садились на взмокшие, в угольной пыли лица, и смахнуть их было невозможно: отпустишь рукояти тачки — она покатится назад, и на тебя, и на того, кто сзади.

Когда же наконец скипер с очередной баржи кричал: «Э-э, кончай, под завязку уж!» — не хватало сил добрести до зоны.

Мы шли, не поднимая головы, спотыкаясь, как лунатики, глаза смыкались. А в зоне — руки уже не удерживали кружку с кипятком. Ткнешься на нары и будешь спать мертво, непробудно, пока через четыре-пять часов опять не растолкают: «Подъем!»

Самым тяжким в памяти остался тот день, когда нашу бригаду держали под выгрузкой тридцать часов. Трех после этого унесли в морг.

Жоржик-самоварчик

Я приходил с угольной площадки, шатаюсь от дикой усталости. Руки, ноги, спина — все было чужое. Все ломило, болело и в то же время как будто утрачивало чувствительность. Меня можно было колоть, резать — больней уже не было бы. Усталость валила с ног, но и сон не приходил. Просто наваливалось что-то неясное, зыбкое, точно меня погружали в глубокую канаву, доверху наполненную холодной слизью, и только оставались на поверхности нос и узкая щель рта, чтобы я мог дышать. Но стоило хоть ненадолго забыться, как опять я слышал грохотание тачечных колес: тачки... тачки...

Наверное, лицом я очень изменился, если Яша Витебский, бывший секретарь Новгородского окружкома комсомола, с которым мы плыли вместе по Печоре и спали в барже рядом, прошел мимо и даже не кивнул. Я окликнул его:

— Яков...

Он обернулся, посмотрел искоса, покачал черной бородой.

— Черт возьми, да тебя не признать! Ты что — на тачках?

Я молчал. Чем мог он помочь... Он покрутил хвостик борды:

— Ты вот что,— ты топор держать умеешь? Я в шестом бараке, зайди вечером.

Якова назначили бригадиром строительной бригады. Его бригада, так же как и хозяйственная, жила не в палатке, а в брусчатом бараке. Там было суше и теплей. Он сидел за столом, заполнял наряды. Оторвался на минуту. Кивнул.

— Завтра с грузчиками не пойдешь. Выходи к вахте на утренний развод, будешь в моей бригаде. Я договорился.

Наутро в инструменталке я получил плотницкий инструмент: ножовку, топор, молоток, клещи, долото, сколько надо гвоздей и вместе с бригадой вышел за зону. Яков привел меня на бугор, в который врыта землянка, показал на сложенные рядом бруски, жерди, доски:

— Будешь сколачивать из досок трапы для тачек, а под трапы — козлы.

Небольшое умение было, и я начал... Весь день пыхтел над своим заданием, к концу смены смастерил пять козелков. Яков посмотрел, поставил на ровное место, покачал туда-сюда:

— Для первого раза годится.

Однажды Яков повел меня в ту сторону, где стоял на отлете штрафной изолятор, а неподалеку от него — конюшни.

— У водовоза под бочкой брусок надломился, сходи, надо заменить.

Водовоз этот — среднего роста мужчина в какой-то необычной для «зека» круглой широкополой рыбацкой шляпе, в брезентовой куртке и кирзовых сапогах на кривоватых ногах — выдернул из бочки затычку, подождал, пока оттуда кончит хлестать толстая струя, и приказал:

— А ну, взяли!

Мы стащили бочку с телеги, и я принялся делать свое дело. Он свернул махорочную сигарку, присел на край бочки. Спросил:

— В плотницком деле, как видно, не очень сильны, молодой товарищ?... Откуда приплыли? Москва?

Я ответил, что нет, не Москва, а Ленинград, плотник я, конечно, липовый, потому что студент-историк, но раз надо, значит...

— Резонно. Значит, почти что и земляки.

Но на мои вопросы о себе он ничего не сказал, а заметив, что новый брусок стоит на месте, вновь взялся за бочку. С пыхтением, с натугой мы ее установили на повозку, притянули железными шинами, чтобы не болталась, и я уже хотел уйти, но он задержал:

— Погодите. Проверим, как оно в деле.

Он вывел из конюшни гнедую кобылу, за которой трусил жеребенок, долго и неумело запрягал. Когда же в конце концов

этот обряд закончился, наставительным тоном стал читать кобыле лекцию:

— Ну, куда тебя заносит? Родительский инстинкт надо сдерживать, а не то я воды в пекарню не навожу, а рабы божии — лагерники останутся без пайки. Хотя ты и не обладаешь высшим разумом, но понять это можешь?

— Чудной какой-то этот водовоз,— заметил я за обедом, выскребая кашу из котелка.— Ветеринар, наверное, бывший, все свою лошадь агитирует.

Яков поиграл скулами, поскоблил пятерней сажевую бороду.

— Ты про такого Сафарова Георгия слышал?

— Сафарова, того, что был, кажется, партийным секретарем по всему Северо-Западу?.. Член ЦК?

— Вот-вот. Это он водичку таскает. Пищу телесную. Но и про духовную не забывает. Говорят, капитальную работу затеял, пишет и пишет. Называется «Философия сталинской эпохи» *.

— Здесь пишет такую штуку? Да не может такого быть!

— А ты попробуй поговори с ним, но только так... не очень. Кто его знает, какой он веры?

На лагерном пункте, как водится, была КВЧ — культурно-воспитательная часть, ведал ею тихий малоразговорчивый уроженец недалних тундр по фамилии Хатанзейский. Попал в отсидку за какую-то служебную провинность, имел малый срок, и потому ему было доверено заниматься идеологической перековкой «врагов народа». Все его занятие заключалось в том, что он ведал небольшой библиотекой. Я заглянул туда, как только немного пришел в себя после перехода с «тачки-тачечки» на другую работу.

Днем сильно грело солнце, а ночами еще долго примораживало. Бывало, проснешься ночью, чтобы сбегать по нужде, а у тебя волосы изморозью прилепило к краю нижней обшивки, вот и трешь, отдираешь. В палатке — холод. Дрожишь. Если хочешь хоть малость обогреться — садись к печке. А печка — пузатая железная бочка из-под горючего, в которой понизу прорезана дыра, днище снято, сама же она поставлена на попа на толстый слой шлака.

От нее исходит не только тепло, но и слабый свет. И конечно густая волна запахов: висят, сушатся кругом портянки, подмокшие штаны, тряпки какие-то.

Не забуду, с каким увлечением читал тогда книгу по истории

* В очерке А. Македонова эта работа упоминается под названием «Сталин как диалектик».

архитектуры, которая как-то застряла у Хатанзейского. Впервые узнавал о том, что было мне совсем незнакомо.

После разговора с Яковом о Сафарове я выпросил в КВЧ один из томов Ленина. Это было третье издание, в красной обложке, под редакцией Бухарина. Тех, кто готовил книгу, успели уже и судить, и расстрелять, а тут все собрание сочинений стояло цело и невредимо.

Порывшись в книге, я нашел то, что надо, и вот сейчас, когда все уже спали, кроме дремлющего у входа дневального, читал письмо Ленина.

«Дорогой Георгий!

Насчет конференции ничего не знаю. Решайте сами.

Лечение Н. К. затягивается, и я пробуду здесь еще две недели, а то и побольше. Точно не знаю...»

Стояла подпись: «Н. Ленин» и дата: 20 июля 1913 года. А ниже пометка: послано из Берна в Цюрих, письмо написано в связи с подготовкой второй конференции Заграничной организации РСДРП, состоявшейся потом в Берне 2—3 августа того же 1913 года. Четверть века назад: стоял как раз август 1938 года.

Я не смог читать дальше. Значит, человек в рыбацкой шляпе, слегка сутулый и лупоглазый, мирно и даже ласково уговаривающий гнедую кобылу шагать от пекарни до реки и обратно, и один из близких Ленину людей — одно и то же лицо?

Дня через два я ремонтировал пол в конюшне. Когда туда зашел Сафаров, остановил его и спросил без всякой подготовки:

— Георгий Иванович, вы Ленина знали?

Он ответил не сразу. Пошел снимать со стены висевший на штыре хомут, взял сложенную в углу шлею. Уже на выходе обернулся и, не поднимая головы, произнес:

— Было. Знавал. Вместе в эмиграции. Ну и потом, после Октября...

— И вы тогда тоже были Сафаров?

— Сафаров?.. Нет. Моя фамилия Володин, но в те времена — Егоров, ну и другие клички. — Он потер указательным пальцем короткие усы, язвительная усмешка скривила губы: «Жорж», «Саф», «Жоржик», «Сафчик», «Самоварчик», «Сафарчик». Пора меня в музей. Экспонат.

Он шагнул в проем ворот, но тут я опять не выдержал:

— А здесь... вы, говорят, здесь пишете... Про философию?

— Про философию?.. — Он вдруг снял очки и стал нервно протирать стекла. — Не понимаю.

— Ну да: про философию сталинской эпохи... — я понизил голос до шепота и обернулся — нет ли кого рядом.

Сафаров понес к телеге хомут и сбрую, вернулся за другой и череседельником, выговорил внятно:

— У каждой эпохи — своя философия. У вас, товарищ студент, как насчет любомудрия?

Пришлось признаться, что не очень-то, хотя, конечно, марксистскую философию штудировал.

Он поправил очки и шляпу, вскинул дугу на плечо и с едкой горечью бросил:

— Не знаю, кто и что вам говорил. Зачем о ней писать, о философии?.. Вот она — вся вокруг нас и перед нами! — он ткнул сжатым кулаком в сторону медленно текущей Усы, на которой разворачивался очередной угольный караван.— Доживем — напишем. А не доживем — другие доскажут.

Минул почти год со дня моего ареста. Среди тех, кто обитал вместе со мной на тюремных харчах или тащился на этапе, были самые разные люди — и старые большевики, соратники Ленина, тоже. О себе они почти не рассказывали: каждый уходил в себя, в свое прошлое, в мрачное настоящее.

Но ни разу еще не получалось так, чтобы я собственными глазами читал обращение Ленина «дорогой», а этот «дорогой», заброшенный сюда на Север, обихаживал кобылу Машку!

Нас гоняли на разные работы, недели три Сафаров не попадался мне на глаза. Так было до того неприятного осеннего дня, когда над рекой и всем окружающим дерганно понеслись темно-серые вихрастые тучи, и от порывов холодного ветра зябла каждая косточка. Яков развел людей по точкам, оставался только я один, и он повел меня на угольную площадку, где на возвышенном месте была устроена большая землянка с окошком на скате крыши. Над нею слегка дымилась короткая жестяная труба.

У землянки стояли почему-то двое часовых. Дальше они нас не пустили бы, но с нами пришел еще и комендант, он объяснил, что к чему, и мы вошли внутрь.

— Вот,— показал Яков.— Короб у печки развалился. Починишь.

Он ушел, а я притащил несколько досок и стал прилаживать ограждение для земли. Картина знакомая: железная бочка вместо печи, а короб с засыпкой, чтобы пол не загорелся.

В землянке было сумрачно и тесно. Кто-то лежал на нарах, кто-то сидел с краешка. Десятка полтора заключенных — мужчин и женщин. Зачем их сюда собрали, почему стерегут, было непонятно. Вдруг я увидел среди них и Сафарова. Он притулился в углу на чем-то вроде чемодана и, казалось, дремал. Но когда

я стал стучать, сбивать доски, открыл глаза и, поймав мой взгляд, кивнул. Лицо было угрюмое.

Подошла женщина. Помню ее широкое у глаз и суженное у подбородка лицо, прядки темных волос, непокорно спадающих на лоб, ее намеренно приглушенный голос. Она куталась в ватную телогрейку, зябко стягивая ее на груди.

Спросила шепотом:

— Пятьдесят восьмая?

— Да...

— Нас везут с Воркуты, не знаем куда. Я — жена Иоффе, нашего посла в Японии. Знаете, слышали?

— Иоффе?.. Да. Конечно.

— Что пишут сейчас в газетах? Мы ничего не знаем. Быстро!

— Не знаю. Давно не читал. Редко приходят...— Не хотелось говорить о недавних сообщениях под рубрикой «Хроника» — новые приговоры, новые расстрелы.— Не знаю...

Вошел комендант, Иоффе умолкла. Он не ушел, пока не закончилась моя работа. Я повернулся в сторону Сафарова, кивнул ему на прощание. Он не ответил. Куда их везли, зачем?.. Зашел за мной бригадир. Мы шли по кромке берега. Кружились над нами снежинки — недалекая зима подавала сигнал,— легко царапали щеки и улетали. Угольные холмы точно бы застилало ситцевое покрывало — черное в белую крапинку.

— Взяли нашего водовоза,— произнес Яков, когда мы отошли подальше от землянки.— Каково-то его сочинение о философии сталинской эпохи?

— А куда их, как думаешь?

— Под вышку вряд ли, это и на Воркуте бывает. Слышал?.. Скорей всего опять на какое-нибудь следствие, еще на один процесс, ну, а потом, конечно, могут и...— Сделал жест, будто рубил сверху вниз.

— Жоржик-Самоварчик,— сказал я.

Яков вопросительно посмотрел, и пришлось объяснить, что это — клички. Подпольные клички Сафарова. А Ленин к нему обращался не так, а просто: «Дорогой Георгий». А еще он же Егоров, и Сафарчик...

Каков был конец Георгия Сафарова? Много лет я ничего о нем не знал. И только в недавнее время выяснилось, что злосчастная судьба «врага народа» подарила ему еще несколько лет жизни, он умер в 1942 году в лагере.

Продолжал ли он работать над своей «Философией сталинской эпохи»?..

«Страдания нашего народа ни с чем не сравнимы даже в кровавой летописи деспотизма. Задушена не политическая партия, а порабощен стомиллионный народ, который талантом, умом и восприимчивостью к просвещению, добросердечностью своих масс, великодушием и жертвенностью своей интеллигенции, благородными порывами своей молодежи представляет лучшие гарантии длительного прогресса и счастливого будущего».

Так говорил в 1895 году русский революционер, писатель Сергей Степняк-Кравчинский. То было время царствования Александра III. Читаешь эти строки и думаешь: «Он был провидец, этот политэмигрант, живший в Лондоне. Сказанное им тогда оказалось правдой и при Сталине, сто лет спустя».

Он словно бы предугадал философию жуткой эпохи...

Костер

Осень тянулась к зиме. Прошли и ушли последние угольные караваны. Поутихло, поумолкло птичье братство. Чтобы не даром ели лагерный хлеб, гоняли заключенных кого куда. Ходили на переборку овощей, на ремонт дорог. День становился все короче. Часть людей отправили баржами в Усть-Усу, оставшихся перевели в бараки, житье в палатках кончилось.

Погулял над рекой первый снег, густо запорошил берега. Потом — второй, третий. Ждали ледостава, а вместе с ним и нового перехода. И когда река застыла, пошел по баракам вестник из УРЧ, выкликая имена и приговаривая:

— А ну, давай на вахту, с вещами!

Утренним часом, едва налилась ночная темень светлой синью, нас построили в колонну. Начальник конвоя прочитал обычную молитву: «шаг влево — шаг вправо...» — и опять под подошвой захрустела зимняя дорога. И опять ночевки в прибрежных деревнях или лагерных пунктах. В Усть-Усу, крупный поселок, чуть ли не город, пришли, когда поддувал с севера декабрьский мороз; вздыбились кое-где наледи. Триста километров ходу.

И снова бараки. Двойные сплошные нары. И те же печи из железных бочек или толстых обсадных труб. И такой же забор с двойной колючкой, пущенной поверху, и вышки. Не знаю, что там написали в учетной карточке в Адзье, но назавтра же меня включили в строительную бригаду. Считалось видно, что там я вполне научился «держат топор».

Усть-Уса строилась. Из доставленных сплавом бревен на пилораме пилили брусья. Сооружали двух-, трехэтажные дома, рубили также и из кругляка. На мою долю достался как раз такой.

Это была настоящая плотницкая работа: протесать одну сторону на чистый кант, то есть сделать плоской и ровной, потом, выводя кверху сруб, вырубать в нижних венцах пазы, высверливать гнезда для шкантов — деревянных штырей, соединяющих ряд за рядом, и все делать так, чтобы была «схвачена норма» и заработана пайка. И чтобы прораб Сахаревич, приходя к концу смены принимать работу, не поставил на ней крест.

Самое сложное было рубить угол, место, где скрещиваются торцы венца. А этот человек с сытой физиономией, приодетый в новый дубленый полушубок и овчинную кубанку, не торопясь, проверял щупом — тонкой стальной пластинкой — зазор на стыках и, если ему казалось, что щуп проходит слишком свободно, и, стало быть, прируб сделан неплотно, брал ломик, поддевал бревно и сбрасывал вниз. Потом — следующее, потом — еще одно... Вся дневная работа шла насмарку.

Спорить с ним было бесполезно. На все возражения, объяснения он отвечал:

— За туфту не платим!

Но эта работа не принята — получай штрафную пайку. А это триста граммов хлеба, пустая баланда, черпак каши на весь день. День, другой, третий — все меньше остается сил. Слабость. Сонливость. И ко всему этому еще — мой сосед по нарам. Ночами он почти не спит, его душит непрерывный кашель. Кашляет он надрывно, в груди его что-то хрипит, сипит, а чтобы мокрота совсем не задушила, с кряхтанием отхаркивает в ржавую банку. У него туберкулез, если не в последней, то в предпоследней стадии.

Ни разу я не слышал, чтобы его называли по имени, оно заменяется кличкой «Сипатый». Квартирный вор, имевший не одну отсидку. Рецидивист. Он мало ходит, а больше обитает на нарах. Лежал в стационаре уже не раз, но пользы от этого мало, едва ли доживет до следующей весны. Когда я вижу его измятое бессонницей лицо, бесцветные глаза, в которых уже нет ничего, кроме желания уснуть и больше не просыпаться, мне становится страшно: неужели и со мной будет вот так?..

И уже не столько полуголодные пайки, сколько необходимость день за днем вдыхать миллионы палочек Коха, извергаемых изъеденными до дыр легкими Сипатого, начинают свою адскую работу. Падают силы. И Сахаревич, скроив толстыми губами пренебрежительную мину, распоряжается перевести меня на подсобные работы, но все равно и там — пилить, тесать, рубить — на все расходуется энергия, а если ее все меньше?..

Ночные поты, покашливание, вечерняя зябкость... Врачи в лагере тоже заключенные. Высокий рассудительный доктор крупными пальцами выстукивает, выслушивает, проверяет еще и еще раз, здесь нет ни рентгена, ни таких чудес, как флюорография, только собственный опыт да глаз, да ухо.

«Уплотнение в верхней доле левого легкого». Он не ставит диагноз ТБК, но снимает меня со строительных работ, выписывает дополнительное питание. Я попадаю в ту категорию, что называется «слабосильная команда», а проще «слабосилка». Меня ставят дневальным в бараке: таскай воду для умывания, подметай и мой пол, топи печку. И еще он дал и велел глотать плоские, похожие на большие чечевичные зерна пилюли, которые в фармакопее носят название «пилюли Блауди» — железо, фосфор, что-то мышьяковистое. Словом, укрепляющее.

Я многим ему обязан, доктору Пеклеру. Не знаю, в чем его обвиняли, но конечно же 58-я и срок «полная катушка», то есть десять лет ИТЛ. Много лет минуло с той зимы, конца 1938 — начала 1939 года, но его добросердечная улыбка и неизменное старание помочь такому же «зеку», как он сам, не могут быть забыты.

В очередной раз прижимая деревянный стетоскоп к моей исхудавшей груди, он спросил:

— Вы чем занимались на воле?

— Учился. На историческом факультете.

— Военная кафедра у вас была?

— Конечно. Два или три раза в неделю занятия в аудитории на миниатюрполигоне или с винтовкой.

— А первой помощи в боевых условиях вас не обучали?

— А-а, это... Верно. Было. Только у нас, у историков; мы ведь и над латынью корпели.

— То есть готовили из вас еще и медбратьев? Ну-ка, прочтите,— он подал написанный по-латыни рецепт. Я прочитал.— Вот и отлично. Через два-три дня пойдет пеший этап в Еджит-Кырту. Вы получите аптечку и сможете в пути припомнить, чему вас учили: перевязывать потертости, дать сердечных капель или там аспирина. А начнете шагать — и сами почувствуете себя крепче *.

Я молчал. Дорога, и наверное не близкая, меня страшила.

— Далеко эта самая... Кырта?..

— Километров триста с чем-то. Но ничего. Свежий воздух, мороз, только это вам и нужно сейчас!

* В 1951 году, будучи в ссылке, я сдал в Красноярске государственный экзамен и получил диплом фельдшера.

Через три дня я опять услышал команду:

— Внимание... Шаг влево — шаг вправо... Партия — вперед!

У каждого за плечами самодельный мешок с лямками, «сидор», в нем сухой паек на один-два дня. А у меня в правой руке еще и небольшой фанерный ящик, скорее коробка. Аптечка. Вещи потяжелее — чемоданы, узлы погружены на сани, и, когда мы двинулись, вытягиваясь вдоль зимника, невольно вспомнилось то, что уже было ранней весной на Вычегде. Мы и теперь не знали, что это за место, куда нас гнали, знал только конвой, и разница с предыдущим, котласским, этапом была лишь та, что не слышалось рядом лая рвущихся с поводка овчарок.

Животных я люблю, особенно собак. Но вот шагаю, шагаю, шагаю, и память вдруг возвращается к такому кадру. Позади, если мерять от Котласа, в сторону Севера, оставалась уже не одна сотня километров. Мы подходили к Яренску, где должны были дать нам на два дня передышку, но этот переход оказался неимоверно длинным: сорок километров. Не шли, а вяло плелись разбитым шагом, и конвоиры уже охрипли от возгласов:

— Не растягивайся, так вашу мать! Подтянись, говорю!

Один из нас — татарин Усман Галеев, может быть, самый старый из этапников, — упал. Как всегда приказ: «Поднимайте и в первый ряд. Тащите его! Давай, давай!»

Подошли двое, попытались его поднять, но он не мог стоять и опять опускался на снег. Ближний конвоир, низкорослый с желтым лицом и бледными от ярости губами, крикнул:

— А ну, пошли! — Мы тронулись. Галеев остался на дороге. Опять нам команда:

— Садись!

И следом вторая:

— Ложись!

Устало садились, безвольно ложились на живот, кто-то замешкался; раздался выстрел вверх людей и бешеный вопль:

— Ложись, сука, фашистская морда!

Мы лежали, колючий холод проникал сквозь ватный бушлат, и тут же послышался собачий лай, злобный и хриплый.

Конвоир-проводник пустил на Галеева пса, отрывисто что-то выкрикнул, и собака принялась рвать на старике бушлат, брюки. Он застонал, тонко закричал, продолжалось это мгновение, но жутким был этот вопль беспомощности. Конвоир подбежал, ухватил пса за ошейник. Отташил. Мы услышали:

— Вста-ать! Берите его! Ну!

И уже не двое, а трое или четверо бросились к товарищу, подняли. Голова его тряслась. Из груди вырывался судорожный

плач. Разодранная одежда висела клочьями. Идти он по-прежнему не мог, и мы, сменяясь через каждые пятьсот-шестьсот метров, буквально тащили его. И только когда вдаль показали первые дома Яренска, старший конвоир приказал положить его в сани. Как было вести по улицам такого?..

Долго день в пути, да еще зимой. Мы шли по Печоре где накатанным по льду зимнику, где, срезая повороты реки, сквозь лес. Север оставался за спиной: чем дальше к югу, тем гуще становились боры: высокоствольные сосны мешались с веселым березняком. Доктор Пеклер оказался прав. Меня исцелял этот морозный, наполненный таежной свежестью воздух. В деревнях, где останавливались на ночевку, старались выменять на оставшиеся еще «с воли» тряпки кринку молока, котелок картошки. Иногда нас группами разводили по домам, человек по пять-шесть, а иногда набивали в этапную избу, где приходилось спать чуть ли не сидя: на полу, на лавках, на деревенских полотах, боком, вплотную один к другому, как шпроты в банке.

На двенадцатый или тринадцатый день мы добрались до безлюдного лагерного пункта, где жил только сторож. От него узнали, что до Еджид-Кырты один переход, если только не погонят дальше.

Место, где мы ночевали, называлось «Васька-кёрка»; на языке коми «Васькин дом». Видно, жил когда-то поблизости, а может быть, и тут же рядом лесник или бакенщик по имени Василий. Так и осталось это имя в дебрях печорских.

Нас ввели в зону и закрыли ворота. Впрочем, никаких крепких запоров или замков на них не было. Любой, кто захотел бы скрыться, мог свободно открыть калитку и выйти. Но куда бы он пошел?.. Дикий, мало обжитой край. Тайга. Редкие селения, где каждого постороннего человека сейчас же узнают. Мороз. Нет, в такое время побегу не случались. Блатной народ, урки, дожидались теплых дней, солнца, открытой воды, тогда и в самом деле можно рискнуть и уйти, как они говорили, «к зеленому прокурору».

Васька-кёрка...

Когда я вспоминаю это прямоугольное, почти квадратное пространство, отъятое от остального мира крепким высоким забором, двумя рядами колючки, и все остальное, что увиделось, мне и сейчас становится как-то трудно дышать. Это не был лагерь в том обычном понимании, каким мы уже привыкли его видеть. Это была тюрьма. В бараках не было полов: просто плотно утрамбованная земля. И окон тоже не было. Глухие стены, и только возле двери, выходящей внутрь зоны, небольшое сле-

пое окошко, какие обычно прорубают в коровьем хлеву или овчарне. Нары из непротесанных жердей, стол, печь из обрезанной толстой трубы. И все.

Сторож — смиренного вида человек со вставными зубами, бытовик, которому до конца срока оставалось несколько месяцев и поэтому можно было его самого не охранять, зашел к нам, чтобы стрельнуть курева. Посидел. Пуская махорочный дым, рассказал, что тут до недавнего времени сидела «58-я», кому назначено было отбывать срок именно в таком месте. На работу их не выводили. В бараках держали под замком, как в камерах, а если кто нарушал, то его выдворяли в ШИЗО — штрафной изолятор, что стоит во-он в том углу. Там нет ни нар, ни печки. Ничего.

Кто-то спросил:

— И зимой — тоже?

Сторож молча кивнул. И добавил, что по осени всех увезли на катере с паузком, а куда, он не знает. Теперь только этапники тут ночуют.

Я взял свою аптечку и пошел по баракам, нет по камерам. Такая уж была у меня обязанность — на каждой ночевке обходить всех: кому смазать йодом и перевязать набитую в ходьбе ногу, кому дать что-нибудь от головной боли. Ложился я последним. Но меня это не тяготило. Мы все или почти все были люди одной судьбы, и оттого, что ты мог хоть чем-нибудь помочь товарищу, на душе становилось не так тяжело и не так давила всегдашняя, никогда не покидающая тебя мысль: «А впереди еще столько лет без свободы...»

Все уже давно спали, а я не мог сомкнуть глаз. Все думалось и виделось, как томилась в этих страшных темницах, похожих на пещеры или звериные норы, люди XX века, и не просто XX века — люди социализма. Им не давали ни книг, ни газет, не разрешали писать. Полусумрак в дневные часы и полумрак в ночные, светила только керосиновая лампа. Или, может быть, фонарь. И никакого движения, кроме того, что иногда выводили в лес свалить столько-то сушин, разделить, распилить, наколоть дров. Нет, как рассказывал нынешний страж «Васьки-кёрки», в дровишках им не отказывали. И баланды давали не по норме, а от пуза.

Вспомнился один из декабристов, который имел дар художника и оставил рисунки с изображением их камер. То были, в сравнении с тем, что здесь, палаты.

Пройдет еще какое-то время, и мне встретится человек, который тут сам находился, и расскажет о том, чего мог не знать сторож.

Утром мы двинулись дальше. И только яркий солнечный день да платиновый блеск снегов на увалах, да густая зелень сосен помогали уйти мыслями от места, которое надо бы называть не лагерем, не тюрьмой даже, а узилищем.

Было уже часа четыре дня, когда пришли в Еджид-Кырту. Это был поселок; вдоль берега Печоры тянулись две улицы, застроенные одинаковыми деревянными домами. Виднелись здания конторского типа. Синела вывеска «Почта». Внизу, под гористым берегом, угадывалась пристань. Подальше, на крутом яру, темнели погрузочные площадки с деревянными лотками. А позади площадок и по сторонам чернели груды каменного угля.

Нас привезли на рудник.

Но надежда на то, что сегодня больше топать не придется, не оправдалась. Остановка на четверть часа — и нас погнали дальше. Дня за два до этого было что-то вроде оттепели, и поверх льда выступила вода. Весь остальной отрезок дороги до лагпункта «Боярский Яг» мы шагали по щиколотку в густой льдистой жиже, другого пути не было. Ноги сводило от холода в совершенно промокших валенках. Мокрыми были и портянки. Этот переход продолжался два часа с лишним. Было уже совсем сумеречно, когда, вконец измученные, мы добрались до тепла.

Нет, видно, правы философы, говоря о том, что нет меры и границ ни добру, ни злу. Попав под крышу, получив возможность разуться, выжать портянки и носки, повесить их сушиться, взять в руки кружку с горячим кипятком; чувствуя каждой клеткой, каждой кровинкой тепло зимнего жилья, мы ощутили не просто физическое облегчение, но то, что заставляет человека сказать: «Жизнь — благо».

Уснули не раздеваясь, кто в чем, единственно лишь укрывшись бушлатом, а под себя подложив несколько веток хвои. Сон сморил быстро. К утру наша обувь и всякое тряпье, которое относили в сушилку, высохли. Нескольких человек оставили на «Боярском Яге», остальные отправились дальше, но на этот раз в сторону от Печоры, в глубь таежной чащи, по дороге, которая повторяла извивы впадающей в Печору реки Козлы.

Ничего, даже и малого намека на жилье, не встречалось. Лес и лес. Тайга. Толстые высокие сосны, те, что называются строевыми. Густой до черноты ельник. И теперь уже мы знали, что мантулить нам предстоит не в шахте, а в лагерном пункте, который занимается заготовкой древесины для нужд рудника. На лесоповале.

Нас привели наконец к финишу, но финиш выглядел странно. Недалеко от берега Козлы виднелась заснеженная поляна.

Где-то сбоку стояла наскоро срубленная хибара. Туда вела тропа. Вышел из хибары тонкий, легко гнущийся человек в кожаной фуражке. Назвался.

— Здравствуйте! Я — начальник командировки «Средняя Козла» Гедройц. Тут мы будем жить, тут и работать. Все, что на вас лишнего, — сумки, сидоры — снимайте и оставьте в сарае.— Он показал на щелястое сооруженьеце, кое-как прикрытое лапником.— Разбирайте лопаты и топоры, расчищайте снег. Да поживей, поживей! Берите пилы!

У него был высокий тонкий голос и никакого начальственного тона. Нотки были скорее товарищеские, и мы поняли, что он тоже заключенный.

Снег был не очень высоким — еще не успело намести за первый зимний месяц. Прямо посреди поляны разгребли до самого мха, из первых сваленных сушин наготовили дров, подложили сухих сучьев — и вот уже запылал костер. Пламя быстро оттаяло землю вокруг. Задымился кудрявыми струйками сырой мох. Неподалеку подвесили меж двух берез котел для варки и еще один для воды (котлы привезли с собой на санях), набрали снегу, в талую воду засыпали крупу, забурлила каша. Но работа еще не прекращалась.

Нужно было сделать подобие навеса из хвои для лошадей. Потом набрать лапника и сучьев для собственного обихода. Никто не спрашивал, где мы будем ночевать, и так было ясно: у костра. Больше нигде.

Сварилась каша. Поели. Выпили по кружке горячего кипятка, на заедку — промерзший хлеб. Спустилась ночь. Вызвездилось чистое темное небо. Ветра не было, только редко-редко пробегал по кронам легкий верховик. Люди сидели вокруг костра, в котором уже нагорели угли, и шло от них мягкое золотистое тепло. Устроили как бы лавки, а кому не нравилось на них сидеть, наваливали грудку еловых веток и приземлялись на ней. Кое-кто уже дремал. Слышался негромкий говор. Кто-то подошел ко мне, попросил кусок бинта.

Начальник давно ушел в свою хибару. Там же поместились и конвоиры. Я сидел рядом с Михаилом Антонычем К.— пока шли от Усть-Усы подружились. Он мой земляк да к тому же с Путиловского завода, которому я отдал не один год.

— Удивительное существо человек,— сказал он вполголоса.— Ты погляди: вчера мы прошагали два часа по ледяной воде, сегодня не имеем крыши и ночуем у костра, и хоть бы кто-нибудь чихнул, а?

— Это верно...

— Нет предела его терпеливости и выносливости, а? А ведь дома, наверное, глотали бы уже всякую всячину, ставили горчичники, брали больничный лист. Как это назвать — адаптация?

От тоже вскоре задремал. А я вглядывался в это странное кольцо из человеческих фигур и лиц. За те две недели, что этапная судьба вела нас от ночевки до ночевки, мы почти все между собой перезнакомились. Вот сидят, прислонившись друг к другу спинами, двое с восточными монгольскими лицами. Это монахи из Монгольской Народной Республики. Ламы. Видно, не нашлось там места для лагерей — сюда прислали. А вот и знакомый «Король» — пахан уголовного мира. Он и тут найдет для себя подходящее занятие. О тонколицем брюнете с клинышком бородки и усами я знаю, что это — скрипач из Свердловска. А вон тот, у которого черные густые брови взлет над хищным носом, убийца и бандит. Отсиживает, не знаю который срок, но не первый и не второй.

Шестеро или семеро, сидящие одной группой, грузины. Они держатся несколько отчужденно, говорят меж собой на родном языке и гораздо меньше с кем-либо на русском. Тот, среднего роста с ироническими, как будто все время вопрошающими глазами, Хихадзе, нарком юстиции Грузии. Рядом — с серебристой щетинкой над мягким улыбчивым ртом — Бахтадзе, главный прокурор республики. А тот, в очках, что снял валенок и растирает ногу в толстом носке, — Лапанашвили, председатель Верховного Суда. И остальные тоже старые большевики, партийцы немалого ранга. Судьи и убийцы рядом.

Тишина становится все слышимей. Она как будто исходит от самой тайги, от неба, от звезд. И вдруг ее нарушает тихий голос. Высокий, плечистый Хетерели, лицо которого кажется вырубленным из дуба — так много в нем твердости и мужества, начинает песню. И тут же ее подхватывают товарищи. Слова непонятны. Четырехголосое грузинское пение. Малый хор. Но в нем не только печаль и горечь. Стройное звучание подобно столбику искр, улетающих от нашего костра ввысь. В сдержанных аккордах обещание: «Мы вернемся к тебе, родная земля. Вернемся!»

Кто-то очнулся от дремы и смотрит на хор без удивления. И слушает. И в такт его ритму покачивает плечами. А я слушаю и думаю: «Где-то сейчас Сандро?..» Мы с ним в Адзхва-Воме столько часов провели рядом на нарах, где-то он сейчас? Когда я уходил с этапом в Усть-Усу, он лежал в стационаре с воспалением легких.

У себя в Грузии он был учителем, а в лагере его приспособили к топору. Он ходил слегка враскачку и казалось, что всегда улыбается чему-то своему, скрытому от посторонних глаз, как будто таит от всех собственную вину.

Иногда с почтовым катером ему приходили небольшие посылки и пачки газет на грузинском языке. Он читал, что-то переводил мне, завязывались разговоры о его родной литературе. Особенно по душе мне был «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Я читал поэму в переводе Бальмонта.

Однажды я пожалел о том, что не знаю языка Руставели, как было бы здорово прочитать поэму без перевода! И тогда Сандро предложил:

— Знаете что, я буду вас учить читать по-грузински.

— Как учить? Ни книг, ни учебника.

— Ничего. Есть газеты. Сначала алфавит. Вот смотрите: эта буква называется «ану», следующая «бану»...

Не часто, не каждый день, но когда выдавались свободные минуты, начинался урок. И вскоре я уже мог читать простые слова, потом фразы, завел словарь в тетрадке, сшитой из мятой оберточной бумаги.

О своем «деле», о том, как проходило следствие, мы никогда не говорили: зачем? Это уже прошлое, оно ушло. А будущее? Темна, темна вода в облаках. И все же что-то выплескивалось изнутри, и тогда Сандро рассказывал о своей семье, о детях. О том, что вся его вина состоит в том, что во времена Ноя Жордания («Вы знаете, кто такой Жордания? Слышали? Да? Неужели? Ну да — история, история, а вы же изучали ее...») он, Сандро, состоял в партии меньшевиков.

— Но разве можно бросать человека в тюрьму за то, что он думал не так, как другие?..

Незадолго до того как мы расстались, то есть перед тем как он заболел и его забрали в стационар, нас на пару отправили ремонтировать лежневку. Так называется дорога, которая вымощена, а точнее сказать, выстлана, жердями; ширина ее обычно метра три — три с половиной, жерди или тонкие бревнышки кладут поперек на основание — нетолстые стволы, и получается что-то вроде стиральной доски, ехать по которой так же тряско, как на крупном булыжнике.

Жерди были уже доставлены к месту ремонта, надо было только их пригонять по месту, притесывать и прибивать. День стоял прохладный, но сухой. Около полудня мы сделали перерыв. Развели костерок, достали взятый с собой ломоть пайки, вскипятили в котелке воду из ближнего ручья. Присели.

К этому времени мы уже перешли на «ты». Сандро посыпал хлеб солью и разломил пополам раздобытую где-то луковицу. У нас с ним был «колхоз»: то есть все, что выдавали для пропитания или удавалось купить, получить откуда-то, делилось по-братски.

Он прожевал корку, хрустя луковичной середкой, запил еду. Спросил:

— Ты ленинградец. Так наверное знаешь что-нибудь о таком человеке по фамилии Бекаури?..

Я задумался: Бекаури, Бекаури... Да, я что-то читал о нем в газетах.

— Кажется, он что-то изобрел, или не так?

— Так. Это очень крупный военный изобретатель. Он был начальником Особого конструкторского бюро. Я думаю, наша армия многим ему обязана.

— Ну так что этот Бекаури? Ты был с ним знаком?

— Знаком?.. Хэ-э! Он мой родственник. Не прямой, а так, через кого-то там, но Сталину он двоюродный брат.

— Значит, в большом почете?

— Да, у него несколько орденов и персональная пуля...

— То есть, он, значит...

— Да. Ты понял. Письма приходят сюда редко, но приходят, а кто в Первом отделе понимает по-грузински?.. В них написано, что Берия пришел к Сталину и сказал: «Сосо, НКВД имеет сведения, что твои родственники намерены отравить тебя. Они очень опасны, эти твои родственники! Что с ними делать?» После этого Бекаури арестовали и расстреляли.

— Значит, и ты тоже можешь быть...

— Э-э, не говори так. Какой я ему родственник! Слава всем богам — ни разу не вспомнил обо мне. А впрочем, не знаю...

Ночь уходила вглубь и приносила с собой градусы: становилось морозней. В костер подкладывали новую пищу для пламенных языков. Заснуть мало кому удавалось. Вставали, подставляли зазябшую спину горячему дыханию огня. Ходили, разминали суставы. Опять присаживались. До рассвета оставались еще часы, но его приход ничего не менял — укрыться было негде.

Я смотрел на это пестрое разнообразие лиц и задавал себе вопрос: «Что будет с ними, со мной, со всеми нами через полгода — год? через два?.. Скольких из нас унесет непосильный труд и медленное истощение? И есть ли что-нибудь такое, на что можно надеяться?.. Вот — огонь. Он греет. Он не дает нам застыть, замерзнуть, но есть ли и не такой, а еще более жаркий

огонь в людях, которые обозначены одним словом: «арестанты»?.. Его можно называть по-разному: вера, надежда, убежденность в победе справедливости, но он должен быть. И если его нет в душе, сумеет ли человек победить отчаяние и упадок духа?»

Новый день принес новое. С Еджид-Кырты доставили палатку. Ее наспех установили, обваловали понизу снегом — стало легче. Поставили высокие козлы, а на них положили бревно, и двое мужиков покрепче — верхний и нижний — принялись продольной пилой разделять балан на доски. Сразу же начали строить конюшню — и я, как и прежде, стучал топором, выбирая пазы в стойках.

А из тех, кто сидел у костра, один не проснулся. Замерз. Его похоронили в лесу, подальше от начинающего жить лагерного лесопункта. На Средней Козле появился первый покойник: первый обитатель кладбища, и никто не мог бы сказать, сколько еще к нему добавится...

Черные сухари

Что такое быть одному в каменном мешке — четыре шага в длину, два с половиной в ширину, где, кроме камня, все остальное — железо: койка, стол, табурет, полка, а за решеткой — глухой металлический «намордник» — щит, прикрывающий окно, так что видна только полоска неба, шириной со школьную линейку, — написано, рассказано много, повторяться не стоит...

Ужасно думать о том, что еще вчера, позавчера, неделю назад ничего этого не было: ты свободно ходил по улицам, видел солнце, смеялся, разговаривал с кем хотел, и все это исчезло. Чем занять себя, свой ум, свои чувства?.. Я начал вспоминать стихи. Не так-то много знал я их на память. И вскоре этот запас окончился. Но кроме этого «запаса» были еще и свои стихи. Писал я их с детства, никогда нигде не печатал, но литература меня вбирала в себя. Писал и уже печатал свои очерки в комсомольских газетах, в журнале «Юный пролетарий» (выходил такой в Ленинграде до войны). А в 1932 году вышла первая моя книга — «Омоложенный гигант», о краснопутиловском комсомоле.

Здесь не на чем было писать. Можно было получить четвертушку бумаги для заявления и на четверть часа ручку с чернилами. И все. Я начал «писать» стихи в уме. На допрос меня не вызывали. Сиди и сиди... Весь день, бывало, я ходил по камере из угла в угол, по диагонали, и бормотал какие-то слова, строки. Рождалось одно стихотворение, другое... Чтобы их не позабыть (память на стихи у меня плохая), я без конца повторял уже спра-

ботанные строфы. Постепенно их становилось все больше; при мысли, что я могу их позабыть, становилось жутко: ведь это единственное сейчас, чем я жил. Тогда я нашел выход. Мне не разрешались ни свидания, ни какие-либо передачи от близких. Единственное право, которого не лишили: за счет своих денег, изъятых при поступлении в тюрьму, приобретать табак и папиросы. Я никогда не курил, но тут попросил дежурного надзирателя, чтобы принесли три пачки махорки, десять книжечек курительной бумаги и две коробки спичек.

В каждой книжечке было два десятка листиков, размером сантиметров восемь в длину и сантиметров пять в ширину. Теперь было на чем писать! Но — чем?.. Появилось и «чем». Я брал спичку, зажигал, давал слегка обуглиться и гасил. Заострившимся черным кончиком можно было писать. Но мягкая тонкая бумага продавливалась. Я вытащил из одного коробка спичек оболочку из тоненькой фанерки, расправил и стал подкладывать ее при записи под бумагу.

Каждое утро приносили еду — черпак каши, кружку чая и крошечный черпачок сахарного песку; после того как это съедено, вымыта алюминиевая миска и кружка, я садился спиной к двери, в которой время от времени открывался глазок, набрасывал на спину пиджак и под прикрытием полы осторожно выводил слова обугленной спичкой на тонком листочке. Но вскоре обожженная часть стиралась, приходилось зажигать другую спичку, а заодно еще раз обугливать эту, пока она не становилась совсем короткой...

Заполнилась одна книжечка, затем вторая... Теперь уже не было страшным одиночество и мучительные мысли: все поглощало единственное занятие — стихи.

Но вот следователь сказал, что меня переведут в другую тюрьму. Я не знал, в какую, об этом не говорили. Но знал, что при этом обязательно будут устраивать «шмон», то есть тщательный обыск, книжечки обязательно отберут и уничтожат или передадут следователю. Куда бы их спрятать? Внутри брючного пояса, между подкладкой и наружной частью?.. Под стельку ботинка?.. Найдут. И тут я придумал другое.

Тюремный паек скуден. Но и от этого я стал отрезать ломтики хлеба, на первый взгляд имевшие странную форму параллелепипеда, сантиметров в девять-десять в длину и сантиметра два с половиной — три в толщину. Эдакий хлебный брусочек. В одном из этих брусочков, две кромки которого имели корку, я выбрал из середины мякиш, чтобы получилось нечто вроде ямки, и вложил туда свернутые трубочкой книжечки. А сверху

тщательно замазал хлебным мякишем. Полтора — два десятка таких брусков зачерствели, превратились в сухари, на одном из них была незаметная для постороннего глаза отметинка. Только я сам знал, что это и есть тайник с моими стихами.

Сухари эти я сложил в небольшой матерчатый мешок для продуктов. Продуктов давно не осталось, мешочек опустел. Теперь в нем лежали сухари. Очень скоро они стали поистине каменными. Во всяком случае, когда меня переводили в другую тюрьму и, разумеется, делали обыск, надзиратель, пытавшийся ломать сухари, сломал только один. Попал в его руки и тот, заветный, но он не ломался, проверяющий сунул всю эту грудку обратно в мешок и сказал: «Забирай!»

Из бывшего Военно-каторжного централа — в «Шпалерку», из «Шпалерки» — в «Кресты», из «Крестов» — в тюремный вагон, из вагона — на пересыльный лагерь в Котласе, из Котласа — по зимней Вычегде и таежным дорогам шестьсот километров пешком в Ухту. Из Ухты по рекам Ижме и Печоре, а затем по ее притоку Усе в трюме тюремной баржи... Минули зима, весна, лето, вновь наступила осень, уже 1938 года, и опять пешим этапом по застывшей Печоре триста с лишним километров до Еджид-Кырты.

А что же мои черные сухари?.. Они так и кочевали вместе со мной. Некоторые из них, когда было очень голодно, были съедены, но прибавлялись книжечки и, преодолевая голод, я опять отрезал от своей пайки бруски, сушил и закладывал туда свои творения. Товарищи мои иногда удивлялись: «Что ты их, Захар, с собой таскаешь, зачем?.. Смотри, как бы урки у тебя их не увели!»

Убийцы, грабители, бандиты, мелкое и крупное жулье, и мы, так называемая 58-я, обитали вместе. Вместе шагали на этапах, вместе валялись на жердястых нарах. У них были свои законы: у своих тырить ничего нельзя, а у фраеров, то есть у нашей статьи, сам бог велел. Тащили все: одежду, еду, деньги. Позарились бы и на мои черные сухари, но я сдавал мешок на хранение в каптерку. Или просил лекпома положить где-нибудь у себя в медпункте, а если брал в барак или в палатку, на ночь клал под голову, а то и под рубаху.

Однажды случилось так, что еще не законченную книжечку я оставил в чемодане, а вернувшись со смены (работал шахтером), обнаружил, что кто-то из воря «поинтересовался» моим имуществом. Брать там, кроме кое-какого белья и пары книг, было нечего, но книжечка исчезла и, как я узнал вскоре, была употреблена по прямому назначению — раскурена.

У меня было такое чувство, точно я потерял самое дорогое. С момента ареста и позже я не проронил ни одной слезинки, но тут мой лагерный друг Петр Р. заметил, видно, что-то на моем лице, спросил: «О чем ты? Что?» О моих стихах он знал, я читал ему иногда. Он посочувствовал, сказал: «Припомни и запиши наново».

Дело шло к Новому году. Стояла крепкая приполярная зима. Подошел и Новый год. Как и всегда, канун его был для нас печальным: впереди лежали еще годы и годы заточения, чего было ждать?.. Мой день рождения совпадает с этой датой: я родился в ночь с 31 декабря на 1 января, а стало быть, после полуночи становился старше сразу на год.

У заключенных рабочий день был на два часа длинней, чем «на воле». Из тесного, круто падающего забоя, еле-еле освещенного керосиновой «шахтеркой», я поднялся на поверхность в десять часов вечера. Пришел в барак усталый, с тягучей ломотой в костях. Петр уже лежал на нарах — места наши были рядом. Подождал, пока я поужинаю, потом достал из-под нар какой-то предмет и положил передо мной: это был аккуратно сработанный деревянный чемодан, окрашенный в темно-серую с прожилками — как бы под мрамор — краску. «Это тебе, — сказал он. — Подарок от меня...» — «Так у меня же есть». — «Этот — особенный». В чем его особенность, он сразу не сказал, а когда народ, населяющий барак, уснул, открыл крышку и, осторожно вытащив слева и справа по бокам по одному гвоздику, потянул вверх сначала одну, а затем другую боковину — и открылись в стенках два тайника. Это были плоские углубления, в которые можно было вложить толстую общую тетрадь. Затем боковины задвигались, ставились на место гвоздики, и заметить что-либо было невозможно. Даже если бы чемодан простукивали, звук бы не изменился: тайники заполнены.

Вот так я расстался со своими черными сухарями. В час, когда никто этого не мог видеть, размочил слегка, разломал, вытащил оттуда свои заветные книжечки и уложил в тайник, а так как места они занимали мало, положил туда еще и пачку нарезанной газетной бумаги.

Расскажу об одной тайне

Летом 1950 года я плыл на теплоходе по Енисею. Позади оставался Красноярск, а впереди в нижнем течении реки лежала Игарка, город, где мне предстояло отбывать бессрочную, а проще сказать, пожизненную ссылку после тюрем и лагерей. Называлось это «состоять на вечном поселении».

Уходили назад покрытые таежной чашей берега и редкие поселки. Миновались такие же полноводные, как сам Енисей, притоки: Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Курейка... Подступала глухомань, вроде Туруханска, о котором только читать когда-то приходилось. И вспомнилось, как в Красноярской пересыльной тюрьме я и еще несколько моих товарищей по камере спросили как-то у молоденького офицера с погонами лейтенанта, сколько же нам предстоит тут, в этом крае, пребывать. А он с вежливой улыбкой ответил, эдак деликатно:

— От вас самих зависит. Сколько на этом свете проживете...

В Игарке — самом северном в этой части Сибири порту — я прожил еще четыре года. Река здесь как бы и не река: от одного берега до другого семь километров. Стоишь на круче, а перед тобой словно бы непрерывно текущее озеро. Короткое лето с долгим полярным днем сменяется такою же долгой полярной ночью. Зима с морозами за 30 и за 40 градусов, случается и под 50. В чистом звездном небе сполохами играет северное сияние.

Заполярье.

Снял я какой-то угол, потом удалось получить комнатуху в коммунальном завалившемся на одну сторону кособоком домишке, стены которого — двойная дощатая обшивка с опилочной засыпкой — пропускали и ветер и стужу. Но надо было жить, работать где-то, это только царское правительство выдавало на пропитание своим ссыльным 8 рублей в месяц, чего на хлеб и приварок вполне хватало, а мы, «враги народа», должны были добывать все это собственными руками, приобретать и теплую одежду и обувь, а иначе тут не долго протянешь.

И вот, как ни странно это покажется, далекий этот город, время, проведенное в нем, вспоминаются сейчас не тем, что было в отношении нас жестоким, бесправным, а как-то и светло иной раз. И объяснение этому простое: тут таких, как я, ссыльных, обитала не одна тысяча, и среди них не диво было встретить интеллигентов «высшей пробы», людей, общение с которыми заставляло тебя забыть, что ты заброшен на край земли, лишен свободы, семьи, и доставляло радость.

Может быть, через месяц или больше, я уже знал многих: мы часто встречались, говорили о литературе, об искусстве, о новых книгах, спорили: живая мысль в нас не угасала, давала толчок размышлениям и творчеству.

Так я познакомился с человеком, который внешне очень напоминал ученого Полежаева из кинофильма «Депутат Балтики» —

такой же высокий, худой, слегка сутулый с седой эспаньолкой и белоснежной головой. Это был профессор Ленинградского университета Ростовцев. Кажется, Николай Александрович.

Летом город оживлен. В порту швартуются иностранные суда, пришедшие за знаменитой сибирской сосной. Двигутся с верховьев длинные плоты, сплошь из сосновых бревен. Стоящие на причалах громадного Игарского лесокombината лесотаски извлекают их из воды, и на берегу все выше поднимаются поблескивающие желтизной штабеля. По улицам, вымощенным толстыми деревянными плахами, снуют автомашины... Но вот наступает зима. Игарка утопает в снежных увалах. Не слышно паровозных гудков. Тишина. Вечера становятся долгими. И тогда наши встречи с Ростовцевым делаются частыми.

Я не спрашивал, почему и как он тут очутился, но, когда мы познакомились, он уже не был помечен каким-либо особым знаком, нет — свободный человек с настоящим паспортом, имеющий право уехать куда захочет и в любое время, не то что я, «вечно поселенец», которому полагалось каждую неделю ходить на отметку в комендатуру МГБ. Но он не уезжал. Только однажды, будучи уже совсем больным, поведал:

— А водворили меня в тюрьму еще до начала антихристовой эры: дескать — заговорщик. Может быть, слышали про так называемый «Заговор академика Платонова?» — арестовали его и уперли в Самару, там он и умер в тридцать третьем, а меня, якобы за участие, вот в эти края, на Север.

Я уже знал, что Ростовцев здесь преподает математику в ремесленном училище. И что в 1935 году его освободили и возвратили все права. Но почему же он не покинул этот далекий и глухой край?.. Он словно подслушал мои мысли:

— Тут, знаете, получилось так. Маврикий Слепнев, ну тот, что Герой Союза, он ведь челюскинцев спасал, помните, мой племянник. Сталин в 1934 году устроил для летчиков прием и спросил, есть ли у кого личные просьбы. Маврикий — он ведь еще в царской армии был штабс-капитаном — нашелся и говорит, нельзя ли, мол, освободить моего дядю, он в ссылке. Ну вот, и пожалуйте.

— Так почему же вы не уехали? — с упреком спросил я.

Он посмотрел на меня и скептически улыбнулся:

— Зачем?.. Все равно обратно привезут, и опять в клетке.

У Ростовцева была интересная библиотека. Он объяснил, что книги многие годы высылали и высылают из Ленинграда близкие. Потом приезжала жена, тоже кое-что привезла.

Пурга на улицах хлестала по стенам, по окнам. Дрова потрескивали в печке. Тишину нарушил Николай Александрович:

— Знаете что, друг мой, ведь мы с вами из-под одной крыши, поговорим-ка опять о милom, дорогом Питере, вспомним нашу альма-матер, университетские аудитории...

Когда разговор иссяк, он показал на высокий книжный стеллаж и попросил:

— Вон там, на третьей полке сверху, с правого края, найдите, пожалуйста, такую книжку в сером переплете «Письма Владимира Короленко к Луначарскому». Нашли?.. Вы, конечно, ничего о них не знаете, да и откуда вам знать? Я вам ее хочу подарить, только не выставляйте ее особенно, прочитаете — узнаете почему. Кто знает, может, и придет оно, такое время, когда ее все прочтут, кто захочет...

Я взял ее, поблагодарил, а вскоре стал прощаться, было уже поздно. Той же зимой Ростовцев умер. Когда он еще был жив, я постеснялся спросить, как эта книга, изданная в 1922 году эмигрантским издательством в Париже, попала к нему, в Ленинград, а потом уже и спрашивать было не у кого...

Его похоронили на острове Полярном, по соседству с аэропортом ГВФ, на котором не раз приземлялся его родной племянник Маврикий Слепнев.

Что же это за книга, по поводу которой Ростовцев предостерегал меня и советовал скрывать ее?

В № 10 за 1988 год журнала «Новый мир» «Письма Короленко к Луначарскому» с моей помощью опубликованы. С ними может ознакомиться любой.

«Чапай» и его лошади

Коренастый, с плоской прямой спиной и квадратными плечами. Росту небольшого. На короткой шее — круглая голова. Свисают с верхней губы усы с проседью. Толстыми кривоватыми ногами он крепко ступает на земле и, помахивая кнутом, погоняет четырехногую животину чалой масти. Это он поехал за сеном. На его попечении конный двор, полдюжины лошадей, которых надобно содержать не так, как арестантов. Арестант и помрет от постоянного голодания и болезни, его сактируют, привяжут к ноге фанерную бирку и закопают в мать-сыру землю. Коняга — это матимушество. Живой инвентарь. За него ого-го-о как полагается отвечать! И ежели подохнет, тут же и следствие будет учинено: кто виноват? Нет ли тут злого умысла, то есть вредительства?.. А вредительство — это 58-я, пункт такой-то. И значит новый суд. И новый срок в плюс к старому.

Тот, о ком рассказываю, простой, в общем, мужик, лошадей знал и обихаживал сызмальства; и «на воле», и здесь был на своем месте. Имени его никто не помнил, а звали «Чапай», как-никак ведь и тот тоже был конник. Кавалерист.

— Ты за что сидишь, Чапай?

— А вот за них,— кивает головой в сторону стойла, где стоят рядом кобыла Тамара и конь Зоркий.

В колхозе своем Чапай тоже был по конной части. Пара лошадей и длинные дороги. Вози до вечера что прикажут. Так вот одна из двух тех коняг тянула воз сколько силы хватило, но зато другая — мерин — то и дело отлынивала. До того ленивая, ну ни хрена не хотела работать.

— А мне же трудодни нужно заработать? Вот я и прозвал этого мерина «Гитлер». Как-то и материть и ругать его сподручней: «Гитлер и Гитлер, чтоб тебя угораздило!» Ну вот. А другую — ту, что всегда старалась, безотказная была животная, прозвал я «Сталин». А что? Чуть ли не каждый день слышишь, что он и день и ночь все работает и все для народа. Вот так и еду, и гоню, бывало. Ну, завязнешь, скажем, в глыбком месте, огреешь кнутом Гитлера и кричишь: «Ты погляди на Сталина! Ты, так твою мамашу, пример бери! Вишь, как тащит, не крутит небось хвостом!»

— Интересно. И что же?

— А то. Приехали за мной из района. «Ты, что же,— говорят,— нашего великого вождя с кобылой сравнил? Да как ты смел так его оскорблять?..» Ну и сунули шесть лет. Четыре уж отсидел без побегу. Еще два осталось. Зачеты не идут: контра.

Шимкус, Шимкене и мальчик Антанас

Игарка. Иногда вечерами, которые во время полярной ночи неотличимы от утра, вышагиваю в сторону Протоки, где стоит несколько длинных одноэтажных домов, сложенных из сосновых брусьев, и захожу в гости к медсестре местной амбулатории Маше Пржевальской. Она «вольнонаемная», в ссыльных никогда не состояла, но ее дед, поляк из Виленской губернии, был в 1905 году судим за участие в крестьянских волнениях и заброшен навсегда в далекие от родного края — в Минусинск.

Коридор, по которому я иду, как и во всякой коммуналке, имеет еще несколько дверей. Живут в этой квартире люди разных судеб. Есть приехавшие в Заполярье за высоким заработком, есть, подобные мне, а есть еще и такие, которые именуются «поселенцами». Это латыши, эстонцы, литовцы. Их тут, на Крайнем Севере, тоже хватает.

По соседству с Машей проживает литовская семья: Шимкене, работающая в больнице санитаркой, и ее муж Шимкус. Он трудится на Игарском лесокомбинате, весь день на воздухе, и поэтому его лицо обтянуто как бы прокаленной смугло-красноватой кожей, а мозолистые ладони натружены и тяжелы. Шимкене — тоненькая, с высокой грудью, чуточку сутулая от многолетнего крестьянского труда. Обоим за сорок. Однажды, заглянув в это барачное строение «на огонек», — вечер был прозрачно-звездный, а один край неба слегка вздрагивал от далеких бледно-розовых или смутно-фиолетовых сполохов северного сияния, — я застал соседок за столом, на котором курился парком чайник.

До этого мы с Шимкене только здоровались, а тут разговорились, и я, не помню уж почему, спросил, есть ли у нее дети. Она опустила голову, на макушке которой торчали собранные в пучок соломенные волосы, и приподняла лежавший на скатерти конверт.

— То вот, получила сегодня. Антанас написал...

— Так он у вас что — в Литве остался? Взрослый уже?

Она еще ниже опустила голову, и по щекам проскользнули две светлых струйки.

— Четырнадцать ему... В тюремной колонии... Заарестованный...

Маша разлила чай. Выставила какие-то сласти, но соседка не дотронулась до чашки. Певучим говором, который всегда звучит в речи литовцев, когда они прибегают к неродному языку, она рассказала, что еще до того, как в несчастном 1949 году тысячи литовцев были в одну ночь вывезены целыми эшелонами в Сибирь, с ее мальчиком случилась беда.

— Нет, то он никого не обидел, не украл... Он был немного такой... это... ну — как по-русски? А-а, о-зорной. Ну, то в школе, — он учился в пятом классе, — стали на перемене играть... Ну-у то шалить... делали из старые газеты бумажный мячик... Ну-у, такой шарик, и бросались: ты в меня, я в тебя... А на стене висел портрет. И в тот портрет попал один такой мячик и порвал туда, где был глаз... И тогда некоторые мальчики испугались и побежали к директору... Приходили — милиция и все, все спрашивали: кто испортил портрет. Мальчики говорят: «Мы не знаем, все бросали». Но кто-то сказал на Антанаса, и его... — Прозрачные струйки из серо-зеленых глаз полились гуще. Шимкене закрыла лицо ладонями.

Я уже догадывался, чей это был портрет, но все же спросил:

— А кто это был на портрете?

Плечи у Шимкене дрожали, она не сразу успокоилась.

— Ну-у, то был товарищ Сталин...

— И что же Антанас? Ему влетело от директора?

— Нет... Его судили. Сказали — он против власти, нарочно так сделал. И хулиган.

— Но ему было...

— Двенадцать лет. Сказали, что должен отвечать. И — в колонию. Уже два года там сидит. Еще три осталось...

Я взял письмо. Взглянул на адрес. Русскими буквами, не очень уверенно на конверте было написано: «Игарка Красноярского края. Улица Строителей, 12. Иозасу Шимкусу и Неоле Шимкене». От кого: «Спецучреждение № 142/В. Шимкус Антанас». И на почтовом штампе — «17 декабря 1951 года».

«Миллионер»

В многолюдной общей камере внутренней тюрьмы НКВД в Ленинграде Бориса узнать было просто: высокий, волосы цвета пожелтевшего кленового листа, асимметричное лицо, бледное до какой-то голубизны...

Работали с ним следователи старательно и уже довольно долго. Нет, на «конвейер», при котором допросы велись круглосуточно, его не ставили. Но вызывали для допросов только вечером и — до утра. Ночь за ночью. Приводили к раздаче утренней казенной каши: он с трудом проглатывал кусок хлеба и ложку-другую жидко сваренной «шрапнели», как мы называли неизменную перловку, делал пару глотков чая и тут же засыпал; днем спать не полагалось, но его устраивали в углу, за спинами сидящих.

— Чего от тебя хотят? — спросил я.

Он уже рассказал как-то, что работал в КБ крупной судостроительной верфи. Был главным инженером проекта военного корабля. А корабль тот — подводная лодка. Обвиняют в том, что будто бы продал ее секретнейшие чертежи иностранной державе.

По наивности своей я с возмущением спросил:

— Но должны же быть доказательства?

Он криво улыбнулся, потер ладонью грудь, на которой, — я это уже видел, — чернели пятна от побоев, вздохнул:

— Какие доказательства? Голова! Их они выколачивают из меня. И каждую ночь одно и то же: «Подпиши! Укажи, кому продал и за сколько!» Воронье проклятое, пусть хоть до смерти забьют, ничего не добьются! — Белки его круглых крупных глаз сверкнули влажной белизной.

Прошло еще несколько ночей... С каждым днем лицо Бориса становилось суше: бледность исчезала, на лоб, на щеки, на весь его неправильный овал пала тень.

Но всему наступает конец, и однажды его привели с допроса не утром, а буквально через час после вечернего отбоя. Он был мрачно спокоен, а в уголках губ залегла притаенная усмешка.

— Подписал... — шепнул он мне. — А что дальше будет — увидим. С одной стороны — вышка обеспечена, а с другой... — Не договорил, но недобрая ухмылка обозначилась еще острее.

Тот факт, что он что-то там подписал, сразу же стал заметен всей камере. Ну, во-первых, ему разрешили передачу от родных. Он получил целую наволочку продуктов, которые тут же отдал старосте для раздачи всем. Во-вторых, ему разрешили сделать из тюремного ларька «выпуску» — папиросы, масло, белые батоны, сахар. Он и этим воспользовался, и тоже не только для себя. Правда, в парикмахерскую его не пригласили (это обычно являлось зловещим признаком: вызов на заседание Военной Коллегии Верховного суда и приговор, чаще всего расстрел). Курчавая борода, окаймлявшая скулы, становилась еще курчавей и гуще.

Он ничего мне не объяснял, только сказал:

— Пир-то этот недолгий. Поглядим, что еще будет... Неделю-другую, а там...

Но что было спустя неделю, я не узнал. Меня взяли «с вещами». Позднее, в Кировской пересыльной тюрьме, я встретил своего земляка — ленинградца, с которым, так же, как и с Борисом, был в «Шпалерке». Вспоминали товарищей. Я спросил про Бориса. Земляк мой поведал такое, что могло бы показаться печальным анекдотом, если бы не было правдой.

Доведенный до предела человеческого терпения, Борис подписал протокол, в котором признавался, что действительно был завербован иностранной (кажется, американской) разведкой и за большие деньги передал ей секретные чертежи. И указал сумму, которая была передана после того, как сделка состоялась: три миллиона долларов.

Следователь был, конечно, в восторге от такого успеха и уже видел себя трижды награжденным с обязательным повышением по службе, но тут из Москвы, куда срочно отправили дело инженера такого-то, избличенного в крупном шпионаже, последовал не менее срочный запрос: «Поскольку арестованный сознался в содеянном преступлении, немедленно изъять у него вещественные доказательства — полученные им три миллиона валюты — и сдать в Госбанк».

Вот тут-то и началось.

Вначале «шпион» заявил, что деньги эти он истратил. Но доказать этого не смог: был холост, жил со старой матерью и сестрой в скромной квартире. Никакой дачи, а тем более автомашины не имел. На сберкнижке обнаружилось всего несколько тысяч, то есть по-современному — сотен рублей. В общем, в эту его «липу» не поверили и стали — уже с пристрастием! — выуживать из него: где деньги? Опять начались пытки. Тогда он придумал, что деньги, уложенные в герметичный металлический ящик, закопаны на Голодае.

Его усадили в машину и повезли на Голодай:

— Показывай!

Он указал на какой-то пустырь, заваленный мусором, сказав, что где именно, не помнит: надо искать. Вызвали саперов, те ходили с миноискателем и «прощупывали» пустырь. Много раз обнаруживались металлические предметы, но все это был старый хлам — мятые кастрюли, гнутые велосипедные спицы, ржавые кухонные краны.

Земляк мой поглубже затянулся, а я не утерпел и спросил:

— Чем же все кончилось?

— Хм-мм... Известно чем: избили его зверски, так, что в больницу угодил, пустили по другой статье — дача ложных показаний и еще что-то, сунули десятку и — на Колыму. А следователю вместо ордена большой втык, сняли с оперативной работы и тоже куда-то далеко заслали.

Селедка

Прежде чем спуститься в шахту, я снимаю с себя в раздевалке всю одежду и облачаюсь в робу. Надеваю рубаху и кальсоны — пепельно-темные от пропитавшего их пота и угольной пыли, влезая в ватные шаровары и телогрейку, поверх этого напяливаю брезентовую куртку и штаны, на голову мятую ватную шапку, получаю в ламповой «шахтерку», и можно отправляться на смену.

Редкий раз я не встречаю здесь, «на поверхности», Анну Савельевну, а проще тетку Анну, которая занимается нашим подземным гардеробом, чинит спецовки, латает рубахи, зашивает дыры на рукавицах. Почему она попала за проволоку, я не знаю. Говорит она мало и неохотно. То ли всегда была такой, то ли стала нелюдимою здесь, в лагере. Но есть в ней что-то домашнее, оставшееся еще от тех времен, когда она жила у себя в селе под Костромой. И может быть, это домашнее делает Анну Савельевну какой-то нездешней, а как будто попавшей

в эти края, в эту зону, обнесенную заостренными кольями, случайно.

И потому хочется иной раз посидеть рядом с ней, послушать, как тихо-тихо, едва слышно напевает она какую-нибудь деревенскую песню.

Как-то однажды, когда разрешалось выполнившим норму раз или два в месяц сделать в лагерном ларьке выписку, я купил, кроме масла и сахара, две селедки. И мне захотелось одной из них угостить тетку Анну.

Завернул одну в исписанный лист, выпрошенный в конторе, и принес. Она развернула бумагу, и вдруг вся краска сошла с ее лица. Оно стало серым. Я услышал прерывистый вздох:

— Господи, господи, вот такая же... такая же была!

Мне показалось, что она сейчас упадет. Я вскочил, подбежал к бачку с питьевой водой, налил в старую консервную банку, заменявшую кружку, принес.

— Попейте! Может, нарядчика позвать?..

Она тяжело опустилась на лавку, помотала головой. Медленно завернула селедку, положила в сторонке.

— За ее, за проклятую, срок мне дали, за ее.

Тяжкое преступление совершила тетка Анна: завернула селедку в газету с портретом Сталина. И, чтобы искупить свою вину, получила 7 лет лагеря. А дома — четверо детей...

Скитания

В 1945 году заканчивался мой срок. Восемь лет. (Такая уж это у меня злосчастная цифра — восемь). Но в 1945 году я свободу не получил. Дали расписаться на узкой полоске бумаги: «Решением Особого Совещания НКВД такой-то задерживается под стражей впредь до особого распоряжения».

«Особое распоряжение» пришло спустя много месяцев. Мы назывались «пересидчики». Пересиживали, значит, положенное. А потом, — осень уже веяла над Заполярьем, — получил сложенную вдвое бумажку — годовичный временный паспорт, в котором стояло, что выдан он на основании таких-то параграфов, и, стало быть, Москва, Ленинград, все союзные республики и многие областные центры для меня закрыты. Доступен лишь знаменитый «101-й километр».

Я устроился в Волхове. Работа была разная, потом меня пригласили в редакцию районной газеты, нужны были грамотные люди. Изредка я ездил в Ленинград, и то — украдкой, почти тайком. В декабре 1948 года меня вновь арестовали. Пришли

в редакцию двое, усадили в машину, сделали в комнате, которую снимал, обыск и отправили в Ленинград.

Опять уже знакомая «Шпалерка», внутренняя тюрьма, но теперь уже не НКВД, а МГБ.

На этот раз никто не ставил меня «на стойку», не пускал «на конвейер», не выбивал зубов. Все было вполне на уровне. Допрос — протокол. Вопрос — ответ.

Вопрос: Вы в 1928 году состояли в контрреволюционной троцкистской организации. Подтверждаете это?

Ответ: В 1928 году мне было шестнадцать лет, я был рабочим электроцеха ленинградской кинофабрики «Совкино», комсомольцем. За плечами — семь классов. Никогда в такой организации не состоял.

Вопрос: Но вы читали троцкистскую литературу?

Ответ: Да, я прочитал две листовки и тоненькую брошюру, которые потом вернул тому, кто мне их давал.

Вопрос: Но не сообщили о нем?

Ответ: Нет.

Вопрос: И все?

Ответ: Да, и все.

Спустя несколько дней меня вызывают и приводят в просторное помещение, где за длинным столом сидят человек шесть-семь чинов с полковничьими и майорскими звездами. Все — в фуражках. На всех — чистенькие аккуратные кителя. У всех — веселые, румяные, добродушные лица.

— Вот, прочтите и распишитесь.

На полустраничке: Слушали: о к.-р. троцкистской деятельности такого-то, ранее судимого за то-то.

Постановили: выслать на постоянное специальное поселение в районы Сибири».

От подписания я отказываюсь. Подымаюсь:

— С одной коровы семь шкур не дерут...

Вдогонку чья-то сытая реплика:

— Ничего. Корова еще молодая — новая нарастет. И общий хохот.

«Молодую корову» вновь повезли по этапу. Тюремный вагон. Тесные клетушки-камеры. Пересыльная тюрьма в Кирове. Пересыльная тюрьма в Красноярске. Село Абан к северу от Канска. Потом — Игарка у ледяных берегов Енисея. Заполярье. Кем только не доводилось работать, чтобы прокормиться. А тетрадка с материалами для будущей книги — снова со мной. Мне прислали ее из Ленинграда.

1954 год принес перемены.

Умер «великий вождь и отец», не сразу, со скрипом, но начали открываться ворота тюрем и лагерей. И снова — в дорогу. Прежний брак мой распался. Возник новый. Мы — молодая мать и наш трехмесячный сынишка, самые близкие мне теперь люди, — последним предзимним пароходом добрались по Енисею до Красноярска, а там — самолетом до Москвы. И опять пришлось два года мыкаться бог знает где и как, пока не последовала полная реабилитация. На календаре значился декабрь 1956 года...



**Владимир
ДНЕПРОВ
(Вольф Давыдо-
вич Резник)**

род. 1903

Санкт-Петербургское благотворительное историко-просветительское правозащитное общество «Мемориал»

Анкета репрессированного

Днепров (Резник) Вольф Давыдович, 1903 года рождения *, г. Киев, еврей, образование высшее, преподаватель высшей школы.

Арестован в январе 1935 года за участие в группе Ломинадзе, Шацкого, Кострова. Следствие: Особое Совещание при НКВД СССР, без суда. Лагерь — Суздальский политизолятор. Бутырская тюрьма. Одинокое заключение.

Освобожден 30 апреля 1954 года со снятием судимости в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 27 марта 1953 года.

После освобождения работал преподавателем в Борисоглебском пединституте.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Днепров (Резник) Владимир Давыдович (11.VI.1903, Киев) — критик, литературовед. Кандидат философских наук. В 1918 окончил среднюю школу, в 1919 вступил добровольцем в Крас-

* Вольф Давыдович Днепров умер в 1992 году.

ную Армию. После демобилизации работал в комсомольских организациях (1921—1925), затем учился на философском отделении Института красной профессуры. С 1929 много лет преподавал в вузах Москвы, Ленинграда, Саратова, Воронежа и др. Его книги и статьи посвящены главным образом теоретическому анализу историко-литературного процесса. В последние годы опубликовал исследования о музыкальной эстетике: «О музыкальных эмоциях», «Старая истина осталась новой» (сб. «Кризис буржуазной культуры и музыки», I — II, 1972—1973); цикл работ о Л. Н. Толстом: «Изобразительная сила толстовской прозы» (сб. «В мире Толстого», 1978); «Толстой-художник: изменчивость характеров» («Вопросы литературы», 1977, № 8), «Толстой как писатель XX века» («Литературное обозрение», 1978, № 9); цикл статей о проблемах искусства: «К понятию «модернизм» («Иностранная литература», 1973, № 3), «Судьбы новых форм» («Иностранная литература», 1975, ; 4), «Нужно разобраться» («Вопросы литературы», 1973, № 4), «Как спастись от потопа» («Литературное обозрение», 1977, № 10), «Матисс весь — солнце» («Литературное обозрение», 1979, № 2)

Проблема реализма. Л., 1960; Черты романа XX века. М.— Л., 1965; Литература и нравственный опыт человека: Размышления о современной зарубежной литературе. Л., 1970; Идеи, страсти, поступки: Из художественного опыта Достоевского. Л., 1978; Идеи времени и формы времени. Л., 1980; Строй противоречий в искусстве Достоевского: Стенография лекций, прочитанных в музее Ф. М. Достоевского. Л., 1980.

Владимир Днепров

ЭТО БЫЛО

В двадцатом году, ввиду польского наступления, в помещении Киевской думы был объявлен набор добровольцев. Хотя я еще не дожил до семнадцати лет, члены комиссии не усомнились в моей способности воевать. Засыпая в первую ночь в казарме, я смотрел на разноцветные кубистические изображения воинов с винтовкой и рабочих с молотом.

Мне повезло. Соседом был солдат, казавшийся мне пожилым человеком. Ко мне он отнесся как к сыну, терпеливо и ласково. Он рассказывал бесконечные истории из солдатской военной жизни, истории, всегда интересные, сдобренные иронией. Это был своего рода солдатский эпос. Из него я много лет черпал материал для своего общения с людьми. Другой темой разговоров были наши общие, детские мечтания о том, как после

расправы с «беляками», мы войдем в жизнь, точно в сад, в котором все люди будут друзьями.

Скоро мы с ним расстались. В атаке у самого Днепра я почувствовал, будто ветер прошел через левую часть моей груди. Когда попробовал рукой, вытащил ее мокрой от крови. Мой друг, закинув правую мою руку себе на плечо, почти тащил меня к телеге для тяжело раненных. Я так и не попрощался с ним, надолго потерял сознание...

К маю 1921 года меня выпустили из госпиталя и отчислили из армии как инвалида второй группы, отправив на длительный отдых.

ЦК комсомола Украины, узнав обо мне из рассказов приезжавших киевлян, телеграммой вытребовало меня в Харьков для работы в коллегии политпросвета.

Здесь я узнал передовых людей поколения двадцатых годов, людей, которых можно было бы назвать идейными во всей многозначительности этого слова. Игнат (все называли его только так), Виктор Далин, Владимир Касименко, Михаил Югов и другие. Чем больше я общался с ними, тем более убеждался в том, что положительные герои на самом деле существуют. Не идеальные, которых не бывает, а положительные. Приведу несколько фактов, говорящих за себя. Не имея свободного жилья, секретарь ЦК комсомола Игнат — человек редких организаторских способностей и, если так можно выразиться, яркой организаторской фантазии, решил поселить меня в своей комнате — так мы с ним больше месяца проспали на одной кровати. С неистощимым любопытством он расспрашивал меня о том, что я видел, что пережил, что слышал в пору гражданской войны и в месяцы пребывания в госпитале. Эти рассказы так его волновали, что он потом долго не мог заснуть.

А вот другой случай, подтверждающий, что в 1921—1922 годах отношения людей нередко строились по ленинским традициям. Секретарь ЦК партии Украины Косиор предложил Игнату выделить трех комсомольцев, которые вместе с ним поедут на отдых в Крым в прелестный санаторий «Харакс». На заседании в бюро ЦК комсомола обнаружили две разные точки зрения: одна — послать самых ответственных работников, другая, поддержанная Игнатом, — послать тех, кто особенно нуждается в такой поездке. Вот и решили послать меня, еще не вполне оправившегося от тяжелого ранения; киевского комсомольского работника, вышедшего из гражданской войны без ноги, и Виктора Далина, ведавшего в ЦК делами печати. Далин производил впечатление человека очень слабого: тонкие, слабые руки, тон-

кая шея, бледное лицо, большие синие, как небо, глаза. Когда Игнат рассказал Косиору о решении Бюро ЦК, Косиор был очень доволен и, смеясь, сказал: «Не по должности, а по нужде послали. Молодцы!»

Эта была упоительная поездка, мы ехали в вагоне, представленном Косиору, по дороге прихватили секретаря Донецкого губкома партии, и в отношениях, и в разговорах царствовал дух равенства, веселости, уважения к личному суждению даже таких неопытных «политиков», как наша комсомольская тройца. В Крыму мы часто ходили с В. Далиным из «Харакса» в Ялту и в разговорах убеждались, что ленинские принципы коммунистического товарищества остаются живыми, и короста честолюбивого высокомерия еще не коснулась людей в нашей среде.

Скажу к слову, что в душе В. Далина не было ни одного темного пятнышка, он отличался, если можно так выразиться, нравственной опрятностью, чистотой, цельностью и своего рода тихой веселостью. Он просидел в лагере два срока и несмотря на это сумел после реабилитации проявить себя как первоклассный историк — недаром перед смертью он получил из Франции, которой были посвящены все его исследования, Большую золотую медаль.

За нашими разговорами скрывалось и чувство тревоги. Пришел нэп, а за ним явился партмаксимум. Такой партмаксимум, независимо от ступеней субординации, достался всем серьезным работникам ЦК комсомола. Члены коллегии политпросвета во главе с В. Касименко обедали в частной столовой, где непомерно толстая и добродушная хозяйка кормила нас вкусно и сытно, но дорого. Кошелек с «партмаксимумом» таял, как свеча, его, по существу, хватало только на питание. Но нам именно питание было нужно, чтобы окрепнуть и обрести выносливость, необходимую при работе, поглощавшей все наше время. Но вот секретарь ЦК сообщил, что членов нашей коллегии прикрепили к совнаркомовской столовой. Мы слушали за обедом любопытные разговоры руководителей, которые были для нас интересны, но смущало то, что здесь, хотя мы питались почти так же вкусно и сытно, как у «мадам Пузо», кошелек тощал крайне медленно. Это портило нам настроение, и однажды, придя в нашу столовую, я увидел там Касименко, усердно поедавшего украинский борщ. Так мы без рассуждений и радостно ушли из привилегированной столовой. Это решение было принято Борисовым и Ломакиным с энтузиазмом. Что-то запрещало нам пользоваться слишком дешевой едой.

Выслушав мой подробный рассказ об этом по дороге из «Харакса» в Ялту, Далин, как всегда, неожиданно и светло рас-

смеялся, сказав: «Привилегированные коммунисты». Такой была наша первая встреча с привилегиями.

Вопрос, которого я сейчас слегка коснулся, через два с лишним года много расширился в своей остроте и важности.

Я только что ушел с комсомольской работы в Москве и готовился к поступлению в Институт красной профессуры. В ЦК комсомола сформировались две враждующие друг с другом группки. Судя по тому, что мне рассказывали о них друзья с Украины и вновь обретенные приятели из ленинградских рабочих, вражда была связана с резким различием индивидуальностей. Однако в эту же пору проблескивали зарницы надвигающейся дискуссии с «ленинградской оппозицией». Чтобы определить, нет ли в конфликте политической подкладки, Сталин вызвал всех участников враждующих групп. В то время как Молотов выслушал жалобы конфликтующих, Сталин расспрашивал каждого в отдельности: не может быть, чтобы ответственные деятели ЦК комсомола дрались без политических оснований. Впервые комсомольцы столкнулись со способностью Сталина оказывать на собеседника трудно выносимое давление. Позже Ломинадзе не раз говорил со мной об этой его способности и утверждал, что обмануть Сталина необычайно трудно. Однако на сей раз, судя по тому, что рассказывали участники собрания, у них не было никакого намерения и никакой возможности его обманывать.

Подзывая к себе каждого, Сталин начинал разговор одной и той же фразой: «Зачем деретесь? Вождицкий паек хотите? Дадим вождицкий паек».

Обдумывая этот зачин, мы поняли, что речь шла не о шутке, а об очень серьезной вещи. Сталин любил простые решения, он считал необходимым ориентироваться на низменную сторону человека, придавая ей во всех случаях важное значение. Быть с «вождицким пайком» и не знать материальных забот или возвратиться к скудной и трудной жизни. Эта дилемма работала как подсказка.

Обсуждая этот вопрос с В. Касименко и В. Далиным, мы приходили к выводу, который мог бы показаться преувеличением, но который был справедлив: в число мер, которыми Сталин подчинял себе партию, входила сила массового подкупа. Недаром уже к концу двадцатых годов возникла бюрократическая лестница, каждой степени которой соответствовал распределитель особого ранга. В одном давали папиросы «Казбек», а в другом — «Герцоговину Флор», в одном шили неплохие портные, а в другом — лучшие. Это была форма «материально-личной»

заинтересованности, система государственно-организационной дьявольщины, противостоящая социализму.

Помню, как в 1931 году меня дали в сопровождающие секретарю ЦК Украины Постышеву, которого прислали в Саратов выколачивать заготовки. Мы шли из одной избы в другую — везде на полу опухшие от голода крестьяне. Лицо Постышева на глазах темнело и бледнело. Вдруг он остановился и сказал секретарю райкома: «Прекратите заготовки». Тот ответил: «Я сделаю это после вашего письменного указания». Оно было немедленно получено.

Через несколько дней я отправился в Москву в гости к приятелю, проводившему свой отпуск на даче на Воробьевых горах. Когда я туда добрался, меня поразило многоголосый шум пластинок с заграничными модными танцами. Затем отличный обед с рассуждениями, какие из кислых вин имеют лучший букет. Я возвращался домой с ощущением, будто схожу с ума. Сопоставление двух впечатлений ясно показало мне, какая пропасть отделяет систему бюрократической субординации от народа. Конечно, 1932 год изрядно ушел от 1925-го, но направление было ясно намечено формулой «вождицкий паек».

Мы долго обсуждали с Далиным и Касименко случившееся и единодушно пришли к выводу: то, что не был выполнен завет Ленина о снятии Сталина с поста Генерального секретаря, — беда гораздо большая, чем мы раньше думали. Мы еще не знали, что даже не имеем понятия о настоящих размерах этой беды.

В период моего ученья в Институте красной профессуры (в отличие от Далина, я выбрал не историю, а философию) я сблизился с кружком, в который входили такие замечательные люди, как Бесо Ломинадзе, Тарас Костров, Лазарь Шацкин и Ян Стэн. Сближение с ними произошло отчасти случайно. Я жил в комнате громадного Дома Советов на улице Грановского. Когда Ломинадзе сделали секретарем Заккрайкома, в который входили Азербайджан, Грузия и Армения, его жене, только что родившей ребенка, дали комнату рядом с моей. Ломинадзе часто приезжал в Москву и сразу же познакомился со мной: придя однажды вечером домой, он предложил мне сыграть в шахматы. С этого времени Ломинадзе стал часто заглядывать ко мне. Мне так и не удалось выиграть у него ни одной партии.

Политически мы с ним сблизились после обсуждения в Институте красной профессуры статьи Шацкина «Долой партобывателя». Тарас Костров, который поместил эту статью в редактировавшейся им «Комсомольской правде», считал, что эту ра-

боту нужно сопоставить с сатирическими стихами Маяковского. Как далеко зашло к этому времени (статья написана в 1928 году) перерождение молодой партийной элиты, можно судить по тому, что я оказался единственным человеком, выступившим в защиту статьи Шацкого, а Далин — единственным, голосовавшим против ее осуждения. Меня хотели за это исключить из Института, но Поспелов от имени парткома не позволил этому совершиться. Мое резкое выступление, говорившее о процессах перерождения, дающих себя знать в партии, поддержка статьи в «Комсомольской правде» быстро сблизила меня с Шацким — и с этого времени меня стали приглашать на собеседования кружка Ломинадзе — Костров — Шацкий — Стэн. Я был взят на правах младшего: когда в 1919 году я бегал по Киеву в качестве подпольного курьера, Шацкий уже был секретарем всего нашего комсомола, и Ленин однажды предложил взять его в «большое ЦК».

«Кружком» я называю это маленькое объединение людей сознательно. Белинский справедливо считал кружок самой ранней и неразвитой формой общественного движения: кружок не начинается с единства взглядов, а добивается этого единства. Именно таково было в зародыше явление, которое в благоприятных условиях могло оказаться голосом поколения двадцатых годов. Например, по вопросу о строительстве социализма в одной стране было пять разных мнений, и были высказаны, на мой взгляд, серьезные, ответственные, ценные мысли.

Но в одном вопросе мы были едины. Каждый из нас — из своего большего или меньшего опыта — пришел к выводу, что Сталин отменил внутривнутрипартийную демократию. Догма — партия всегда права — сыграла важнейшую роль. Даже Хрущев загубил себя, придерживаясь этой догмы.

Оказывалось, что партия ошибалась только при жизни Ленина. В нашем же кружке самым актуальным вопросом был вопрос о том, что Сталин «сделал основами ленинизма» все то, что противоречит Ленину. Обман стал опорой всех его теоретических построений — факт беспримерный в истории революционного движения. Поэтому мы считали вопрос о внутривнутрипартийной демократии, об антидогматизме центральным вопросом, от которого зависит возможность решать все остальное.

Но вернемся к Шацкому. Он был красив телесно и духовно. Его отличительной чертой была честность ума. Не раз после горячих споров раздавался его звонок, и он спокойно разъяснял, в чем он был неправ, и в чем я был более прав, хотя не сумел привести наиболее убедительные доводы. Подобные возвраще-

ния к спору вошли между нами в обиход и стали совместной духовной работой. Только Стэн смеялся над этим «коллективным мышлением».

Сдержанность Шацкина, ясно выраженная в его характере, жила рядом со смелостью. Приведу в качестве примера рассказ Шацкина.

«В Москве появилась книжка некоего куйбышевского литератора — панегирик в адрес Сталина как теоретика. Я не говорю о ней потому, что вся она была проникнута духом сикофанства. Случайно я познакомился с автором, который оказался именно таким, какой может писать подобные книги. На совещании в ИККИ Сталин вдруг подошел ко мне и спросил, знаком ли я с автором книжки о нем. Я ответил утвердительно. «Понравился он вам?» — «Нет». — «Отчего же?» — «Он показался мне карьеристом». И тогда Сталин отчетливо и зло сказал: «Что же дурного в таком карьеризме? На кого он работает, этот карьеризм? Разве не на советскую власть? Ничего дурного в таком карьеризме не нахожу». И, повернувшись ко мне спиной, Сталин отошел».

Выслушав рассказ Шацкина, Костров после паузы заметил: «Этого он тебе никогда не забудет».

Через некоторое время Шацкин поведал о другой сценке с участием Сталина. Сталин на совещании подошел к нему и спросил: «У вас сегодня какой-то семейный праздник?» — «Нет, никакого праздника». — «Чего же вы в таком случае так вырядились?» — И отошел.

Можно эти два эпизода посчитать мелочью. Но это было бы непростительной ошибкой. Эти «мелочные» эпизоды как бы щели, через которые отчетливо видна тщеславная и низменная сущность сталинского характера.

А вот другая повесть Шацкина.

«У меня была знакомая, по виду ничего особенного, женщина как женщина. Только редкая, как бы пружинящая, походка выделяла ее и, видимо, привлекала мужчин, потому что у нее были романы с очень знаменитыми людьми. Я случайно встретил ее на улице и меня удивило ее непривычно осунувшееся, печальное лицо. Я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Я очень долго вас не видел и не поздравил с замужеством. (Она вышла замуж за работника ЦК.) Поздравляю, но не больны ли вы?»

В ответ она рассказала то, что нам обязательно нужно знать: «Со времени замужества моя жизнь стала ужасна. Каждую неделю устраивается роскошный прием — и с самой лучшей едой

и выпивкой,— и обычно для одного или самое большее для двух человек с периферии. Едят, пьют, танцуют со мной, но говорят несколько часов только о величии Сталина, о нем как единственном человеке, способном привести страну к процветанию, о Сталине как вернейшем продолжателе Ленина и тому подобное. Говорят о том, что Сталин никогда не забывает людей, которые ему безоговорочно верны, и вы можете получить с его благословения пост первого секретаря обкома, а в будущем — положение кандидата ЦК.

Эти речи так много раз повторялись, что я выучила их наизусть. Я чувствую, что совершается нечто очень плохое, но я боюсь хоть слово кому-нибудь сказать. Мне снятся страшные сны, и бывают минуты, когда я хочу перестать жить. Я говорю вам об этом потому, что слишком хорошо знаю вашу сдержанность и верность слову». На этом мы расстались: у меня не было слов, чтоб ее утешить.

После паузы Костров сказал:

— Сначала уничтожали коммунистов материальным благодеянием, независимым от страданий и нищеты народа, а потом их стали уничтожать честолюбивой перспективой. В годы болезни Ленин не раз предлагал Троцкому вместе выступить против ошибок Сталина. Но Троцкий, слишком озабоченный своим реноме, на это не согласился. А если бы он выступил, если бы ринулись за ним все противники Сталина... Если бы они даже потерпели поражение, дальнейшая история пошла бы иначе.

Ломинадзе, видя, что Костров волнуется, а волнение при его тяжелой астме может стать опасным, стал говорить примиряющие слова.

Сталин знал, каким решительным способен быть Костров, и пытался расколоть нашу группу. Встречая Ломинадзе, он всегда спрашивал: «Ну как ваш вождь?» И упорно повторял этот вопрос, явно рассчитывая на то, что Ломинадзе покажется унижительным иметь такого «вождя». Но Ломинадзе нежно любил и почитал Кострова и на дергающие вопросы Сталина отвечал улыбкой.

Костров был очень болен, и даже Стэн выходил в другую комнату курить, чтоб не повредить товарищу, и оттуда мы слышали его насмешливые реплики.

Случалось, Кострова вызывал Сталин, и об одном таком посещении, отлично переданном Костровым в лицах, я попытаюсь рассказать своими словами.

Сталин встретил Кострова посреди комнаты, поздоровался за руку и усадил в удобное кресло возле своего стола. Спросив

его о здоровье и о том, не нуждается ли он в чем-нибудь, Сталин в таком же любезном тоне принялся объяснять, отчего Кострова снимают с поста редактора «Комсомольской правды»:

— Если мы вас оставим редактором, все газеты решат, что им позволены такие же вольности, как «Комсомольской правде». Ваша шалость со статьей Шацкина сама по себе не страшна, но плохо, если другие будут продолжать в этом роде.

Эту мысль Сталин повторил несколько раз разными словами и убеждающим тоном. После этого он сообщил, что на попечение Кострова будет отдан журнал «За рубежом», и он надеется — журнал будет интересным.

И лишь после этого обозначилась главная тема разговора.

Сталин заговорил о безнравственном поведении Каменева: жена Каменева проводит вечера в тоске и одиночестве, а Каменев заводит роман с английской скульпторшей.

— Сейчас я вам прочитаю ее письмо, и все станет ясным.

В кармане, где Сталин искал, письма не оказалось. Тогда он позвонил домой и спросил жену о письме. Та, видимо, не знала. Тут лицо Сталина стало страшным. «Слушай, Аллилуева,— закричал он,— сколько раз я просил не шарить в моих карманах». И с силой бросил трубку. Через минуту он эпически спокойно, со свойственным ему резким сдвигом интонаций, изложил как бы дословно письмо со всеми выражениями чувств и интимными деталями.

Слушая, Костров подумал о том, что Сталин не может забыть минуты, когда Каменев овладел вниманием съезда, а он, Сталин, испугался.

Мне не удалось присутствовать на беседе Ломинадзе и Шацкина с Костровым за несколько дней до его смерти. Костров говорил тихим голосом, но небывало резко, как бы желая, чтобы его слова прочно вошли в сознание и память его друзей. Вот как Ломинадзе передал мне то, что считал главным в словах умирающего.

«Только Ленин понимал, какую громадную опасность несет Сталин в положении Генерального секретаря для судеб нашей революции. Он ясно написал в своем завещании о том, что в короткое время Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть, и нельзя быть уверенным в том, что он не злоупотребит этой властью. Яснее не скажешь. Зиновьев и Каменев совершили преступление, не раскрыв ясного как день предупреждения относительно «необъятной власти» и возможных злоупотреблений этой властью. Троцкий, который презирал Сталина, не вме-

шался и не представил письма Ленина съезду. Он боялся, чтобы не подумали, будто он хлопочет о своем лидерстве. Какое жалкое поведение столь сильного человека. Человек, который наверняка не допустил бы этого,— Яков Свердлов — был уже мертв. Мы накопили множество фактов, которые показывают, что, не поняв значения произошедшей трагедии, мы никогда не поймем всего остального. Я просил бы вас, чтобы после моей смерти вы написали о трагическом моменте перелома, о первой и решающей измене Ленину, не боясь правды».

Шацкий спросил Кострова, завершится ли наша деятельность исключением из партии и отсылкой куда-нибудь в глушь. Костров ответил:

— Наивные вы ребята. Ленин умел убеждать оппозиционеров и сохранять все полезное, что они могут сделать. А если не мог убедить сразу, то ждал, что события и их собственная деятельность снимут разногласие. Сталин ликвидирует внутривнутрипартийную демократию, ему, чтобы сохранить власть, нужно идти путем насилия. Если вас вышлют в Сибирь или будут держать годами в тюрьме — скажите спасибо.

Интерес Сталина к Кострову, Ломинадзе, Шацкому, Стэну имел свои причины. Основная состоит в том, что они были независимы. Примером такой независимости была и школа Бухарина (ласково «школка»), о которой все знали и о которой написано даже в книгах, вышедших за рубежом. Я во время полуссылки в Саратов познакомился с тремя участниками этой «школки»: Слепковым, Петровским и Зайцевым. Все они были умные и многообещающие люди. Сталин разослал их на вузовскую работу — и Саратову досталась эта тройца.

Мое знакомство с ними началось со Слепкова, который несомненно был организационно-политическим центром группы. О самом Сталине Слепков говорил с нескрываемой ненавистью. Он не стеснялся критиковать и Бухарина, который, по мнению Слепкова, дал Сталину использовать себя, я слушал Слепкова с большим уважением: впервые я столкнулся со столь зрелой и энергичной позицией бухаринского ученика. Слепков ругал Бухарина очень резко и вместе с тем с горечью. Он также открыто говорил о Сталине и с другими людьми. Своей откровенностью Слепков обеспечил себе пулю в затылок.

Нравственным центром школы был Петя Петровский. Когда я приехал в Саратов, меня приютили «икаписты» — слушатели Института красной профессуры, преподававшие теперь в саратовских вузах. Но я сознавал, что их стесняю, и не знал, как

быть. Когда я рассказал Пете Петровскому о неловкости своего положения, он закричал: «Так живи у меня, черт возьми! У меня громадный чистый коридор, дадим тебе раскладушку, повесим лампочку, чтобы ты мог читать перед сном, и ты будешь жить, никого не стесняя».

Коридор был в самом деле очень велик и совершенно пуст. Мы тут же съездили к «икапистам», взяли мой чемодан, и я сладко заснул, никому не мешая.

Примерно через месяц я перешел в маленькую, но очень чистенькую комнатку почти рядом с комнатами Петра Петровского. Но по отношению к Бухарину Петровский резко отличался от Слепкова. Бухарин, по его словам, не умел ненавидеть или слишком холодно относиться к человеку, с которым работал. Каким теплым он был, когда резко спорил с Лениным, и какой любовью отвечал ему Ленин, ясно понимая недостатки Бухарина. Он непременно должен потерпеть поражение в столкновении с таким хитрым и двуличным интриганом, как Сталин. Но и в поражении он будет стоять много выше, чем его коварный противник. Одним словом, видя политическую обреченность Бухарина, Петя Петровский не переставал относиться к нему с глубокой привязанностью и постоянно вступал в спор со Слепковым, если тот зло и непримиримо говорил о своем учителе.

В Суздальском политизоляторе я в течение двух дней — по случаю ремонта — оказался в одной камере с Зайцевым — одним из участников бухаринской «школки». Это был 1935 год, Бухарин был еще на воле, а его школа распределилась по одиночкам в нескольких изоляторах. В Суздальском, кроме Зайцева, находился Петр Петровский. В один прекрасный день ему сообщили, что он освобождается из тюрьмы и может ехать куда хочет. Петя сразу понял, что это результат мольбы его старого отца — всеукраинского старосты, который не раз попадал в ту же тюрьму, что и Сталин. Разумеется, чтобы Петин отец написал это письмо, понадобилась сильная воля его матери. Получив радостное известие, Петр Петровский потемнел, как человек, с которым случилась большая беда и, так сказать, не приходя в сознание, письменно сообщил о своем категорическом отказе уйти из тюрьмы: он должен оставаться в тюрьме так долго, как его близкие друзья, вместе с которыми он был посажен. Тут администрацией был взят на помощь Зайцев. Это был человек умный и глубоко рассудительный. Он убедил Петю, что должен остаться хоть один человек, который сможет написать о судьбах бухаринской школы и рассказать о каждом, кто к ней принадле-

жал. Позднее Петр Петровский был расстрелян, как и все «бухаринцы» (за исключением одного) и как сам Бухарин.

Карева — одного из самых многообещающих философов поколения — упорно связывали с Зиновьевым. Я был с Каревым почти дружен, но ни разу не слышал от него фамилии Зиновьева, хотя не исключено, что причиной молчания была необыкновенная сдержанность и дисциплинированность Карева во всем, что касалось политики. Мы с Каревым общались на философской почве, а дружба наша опиралась на то, что мы оба пришли к выводу об огромном основополагающем значении ленинских конспектов «Науки логики» Гегеля. Мы не уставали о них говорить. Карев привносил в наши беседы гораздо более высокую философскую культуру, а я — результаты моей работы о логике «Капитала» Маркса. Карев был не только необычайно умен, разносторонне культурен, но на редкость сообразителен: он работал в несколько раз быстрее меня и при этом не упускал ничего глубокого и важного. Он работал быстро, говорил быстро и очень четко, двигался легко и быстро. Я относился к нему не только с сердечной привязанностью, но и с восхищением. Он много серьезных задач себе поставил, но ни одной не успел осуществить: он был расстрелян примерно в то же время, что Зиновьев и Каменев. Сказанное подводит нас к выводу фундаментальной важности: революция дала толчок многим талантам явиться и начать свое движение вверх. Это было в своем роде поколение талантов (и Карев был одним из ярчайших). Но пули в затылок не позволили поколению войти в зрелость.

Первые три набора в Институт красной профессуры принесли десятки многообещающих людей науки, не говоря уже о школе Бухарина, и таких философах, как Карев и Стэн.

В кругу закончивших Институт было немало людей, чья ранняя деятельность указывала на выдающиеся способности. Я, разумеется, не помню их имен, но помню впечатление, произведенное их исследованиями. Помню первоклассные сочинения двух специалистов по русской истории. Помню блестящие работы экономистов, посвященные финансам в современном капитализме, и остроумную защиту Маркса от нападений Туган-Барановского, и еще многое другое в таком роде. Но жизнь этих людей была оборвана в самом начале — все умные и даровитые были расстреляны, и мы можем лишь гадать, что они могли принести науке и жизни. Конечно же их расцвет был бы не менее значительным, чем расцвет театра или изобразительного искусства двадцатых годов. Сталин перерубил пополам лучших лю-

дей поколения, которое могло бы принести выдающиеся результаты.

Наш кружок отличался как раз тем, что он без руководителя, спонтанно, вырос из комсомола как самостоятельной политической организации. Сталин рассчитывал приручить кружок и щедро одаривал его правом участия в высших органах партии. Ломинадзе побывал в числе членов ЦК, Шацкий и Стэн — в составе членов ЦКК.

Но здесь должно быть выделено еще одно важное обстоятельство. Общее мнение говорило, что Сталин питает особую симпатию, особую склонность к личности Ломинадзе, что это явление единственное в своем роде. Даже Сталин не мог не откликнуться на обаяние Бесо Ломинадзе, на его естественность, внутреннюю честность, на его веселость, жизнелюбие и искренность. Сталин хотел заполучить этого человека — и это подтверждается убедительными фактами. Он писал Ломинадзе письма — явление из ряда вон выходящее. Ломинадзе однажды прочитал мне их. Они были короткими и касались все одной и той же темы. Вот что удержала память из содержания этих писем:

«Не возитесь с мальчишками. Помните о том, что можете стать одним из руководящих деятелей страны. Мы пошлем Вас на год — полтора в Америку набраться знаний и умений. Вам нужно только выбрать направление, а мы сумеем обеспечить Вам положение Наркома. Подумайте о том, сколько хороших дел Вы сумеете сделать, оказавшись на высоте». На одном или двух была концовка: «Ваш Сталин». Все остальное — просто: «Сталин».

Сталин предлагал Ломинадзе то, что тому было не нужно. Даже хуже, чем не нужно. Он действовал по шаблону, который в других случаях приносил успех. Вскоре он понял, что не туда гнет, и резко видоизменил способ достижения цели.

Как-то, будучи в Саратове, я получил письмо Ломинадзе с просьбой поскорее приехать в Москву, чтобы поговорить. Я приехал, и Бесо Ломинадзе рассказал мне следующее. Однажды в поисках какой-то бумаги он посмотрел и туда, где лежали письма Сталина,— письма исчезли. Исчезли окончательно. Видимо, кто-то по приказу Сталина отыскал эти письма и их уничтожил. Мы долго обсуждали, в чем тут дело, и пришли к выводу: грозит беда.

Так и оказалось: через некоторое время появилось в газетах Постановление ЦК о право-левацком блоке Сырцова-Ломинадзе.

Как выяснилось, это был не удар для разрушения, а удар для острастки. Поразительны нелепость и небрежность в тексте Постановления. Разговор, не имевший никаких продолжений, без малейших доказательств обращен в некий блок. Сырцову, как правому, были адресованы такие бессмысленные обвинения, что просто диву даешься. Оказывается, правая направленность председателя Совнаркома РСФСР заключается в том, что Сырцов стоит за сокращение фронта капитального строительства. Вот уже несколько десятилетий мы стараемся сократить этот фронт, и это нам никак не удастся. Колоссальные суммы увязают в незавершенном строительстве, принося вместо дохода громадные убытки,— и каждый год повторяется вспышка этой хронической болезни нашей экономики. А тут Сырцову не только ставилось в вину его верное предложение, его сняли с должности, исключили из ЦК и переводят на какую-то пустячную работу. Сталин не осмелился написать, что причиной опалы был разговор об отступлениях от ленинской внутривластной демократии. К сожалению, не могу вспомнить, что ставилось в вину «левакам». Тоже что-то несусветное, потому что о сути дела Сталин не позволял себе говорить, он всегда вел борьбу с закрытым забралом. Ломинадзе вывели из состава ЦК, Шацкого — из состава ЦКК.

Ломинадзе рассказал, как возникло дело о право-левацком блоке.

«Один из молодых людей, с которым Сырцов состоял в приятельских отношениях и говорил достаточно откровенно,— Борис Резников, работавший в «Правде», вдруг почувствовал себя как бы стоящим на открытом месте и испугался. Он не нашел ничего лучшего, как советоваться с Мехлисом, который в это время тоже был в «Правде». Мехлис очень обрадовался случаю оказать услугу Сталину, он знал, что «хозяин» подобных услуг не забывает. Уговорить Резникова написать письмо в ЦК о своих разговорах с Сырцовым труда не составило. Несколько сложнее была задача заставить Резникова изобразить единичный, не имевший никаких последствий разговор Сырцова с Ломинадзе как установление постоянной связи, ведь в этом случае и сам заявитель оказался бы причастным к этой связи. Мехлису удалось преодолеть трусость Резникова всякими обещаниями, и таким образом и возникло дело о блоке».

Через несколько дней я был вызван в партколлегию ЦК. Председательствовал Сольц, с добрым лицом, а рядом сидела строгая, сухая Землячка. Сольц прочитал выдержку из показаний, данных в органах безопасности обо мне самым близким

и доверительным другом Сырцова. Показания были верными и точными — и ни одного слова о Ломинадзе. С автором этих показаний я как-то познакомился в нашем дворе, где мы оба жили, и пару раз беседовали. Я высказывал в ответ на его мысли свои в очень осторожной форме. Как обидно, что забыл имя этого достойного товарища. Сольц спросил, был ли такой разговор и высказывал ли я изложенные в показаниях мысли, касающиеся вопроса о внутрипартийной демократии. На оба вопроса я дал утвердительный ответ. Отмечу еще, что показания говорили о моих взглядах в форме проблематического суждения, поскольку там была оговорка, что на многие вопросы я ответов не давал. Показания подтверждали мое мнение об их авторе как о порядочном человеке — ни малейшей попытки что-нибудь, касающееся меня, преувеличить. Мне предложили перейти в другую комнату и через несколько минут позвали снова. Сольц внезапно сказал: адрес Бориса Резникова такой-то, сходите к нему и выясните, чего ему от вас нужно. С телячьей наивностью я ломал себе голову, зачем он направил меня к Резникову. Лишь подходя к дому, где жил Ломинадзе, я догадался, что он этим способом указывал мне, где источник зла.

По заявлению Резникова арестовывают члена партии только за то, что он имел дружеские и откровенные беседы с Председателем Совета Министров РСФСР. Добившись от него нужных показаний, его, как позже выяснилось, отправляют в Казахстан, в ссылку, откуда он так и не вернулся. Органы безопасности воздействуют не только на социальные процессы. Бывшее ЦК Дзержинского превратилось в аппарат при личности Сталина. Этот единственный факт дал нам возможность угадать явление, имеющее общее значение. Хотя мы еще не догадывались о страшных последствиях, к которым приведет перерождение «безопасности» в опасность.

Забегая вперед, скажу: этот факт был последним толчком, который заставил нас решать не только вопрос, что думать, но и вопрос, что делать. После многих раздумий мы пришли к решению: добиваться сближения и возможных позднейших выступлений всех членов партии, согласных с Лениным в том, что социализм возможен только при полной демократии, и решительно рвущих с точкой зрения Сталина; согласной с тем, что социализм возможен лишь при полном устранении внутрипартийной демократии и вместе с этим — уничтожением всякой демократии. Старшие члены кружка, имеющие связи с задумавшимися и задающими себе вопросы людьми, должны образовать некое идейное единство.

Разговор двух членов партии по проблемам, относящимся к жизни партии, в данном случае впервые ставится под контроль органов безопасности. Мы столкнулись с этим фактом впервые, и нам не удалось уловить его общего значения. Очень скоро мы из своего горького опыта сумели извлечь вывод: не только грандиозные социальные процессы в крестьянстве, поставлено под контроль и управление органов безопасности; под контроль и управление поставлены также все процессы в толще и на поверхности партии. Формируется именно в это время новая политическая система: наверху Сталин со своим цеккистским аппаратом, ниже — партийные аппараты, которые при решающем содействии насилия, идущего из аппарата безопасности, регулируют нередко в громадном масштабе социальные процессы; этим же органам безопасности отныне поручен контроль и упорядочение процессов, идущих в партии. Безопасность под властью Сталина, партия под властью безопасности. В 1930—1931 годах мы смогли убедиться в этом, судя по нарастающему драматизму в положении нашего кружка, судя по тому, как быстро происходило переустройство советского строя.

Отступление. Мы задумались также над таким вопросом. Зачем требовались Сталину нелепейшие подстановки, не имеющие ничего общего с действительным содержанием разговора Сырцова с Ломинадзе? И пришли к единодушному выводу: здесь в политике Сталина складывается то, что можно было бы назвать приемом забывания. Подобно тому, как некоторые фамилии сделались запрещенными ко всякому упоминанию, также уже на ранней ступени конца двадцатых — начала тридцатых годов стало абсолютно запретным выражением — внутрипартийная демократия — а особенно: ленинская партийная демократия. (Тактика Сталина была проста и в какой-то мере эффективна: нужно замолчать — тогда забудут.) Но почему Сталин в данном случае обошелся без обычного жупела «троцкизм»: в этом случае никаких объяснений бы не требовалось. События очень скоро показали нам, в чем дело. «Троцкизм» равен окончательному отсечению. А Сталин со свойственным ему упорством не отказался от своего плана: связать Ломинадзе долгом благодарности, и тогда это чувство, в высокой степени свойственное Ломинадзе, начнет действовать не в его пользу.

Это была одна из любопытнейших интриг Сталина. Внезапно следует решение ЦК: направить Ломинадзе на большой моторостроительный завод в Москве. На следующий день после решения Контрольной комиссии я был вызван в ЦК к Маленкову, сказавшему: «Вы, кажется, беспокоитесь о рабочем классе.

Вот мы и решили послать вас плановиком в саратовское «Союзмясо». Сейчас же отправитесь в соответствующее министерство, вот бумага с адресом и указанием фамилии работника, к которому вам надлежит обратиться. Не позже завтрашнего дня отправляйтесь в Саратов». И он, не попрощавшись, стал читать какие-то бумаги.

А я тут же отправился в министерство, где тотчас получил назначение заведующим плановым отделом «Союзмяса» и билет на поезд следующего дня...



**Симон
Давыдович
ДРЕЙДЕН**

род. 1905

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

Дрейден Симон Давыдович, 1905 года рождения *, уроженец Ленинграда, еврей, беспартийный, сын частного предпринимателя (отец до 1917 года имел граверную мастерскую и типографию), образование незаконченное высшее (1 курс ЛГУ), театральный критик, член Ленинградского отделения Союза писателей, женат

жена — Донцова З. И.— артистка филармонии

сын — 1941 года рождения

проживали: Ленинград, ул. Чайковского, д. 43, кв. 6.

Арестован 23 декабря 1949 года Управлением МГБ по Ленинградской области.

Дрейдену С. Д. было предъявлено обвинение в том, что он, «являясь враждебно настроенным к существующему в СССР политическому строю,.. проводил антисоветскую пропаганду. В процессе литературной деятельности в извращенном виде изображал советскую действительность и после публичного разо-

* Симон Давыдович Дрейден умер в 1992 году.

блечения реакционной сущности его деятельности клеветал на политику ВКП(б) в области литературы и искусства, распространял клевету о подавлении свобод в СССР и о якобы имеющей место кампании по дискриминации евреев».

Постановлением Особого Совещания МГБ СССР от 28 июня 1950 года Дрейден С. Д. осужден по ст. 58-10 ч. I УК РСФСР на 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 24 апреля 1954 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 28 июня 1950 года в отношении Дрейдена С. Д. отменено и дело о нем направлено через прокуратуру СССР на новое рассмотрение со стадии предварительного следствия.

Постановлением Управления КГБ по Ленинградской области от 21 августа 1954 года следственное дело прекращено за недостаточностью предъявленного обвинения. Дрейден С. Д. из-под стражи был освобожден.

Симон Давыдович родился 19 декабря 1905 года (1 января 1906 года) в Петербурге.

Учился в школе № 15 (бывш. Техническое училище), где был участником встречи школьников с Гербертом Уэллсом, описавшем это в книге «Россия во мгле» (1920).

Уйдя со второго курса Ленинградского университета, в 1923—1924 гг. был секретарем К. И. Чуковского, введшего его в литературу.

Начиная с 1923 года опубликовал тысячи статей, рецензий, очерков в ленинградских, центральных и зарубежных газетах, журналах, сборниках. Некоторые из них вошли впоследствии в однотомник «Спектакли. Роли. Судьбы» (М., «Искусство», 1978).

Автор и редактор-составитель более чем 25 книг. Первая «Русская революция в сатире и юморе» (Л., 1924, под редакцией К. И. Чуковского), за которой последовали «1905 год в сатире» (1925), «1917 год в сатире и юморе» (1923), сценарий мультфильма «Сатира 1905 года» и другие.

Наряду с литературной работой преподавал на Высших курсах искусствоведения в Ленинграде, в ленинградском Техникуме печати, Ленинградском театральном институте, в московском ГИТИСе (семинары по театральной критике). До 1949 года был председателем объединения театральных критиков и театроведов при Ленинградском отделении ВТО.

Практическая работа в театре: был одним из организаторов и первым художественным руководителем Ленинградской го-

сударственной эстрады (1930—1932), зав. литературной частью ленинградского ТРАМа — Театра имени Ленинского комсомола (1934—1936), Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина (1941—1943), московского Камерного театра (1943—1946).

Член Союза советских писателей с 1938 года, Союза кинематографистов СССР (с основания Союза), ВТО — союза театральных деятелей (с 1936 года).

В годы войны работал корреспондентом в Совинформбюро и ТАСС. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

Симон Дрейден

КАТОРЖАНИН 50-х

Хотя последние тридцать лет я живу в Москве, но продолжаю считать себя ленинградским литератором, да и репрессирован был как ленинградский писатель. Родился в Ленинграде, с Ленинградом связано свыше полувека жизни, юношей состоял секретарем К. И. Чуковского, который и был крестным отцом моей первой книжки («Русская революция в сатире и юморе» Л., 1924), за которой пошли «1905 в сатире» (Л., 1925), «Ленин и искусство» (Л., 1926) и др. Всего в Ленинграде было издано тринадцать моих книжек (отпечатанный тираж одной из них — «Московский Художественный театр в Ленинграде» (Л., ВТО 1949) — был полностью уничтожен после моего ареста). Начиная с 1923 года, опубликовал в ленинградских газетах и журналах до тысячи статей и рецензий.

Двадцать с лишним лет я вел хоть в чем-то беспокойную, но в общем-то вполне благополучную жизнь преуспевающего театрального критика и театрального работника. И, вероятно, не без оснований пользовался репутацией беспартийного большевика. Писал в центральных газетах и журналах, ряд лет заведовал литературной частью вполне представительных театров (Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Московский камерный театр), а в 1930—1933 годах даже был первым художественным руководителем Ленинградской государственной эстрады. Выпускал книги, вел семинары театральной критики на ленинградских Высших курсах искусствознания, в Ленинградском театральном институте и московском ГИТИСе, а до войны был председателем объединения театральных критиков и театроведов при ЛО Всероссийского те-

атрального общества (ВТО). Грех жаловаться. И, вместе с тем, как и многие мои друзья-товарищи, поневоле начинал вести как бы двойную жизнь.

После убийства С. М. Кирова стал прозревать. Необъяснимость «процессов», аресты и гибель людей, имена которых неотделимы от истории революции, репрессии, обрушивавшиеся на окружающих, в честности которых не мог усомниться, чудовищность признания всеми обвиняемыми любой фантазмагорической вины,— все это не могло не привести в смятение, угнетало все с большей силой. Но чувства, связанные с этим, загонялись внутрь и лишь в разговорах с самыми близкими друзьями позволял себе «выпускать пары».

Так, вспоминаю горькие беседы с Николаем Павловичем Акимовым, когда он рисовал мой портрет. Чего только не говорили мы друг другу по поводу сталинско-гитлеровского стовора о дружбе и «ненападении» в те три-четыре вечера, когда он рисовал меня. Ненависть к фашизму, предчувствие неизбежности войны переполняли нас. На портрете это никак не отразилось. Вполне благополучный, иронично улыбающийся джентльмен средних лет.

Все уходило в еле слышные слова и потаенные мысли. Каковы бы ни были внутренние переживания и горечь наблюдений — на людях я был «как все».

Прорывало только изредка. Подавленный вакханалией, разгоревшейся вокруг «Сумбура вместо музыки» (Шостаковича знал и любил с детских лет, а «Леди Макбет Мценского уезда» славил сколько мог), попытался было печатно отвести удар от Шостаковича и неустанного его пропагандиста И. И. Соллертинского, за что и получил выговор по редакции «Вечерки» за политическую близорукость. Тем и кончилось. Отделался легким испугом.

Вскоре, однако, нависла большая угроза.

В 1938 году в ленинградское отделение Союза поступил донос от одного раскритикованного мною драматурга о том, что я занимаюсь собираньем антисоветских анекдотов. Самое время для таких «сигналов»! Руководители Союза почему-то не передали этот донос в Большой дом НКВД (а то попал бы туда на одиннадцать лет раньше), а создали собственную комиссию для разбора дела под председательством В. А. Каверина, сделавшего все возможное, чтобы дезавуировать обвинение. Доносчику не удалось привести сколько-нибудь убедительные доказательства моей вины и найти желающих к нему присоединиться. Вопрос был погашен. И на этот раз как будто пронесло, однако двенад-

цать лет спустя, во время следствия об этом доносе мне все же не преминули напомнить. Так или иначе я продолжал благополучно жить и действовать, писать, печататься, преподавать.

В послевоенные годы тучи на литературно-театральном небе стали все более сгущаться. «Ждановская жидкость» (как потом это называли) разливалась все гуще и зловоннее. Софроновско-суровская мафия набирала силу. Я все же какое-то время оставался на плаву.

14 января 1948 года в Ленинграде в помещении Дома искусств имени Станиславского должна была открыться городская театральная конференция. За несколько часов до открытия пришла весть, что накануне в Минске при каких-то непонятных обстоятельствах трагически погиб С. М. Михоэлс. Мне выпала грустная доля сообщить об этом собравшимся. Едва я начал говорить, все встали, и в скорбном молчании слушали мое поневоле затянувшееся слово о Михоэлсе как великом художнике, гражданине, Человеке. Деловую часть конференции начали только после долгой паузы. Спустя год выступление это было достаточно жестко вспомнано, как откровенно сионистская вылазка. Но тогда, в январе 1948 года, так же как и взволнованные газетные отклики С. В. Образцова и М. М. Тарханова на гибель С. М. Михоэлса, оно было воспринято как должное.

Летом того же 1948-го в ленинградской «Вечерке» были напечатаны мои хвалебные рецензии о михоэлсовском «Фрейлихес» и вахтанговской «Интервенции» Славина, показанными приехавшими на гастроли московскими театрами. В дальнейшем они также явились поводом к обвинению меня в злостном космополитизме. Но пока что я продолжал печататься и выступать. Едва мелькнули первые зарницы предстоящего разгрома критиков-антипатриотов, космополитов, началась неожиданная проработка моего давнего друга Леонида Малюгина за его книгу о Хмелеве. На диспуте в московском ВТО я яростно выступил в его защиту, говоря о вздорности возводимых на него клепов. После словопрений мудрый Леня мне сказал: «Кой черт тебя дернул заступаться за меня? Ты что, не понимаешь, что происходит? Мне не поможешь, а себе только навредишь...»

Я и в самом деле тогда еще наивно полагал, что все происходящее не выходит за границы литературы.

Тем временем в ленинградском ВТО уже была в наборе монография о МХАТе в Петербурге — Петрограде — Ленинграде, написанная мной совместно с А. А. Бартошевичем, и подписан к печати фолиант коллективного сборника «Ленинградские театры в годы Великой Отечественной войны» с моей большой ста-

твей о пушкинском театре *. А я по-прежнему числился руководителем ленинградского объединения театральных критиков и театроведов. Разгром неугодных критиков, однако, явно приближался. Предупреждения Малюгина оправдывались.

В конце декабря 1948 года ко мне неожиданно пришли товарищи по работе — критики Сократ Кара и Адольф Бейлин, и стали уговаривать меня не приходить на завтрашний актив ВТО в Доме искусств: «Там, вероятно, будут Вас критиковать, а Вам это ни к чему. Мало ли что будут говорить... Зачем нервы портить?»

Я поднял на смех их опасения. Имея репутацию неплохого оратора-полемиста, я полагал, что сумею отвести любые нападки. Они ушли ни с чем. Значительно позднее я узнал, что оба они, члены партии, были накануне на партсобрании, где обсуждался сценарий будущего актива ВТО, и потому по мере сил старались предостеречь меня, но, связанные партийной дисциплиной, большего, чем сказали, сообщить не могли.

В Дом искусств я, разумеется, пошел, заранее продумав хлесткие ответы на возможные упреки, хотя и не очень ясно себе представлял, в чем меня можно упрекнуть.

Началось собрание. Все какие-то хмурые, настороженные. Я — как огурчик. Слово для доклада предоставляется моему старому товарищу, с которым я был связан с самой юности. Он начал говорить — и сердце оборвалось, поверить не мог своим ушам. Речь шла главным образом обо мне, как сокрушителе основ социалистического реализма, враге отечественной классики, сознательно сбивающем с верного пути начинающих критиков.

Я был ошеломлен. Лишь накануне мы виделись с ним, говорили о чем угодно, но он ни слова не проронил о предстоящем.

Факт предательства был столь разителен, что у меня все потемнело и закружилось в глазах. Начался сердечный приступ. Меня вынесли в соседнее фойе, открыли настежь окна. Я продолжал задыхаться. Врачи «скорой помощи» возились со мной около часа. Едва уехали — второй приступ. Снова — «скорая».

* После моего ареста весь только что отпечатанный тираж книги «Московский Художественный театр в Ленинграде» был полностью уничтожен (сохранилось только несколько сигнальных экземпляров), а экземпляры уже поступившие в продажу сборника о ленинградских театрах в войну изъяты из библиотек и книжных магазинов, тем более, что в сборнике неоднократно упоминались руководители блокадного Ленинграда, осужденные по «ленинградскому делу».

В больнице я пролежал почти два месяца. С инфарктом переплелись воспаление легких и нервное потрясение.

День за днем расхлестывалась «космополитская» кампания, особенно усилившаяся после статьи «Правды» о «группе критиков-антипатриотов». В статьях, разоблачавших критиков, стало мелькать и мое имя, а «Ленинградская правда» даже поместила статью А. Г. Дементьева о травле мною «александринки» (где, к слову говоря, я в течение нескольких лет руководил литературной частью). Драматург Б. Ромашов, в свою очередь, писал в «Известиях», как травили лучших советских драматургов (сиречь Софронова, Сурова, его самого) «все эти гурвичи, юзовские, дрейдены». Но обо всех этих статьях я узнал значительно позднее, лишь возвратясь из больницы домой. В больнице я лежал в отдельной палате, отрезанный от мира. Ко мне приходили лишь жена и сынишка, да раз-два близкие друзья: Г. М. Козинцев, Е. Л. Шварц, С. В. Образцов, ни словом, разумеется, как и жена, не обмолвившиеся о том тягостном, что разыгрывалось в отношении меня за стенами больницы.

Выйдя из больницы, я впервые, на сорок четвертом году жизни, стал безнадежно безработным. Как и другие, публично осужденные большие и малые космополиты, я был наглухо лишен доступа к печати. Тех, кто служил, выгнали с работы. Я нигде не служил, но все газеты, журналы, издательства, в которых я прежде сотрудничал, были мне теперь недоступны. Не могло быть и речи о каких-либо выступлениях в лекториях или на радио, где меня когда-то охотно привечали. Каждый из нас, отторгнутых от литературы, пытался как-то по-новому устроить свою жизнь. Банковских счетов и сбережений почти ни у кого не было, одной распродажей своих библиотек не проживешь, а содержать себя и семью надо было.

Кое-кто из знакомых подбрасывал мне работенку — редактуру переводов, подбор материалов для комментирования каких-либо изданий, намереваясь при первой же возможности сослаться при издании на мое участие в работе. Договоры со мною расторгались. Незадолго до моего «грехопадения» мной и моим старым приятелем, профессором С. С. Даниловым был подписан договор с издательством «Искусство» на книгу о Е. П. Корчагиной-Александровской (до этого тем же издательством были выпущены ее же «Страницы жизни» в литературной записи Данилова и моей). Понимая, что в существующих условиях книга вряд ли может быть издана под моей фамилией, я упорно продолжал работать над подборкой для нее материалов, записывал рассказы «тети Кати» (как все звали Екатерину

Павловну), относившейся ко мне наисердечнейше *. Был уверен, что не может же такое продолжаться до бесконечности. Эту веру в неизбежность перемен (честно говоря, веру, ни на чем не основанную) я не оставил и потом, пребывая в лагере:

— Вы еще будете читать мои книги! — сказал я при прощании с товарищем по несчастью, талантливым топонимиком В. Никоновым, отсидевшим десятилетний тюремно-лагерный срок от звонка до звонка и уходившим в ссылку. Он усмехнулся. В 1957 году, когда я случайно столкнулся с ним, также успешным выпустить новую книгу, в Библиотеке имени Ленина, он, едва увидев меня, сказал: «Один ноль в вашу пользу».

Но все это происходило уже потом, пока же, едва я был арестован, издательство тотчас же договор на книгу расторгло.

Так и шел месяц за месяцем. Порой, казалось, тучи начинали рассеиваться, хотя на нашем положении это пока никак не отражалось. Но грянуло и ошеломило так называемое «ленинградское дело», когда под нож попали почти все, кто возглавлял оборону Ленинграда в дни блокады. Меня все еще не трогали, из Союза писателей и Литфонда не исключали, так что я мог беспрепятственно пользоваться писательской поликлиникой, что было тем более кстати — ВТЭК признал меня инвалидом.

Наступил праздничный день 21 декабря 1949 года — семидесятилетие Сталина.

Давний друг, талантливый артист Юрий Толубеев уговаривал во что бы то ни стало посмотреть его в роли Сталина в инсценировке одной из глав «Счастья» Павленко, которую он вечером 21 декабря должен был играть в Доме писателя и просил прийти туда. Я не решился отказаться и в одиннадцатом часу вечера пошел.

Когда я вернулся домой, не слишком вдохновленный игрой любимого артиста, дверь открыл какой-то незнакомый человек. Меня ждали гости в штатском. Один из них предъявил мне ордер на арест. Обыск длился до раннего утра. Рядом с «черным вороном» у подъезда стояла легковая машина, которую до отказа нагроулили отобранными у меня рукописями, письмами, документами и десятками книг, в том числе таких крамольных, как «Стенографический отчет 1-го съезда писателей», стихи Ахматовой и Гумилева и множество изданий с дарственными авторскими надписями. Через несколько минут я оказался на улице Воинова (ныне Шпалерной), на другом конце которой, в Доме писателя, я только

* При аресте с большей частью моего архива у меня конфисковали и большинство этих записей.

что лицеизрел толубеевского Сталина. Сколько лет я жил по соседству с Большим домом и не подозревал, что во внутреннем дворе его таится знаменитая Шпалерная тюрьма, которая, наивно полагал, давно уже была, как Бастилия, разрушена.

О том, какова механика так называемой очной ставки, я, откровенно говоря, имел самое смутное представление. В 1937 году был, правда, на премьере пьесы братьев Тур и Шейнина «Очная ставка», обличавшей зарубежных шпионов (лишь много лет спустя узнал, что Туровский соавтор — следователь по особо важным делам Л. Шейнин был мастаком заплочных «очных ставок», но в пьесе это отразилось едва-едва). Соболезновал талантливым актерам, вынужденным исполнять эту драмодельскую стряпню и не замедлил начисто выбросить из памяти. Что же касается уголовно-процессуального кодекса, где может быть и было что-либо об очных ставках, то он не входил в круг интересующей меня литературы. А когда, сидя в тюрьме, я попросил следователя познакомить меня с этим самым кодексом, то нарвался на резкий отказ: «Не положено».

Следствие тянулось долго и мучительно. Следователи смеялись друг друга. За первым, которому никак не удавалось добиться желаемых ответов, на вахту заступал другой, за этим — третий, уже более высокого ранга, являвшийся, как я мог понять, одним из руководителей секретно-политического отдела ленинградского управления НКВД (так он, кажется, именовался). Вел он допросы уже не в помещении тюрьмы, а в своем импозантном кабинете в главном здании Большого дома. Из окон, выходивших на Литейный проспект, все время в час допроса, если он производился днем, доносился уличный шум, звонки трамваев, детские голоса. Порой мне слышался голос сына, и это было особенно нестерпимо.

Обвинения видоизменялись. То я был японским шпионом (основания: после ареста в 1937 году моего близкого друга талантливого ученого-востоковеда Д. П. Жукова, несколько лет являвшегося секретарем нашего торгпредства в Токио, автора первого русско-японского военного словаря, я посильно помогал его семье, значит и я японский шпион). То оказался руководителем ленинградского филиала могучей сионистской организации, название которой никак не мог запомнить, — теперь знаю: «Джойнт» (основание: мои дружеские отношения с погибшим С. М. Михоэлсом и арестованным к тому времени В. Л. Зускиным). Ну и конечно «космополитские» статьи и «антисоветская» агитация, заключающаяся в разговорах, унижавших исторические заслуги Сталина, Жданова и Маленкова (в протоколах доп-

росов эти фамилии не упоминались, а заменялись обезличенным «руководящие деятели»).

Конкретных доказательств, если не считать известных по печати обвинений в космополитизме-антипатриотизме годичной давности, не приводилось. Дело явно не клеилось. Следствие тянулось уже четвертый месяц. Всему, очевидно, были свои сроки. Ничего порочащего ни меня, ни моих знакомых добиться от меня не удавалось. Раздраженный следователь наконец угрожающе сказал:

— Вы, очевидно, так и не хотите помочь следствию и самому себе. Будем вас изобличать.

В чем заключался таинственный процесс предстоящего «изобличения», я узнал вскоре.

Придя (точнее — будучи выведен из камеры и проведен через огромную, нависшую над двором застекленную галерею, соединявшую внутреннюю тюрьму с Большим домом) на очередной допрос, я увидел в кабинете следователя еще одного человека. Давний знакомый:

— Здравствуйте, Сима.

— Здравствуйте, Коля.

Мельком взглянул на ботинки. Зашнурованы. Значит, с воли (у заключенных сразу же отнимали помочи, ремни, галстуки, шнурки — не дай бог, еще удавится, повесится и помешает этим правосудию).

С Николаем Григорьевичем Дембо я был знаком еще с двадцатых годов, когда мы сталкивались в редакционных коридорах. Ничего общего, кроме чисто журналистских дел, нас не связывало. Тихий-тихий, вежливый, аккуратный, исполнительный. Перекинулись двумя-тремя словами по делу — и до свидания. Как все давно знакомые журналисты-однолетки звали друг друга по имени, тем и ограничивалось. Домами не дружили (хотя и я, и жена были «шапочно» знакомы с его женой, Раей, работавшей секретарем директора какого-то театра). Где и как он живет, не имел никакого представления. Вообще не виделись десятком, если не больше, лет, как вдруг, весной 1938 года он появляется в моей больничной палате. Говорит, что в той же больнице лежит его жена, решил меня по пути проведать. Начался довольно вялый разговор. Как бы между прочим он сообщил мне, что дали Сталинскую премию пьесе Сурова «Зеленая улица».

— Зря дали. Плохая пьеса, — достаточно равнодушно заметил я, и на этом, помнится, аудиенция оборвалась.

И вот, спустя годы, мы снова с ним встречаемся, но уже совсем в иных обстоятельствах.

Следователь вел протокол и, закончив его, дал Дембо на подпись. Тот прочитал и стал подписывать каждый лист. Следователь передал все эти листы на подпись мне.

И тут вновь начало происходить все то, что уже не раз случилось на предыдущих допросах, едва дело доходило до оформления протоколов. Ответы Дембо записывались следователем так:

— Рассказывал ли Дрейден антисоветские анекдоты?

— Да, рассказывал.

— Что ответил Дрейден, когда вы ему сказали о Сталинской премии Суворову?

— Он сказал, что Сталинские премии дают за взятки и покумовству.

И все дальнейшее в таком же духе.

Я, как это бывало и прежде в аналогичных случаях, категорически отказался подписывать протокол.

— Свидетель этого не говорил. Ответы записаны неправильно.

— Вы опять клеветеете на органы! — возмутился следователь.

— Свидетель Дембо, ответы записаны правильно?

— Да, правильно.

Так начался процесс «изобличения», цинизм и преуказанность которого все больше обнажались от одной «очной ставки» до другой, пока следователь и его кураторы не сочли возможным, наконец, поставить точку.

Забегая вперед, скажу, что спустя какое-то время после того, как меня известили, что «следствие завершено», мне, согласно букве закона («буква» эта издевательски формально соблюдалась тщательно), дали на час-два для ознакомления папку с моим «делом».

Оно начиналось с доноса, на полях которого были начертаны визы: санкция прокурора на мой арест и «Не возражаю. Секретарь правления Союза писателей СССР А. Софронов» * (для ареста писателей, причисленных, по-видимому, к лицам номенклатурным, требовалось, очевидно, одобрение руководства ведомства).

* А. В. Софронов долго держался у руля. Был одним из зачинщиков травли критиков-антипатриотов, мешавших ему продвигать свои пьесы. В 1981 году за прославление в редактируемом им «Огоньке» Брежнева и брежневщины был вознагражден званием Героя Социалистического Труда. После апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года заметно сник, был отставлен и от руководства литературой, и от редактуры «Огонька», а пьесы, лишившись административной поддержки, незамедлительно сгнули с театральных афиш.

В своем доносе, озаглавленном «Заявление», художественный редактор Ленинградского отделения издательства «Искусство», член КПСС Н. Г. Дембо писал, что считает своим гражданским долгом сообщить органам безопасности, что известный театральный критик С. Д. Дрейден систематически ведет антисоветскую агитацию.

Тут-то до меня и дошло, что «очная ставка» с Дембо (как, впрочем, и последующие) была ничем иным, как отрепетированной инсценировкой по уже разработанному сценарию.

После прочитанного меня не переставала мучить мысль о том, как сообщить на волю про роль Дембо в моих злоключениях. Мало ли кого он мог еще посадить (или уже посадил) своими доносами.

Перед отправкой на этап осужденным в 1950 году предоставлялось право на первое (и последнее) короткое свидание с родными.

Всю ночь перед этим свиданием я мучительно раздумывал, как бы хитроумней сказать о Дембо, не назвав его фамилию. И, наконец, придумал: «Передай особый привет мужу Раи, вместе с которой находился в больнице».

Пошла минута свидания. Увидал жену, я еще рта не успел раскрыть, как она меня спросила: «Кому передать особый привет?..» (Что это? Передача мыслей на расстояние?) Я повторил заранее подготовленную фразу. Она понимающе кивнула головой, и уже через день-два все наши общие друзья (а те, в свою очередь, передавали другим) знали все нужное о Дембо.

Время шло. Продлевать сроки следствия до бесконечности, видеть, нельзя было. Надо было закругляться. И тогда, очевидно, было решено прибегнуть к более действенным способам «изобличения» — «конвейеру»: тебе не дают хоть на минуту сомкнуть глаза. И так день за днем, ночь за ночью, пока не помутнеет в голове и в полусознании утратишь волю к сопротивлению. О том, что такое может быть, я не имел ни малейшего представления.

Первые дни и ночи «конвейера» я это как-то переносил. «Сова» по натуре, я привык работать ночами. Но дальше начал сдавать; к концу недели стало совсем плохо. Голова гудит, все кружится перед глазами. При каждом стуке и окрике надзирателя, вздрагиваю, и снова клонится голова, и снова окрик, а то и, войдя в камеру, надзиратель бесцеремонно тормозит меня. Однажды днем я потерял сознание и грохнулся на каменный пол камеры. Вбежал надзиратель, вызвал тюремного врача и тот, по-

щупав пульс, убедился, что нет ушибов, и удалился восвояси. Мой «тихий ад» (образное словосочетание В. Ходасевича) возобновился.

В ночь после этого меня уже не беспокоили.

Через какое-то время меня вызвали и сообщили, что следствие считается законченным.

Шел день за днем мучительного ожидания суда, пока меня однажды не повели в кабинет какого-то тюремного начальства и предложили ознакомиться с приговором. Он был вынесен заочно Особым Совещанием (ОСО): по статье 58-10, часть 1 — десять лет исправительно-трудового лагеря с последующим поражением в правах на пять лет.

Я был ошеломлен. Конец еще одним иллюзиям.

Меня перевели в общую камеру, битком набитую осужденными. Ветераны-«повторники» (в это время проходили массовые аресты и высылки ранее судившихся и отбывших свои сроки) делились с «новобранцами» своим опытом, давали советы и наставления. Кто-то повторял давнее тюремное присловье: «Лучше конец ужаса, чем ужас без конца». Наконец, раздалось долгожданное: «На выход. С вещами». Предстоял этап...

Куда направят, разумеется, не знал до самого прибытия на место назначения, в глубине Сибири. Мне относительно «повезло». Попал не на лесоповал или в колымские рудники, а в сельскохозяйственный лагерь, считавшийся инвалидным (что не мешало в страдную пору выгонять на поле всех поголовно, включая стариков, еле передвигавшихся на ногах, калек, одноруких. Не трогали только уголовников, находившихся «в законе»). Несмотря на высокий срок, свою роль, возможно, сыграло то, что еще до ареста, я числился инвалидом, а к концу следствия уже был полным доходягой.

Умер Сталин. Впоследствии приходилось слышать рассказы (передававшиеся, по большей части «из третьих рук», «по испорченному телефону»), что в лагерях известие об этом было встречено общим массовым ликованием. Возможно, где-то так и было. Во всяком случае в нашем лагере скорее было чувство некоторой растерянности — что будет дальше? То, что у кормила власти оставалась все та же сталинская гвардия — Берия (имя которого вызывало содрогание, было враждебно даже уголовникам, почитавшим Сталина), Маленков, Молотов, Каганович — исключало эйфорию.

Мы же по-прежнему оставались за колючей проволокой лагеря. Проблеск надежды на лучшее возник, когда радио донесло весть об аресте и казни Берии. Лагерное начальство так опеши-

ло, что от растерянности выпустило из штрафного изолятора всех там сидевших. Один из надзирателей попросил меня зайти в комендатуру и там, заперев дверь и оглянувшись, не подслушивает ли кто-нибудь, стал тревожно расспрашивать, как я, ученый человек, думаю, что бы это означало. «Ученый человек» и в самом деле ничего не мог разъяснить. Казнь Берии ничего не изменила.

Шел месяц за месяцем. В столице произошел дворцовый переворот. Генсеком стал Хрущев. А мы все там же.

Со смерти Сталина прошло уже более года, почти полтора, когда первой ласточкой явилось неожиданное, досрочное освобождение «вчистую» и отъезд домой, в Москву, А. Г. Алексева. Это был старейший мастер эстрады, режиссер, драматург, артист, особенно прославившийся как конферансье*.

После смерти Сталина, спустя какое-то время, меня вызвали к начальнику лагеря и тот мне сообщил, что получена правительственная телеграмма о том, что Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР по протесту Генерального Прокурора СССР отменила вынесенный мне 28 июня 1950 года приговор и дело направлено на дополнительное расследование.

И вот я снова на «Шпалерке», в хорошо знакомой внутренней тюрьме. «Переследствие» оказалось чистой формальностью. Разговор со следователем и прокурором продолжался едва ли час-два. Вопрос о моей реабилитации был, очевидно, предreshен, как и в свое время мое осуждение (в дальнейшем массовая реабилитация таких «преступников», как я, проводилась уже без всяких вызовов на доследование).

В милиции тотчас же выдали новый паспорт. В Союзе писателей произошла небольшая заминка. Я был первым реабилитированным из многих десятков репрессированных ленинградских писателей. Секретарь ленинградской писательской организации, поздравив меня с возвращением, признался, что не знает, как оформлять мое восстановление в Союзе. Позвонил в Москву, А. А. Суркову.

Тот спрашивает:

— А с какой формулировкой вы его исключали?

* А. Г. Алексеев (1887—1985) не дожид до своего столетия два года, сохранив до последних дней неиссякаемое остроумие. Вышло так, что один из первых его концертов по возвращении в Москву оказался в клубе НКВД. Выйдя на просцениум, он, оглядевши зал, промолвил:

— А все-таки это приятно, что я стою, а сидите — вы.

— А мы его не исключали.

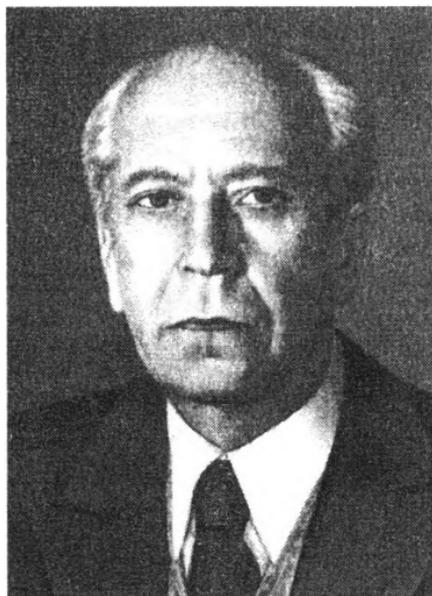
— ?!?

— Мы его считали автоматически выбывшим.

— Ну, так и считайте автоматически прибывшим.

И я автоматически снова стал членом Союза писателей, состоял в котором еще с середины тридцатых годов...

Через несколько дней мне позвонили из издательства «Искусство» с предложением восстановить аннулированный после моего ареста договор на книгу о Корчагиной-Александровской. Я сразу же вошел в работу, пытаюсь хотя бы частично восстановить навсегда утраченные материалы, отнятые у меня вместе с большей частью моего архива при аресте. Гриф «хранить вечно» относился только к следственным делам. Книга «Е. П. Корчагина-Александровская» вышла в 1955 году. А за ней пошло и пошло...



**Дмитрий
Сергеевич
ЛИХАЧЕВ**

род. 1906

Министерство безопасности России
28 сентября 1993 года
№ 10/16—10807

Лихачев Дмитрий Сергеевич, 1906 года рождения, уроженец Санкт-Петербурга, русский, с высшим образованием, беспартийный, гражданин СССР, до ареста безработный, проживал по адресу: Ленинград, ул. Гатчинская, 26—3а.

Арестован 8 февраля 1928 года ПП ОГПУ ЛВО по обвинению в пр. пр. ст. 58-11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению к/р преступления). Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 октября 1928 года определено содержание в концлагере сроком на 5 лет.

Постановлением Коллегии ОГПУ от 2 октября 1932 года во изменение прежнего постановления Д. С. Лихачева определено лишить права проживания в 12 п. п. и Уральской области с прикреплением к определенному месту жительства на оставшийся срок.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 27 июля 1936 года судимость с Д. С. Лихачева снята.

Д. С. Лихачев реабилитирован по заключению зам. прокурора Санкт-Петербурга 12 февраля 1992 года.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Лихачев Дмитрий Сергеевич (28.11.1906, Петербург) — литературовед, критик. Действительный член АН СССР. Дважды лауреат Гос. премии СССР (1952 — за научный труд «История культуры Древней Руси», в 2-х тт., коллективная работа; 1969 — за книгу «Поэтика древнерусской литературы»). Окончил Ленинградский университет по романо-германским и славяно-русским секциям этно-лингв. отделения факультета общественных наук (1928). Первую научную работу написал в студенческие годы. После окончания университета был редактором в издательствах. В 1938 стал научным сотрудником ИРЛИ, с 1954 заведует отделом древней русской литературы. Перевел с древнерусского языка «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», воинские повести и другие памятники старинной русской письменности. Инициатор и редактор многих коллективных научных трудов и изданий в области древнерусской и новой русской литературы. Участвовал в написании академической «Истории русской литературы», написал ряд глав в коллективном труде «История культуры Древней Руси», в «Очерках по истории СССР» и многие другие. Автор статей: «Будущее литературы как предмет изучения» («Новый мир», 1979, № 9), «Заметки о русском» («Новый мир», 1980, № 3). Награжден медалью «За трудовое отличие» и болгарским орденом Кирилла и Мефодия I ст. В 1980 стал первым лауреатом Международной премии им. братьев Кирилла и Мефодия.

Оборона древнерусских городов. Л., 1942.— В соавт. с М. Тихановой; Национальное самосознание Древней Руси. М.— Л., 1945; Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода XI — XVII вв. Л., 1945 и 1959; Культура Руси эпохи образования русского национального государства. Л., 1946; Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.— Л., 1947; Слово о полку Игореве: Ист.-лит. очерк. М.— Л., 1950 и др. изд.; Возникновение русской литературы. М.— Л., 1952; Изучение древней русской литературы за последние десять лет: М., 1955; Человек в литературе Древней Руси. М.— Л., 1958; Культура русского народа X — XVII вв. М.— Л., 1961; «Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. Л., 1961 и 1967; Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. Л.— М., 1962; Текстология: На материале русской литературы X — XVII вв. М.— Л., 1962 и 1964; Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967 и др. издания; Человек в литературе Древней Руси. М.— Л., 1970; Художественное наследие

Древней Руси и современность. Л., 1971.— В соавт. с В. Лихачевой; Развитие русской литературы X — XVII вв.: Эпохи и стили. Л., 1973; Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975; «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.— В соавт. с А. Панченко; «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978.

Дмитрий Лихачев

СОЛОВКИ

Вспоминая сейчас то, что было более шестидесяти лет тому назад, я прихожу к выводу, что самое трудное — восстановить время, когда произошло то или иное событие. Я ясно помню, зрительно помню, почти вижу людей, их лица, природу вокруг Соловецкого кремля, роты, поверки, слышу расстрелы, вспоминаю содержание разговоров, но расположить все это в хронологически правильном порядке очень трудно. Как будто бы в моей памяти фотографические пленки с событий, записи разговоров, но они лежат не по порядку. Вот почему я избрал «топографический» принцип в расположении своих воспоминаний: по местам и о местах заключения. Как ни странно, вспоминая именно так, мне постепенно удается восстанавливать и последовательность всего происходившего.

Из разговоров на Соловках в 1929 году я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но неизвестны.

Что же это было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был — между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка была при входе и выходе у тринадцатой роты — рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками (дрынами) наводили порядок. И при этом вход и выход был не каждому — только с нарядами. Ночью проходы между зданиями затихали...

Существовали безымянные лагеря в лесу. В одном из них я был и заболел от ужаса увиденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были болота и валуны), заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна вроде нар; центральный проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы залечь в такой траншее спать, надо было переступать через уже лежавших. Крышей служили поваленные елки и еловые ветви.

Когда я был в такой траншее, чтобы спасти из нее детей, то в этой траншее «шел дождь»: снег сверху уже таял (это был март или апрель 1930 года), сливался и на земляные лежбища, и в центральную канаву, которой надлежало быть проходом.

Я уже не говорю о «комариках» (наказание, применявшееся летом), о том, как не пускали на ночь и в эти траншеи, когда не выполнялся «урок» или «ударный» план... После одного такого посещения в 1931 году у меня открылись сильнейшие язвенные боли, которые вскоре прошли, так как появилось язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах»...

В этих-то лесах главным образом и погибали заключенные.

В тридцатом году осенью умерли тысячи «басмачей» — изнеженные мужчины в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие в кремле, не успели перехватить из тринадцатой и четырнадцатой рот...

В нашей камере, за окном которой часто посвистывали и пыхтели паровозики Солжеде, жило пять человек. Один топчан стоял под окном, примыкая к подоконнику, а вдоль длинных стен стояло по два топчана (впрочем, вместо одного из топчанов помещался жесткий деревянный монастырский диван). Меня, как новичка, да к тому же и самого молодого, положили под окно, из которого нещадно дуло. Другие четверо были любопытными людьми. Прежде всего — А. Н. Колосов — «папашка», как его звали в криминальном кабинете молодые, обожавшие его люди. Он носил великолепную седую бороду, которую, впрочем, хвалился сбрить, как только получит свободу. Каждое утро он вставал раньше других, массировал лицо, расчесывал бороду перед маленьким зеркальцем.

Был ли он самовлюбленным человеком? Нет, думаю, он хотел вернуться к семье «таким же» — красивым, моложавым, учтивым, интеллигентным. Я это понял, когда приехала на свидание его элегантная жена и хорошенькая дочка, с которыми он нас всех «кримкабовцев» познакомил в «шалмане», нанятом для свидания у какого-то блатного заключенного. Но о «папашке» — в дальнейшем.

Другим моим сожителем по камере в третьей роте был Борис Николаевич Афинский. Это был кассир УСЛОНа. Кем он был на воле, не знаю. Был он всегда в хорошем настроении и разыгрывал из себя влюбленного (а может, и в самом деле?) в молодую женщину, работавшую в музее. Звал он ее в своих рассказах «Душенька». Как была ее фамилия, я не знаю. Он обязательно рассказывал по вечерам: встретил ли ее на улице, когда вели партию женщин, или в УСЛОНе, или в том же музее, куда ему

удавалось иногда прорваться, но не поговорить с ней. Она была красива лицом, носила длинные юбки до пят, имела синие глаза. Вся камера радовалась, когда ему удавалось увидеть ее хоть секунду. Он смеялся, все смеялись, но всегда прилично. Когда все в камере собирались пить на ночь кипяток из своих железных кружек, первый вопрос задавался Афинскому: «Ну как Душенька? Удалось ли взглянуть?» Я помню его худое лицо с тонкой иссохшей кожей. Мы с ним иногда поздно вечером ходили зимой 1929 года на Святое озеро покататься на коньках, которые были нам сделаны на мехзаводе из сломанных двуручных пил. Прекрасные были коньки! Однажды мы пошли кататься в какой-то черный туман. Мороз был сырой и суровый. Взявшись за руки, мы разучивали «голландский шаг». Афинский был в арестантском бушлате. Заболел. Пришлось положить в лазарет. Я навещал его. Он был чрезвычайно слаб, но улыбался мне и говорил, что выздоравливает. Воспаление легких наложилось на его извечный туберкулез. Он умер, и тело выбросили в какую-то заготовленную с осени яму. Наверное, голым: бушлат и старая его одежда были нужны другим...

Нашим сокамерником был генерал Осовский из старой дворянской фамилии, восходившей, по его словам, к византийским Палеологам. Мы в шутку называли его претендентом на греческий престол и пытались, смеясь, спрашивать его о «греческих делах». Шутки как-то не выходили. Он работал сторожем, а сторожам ничего не давали на квитанцию (нам, работавшим, давали рублей по девять в месяц, и мы покупали себе сухофрукты и селедки в часовне Германа Соловецкого, превращенной в ларек). У меня была банка сгущенного какао. И когда вечером Осовский садился против меня со своей кружкой пустого кипятка, я давал ему ложку сгущенного какао. Это не нравилось «папашке», который неизменно говорил ему, что надо пойти работать на оплачиваемую должность. Я помню, как получил он письмо от своей матери из Парижа, в котором она жаловалась на скуку, несмотря на свое увлечение карточной игрой в покер. Письмо разозлило его страшно. Как может она ему, «мученику», жаловаться на скуку, да еще играя в азартную игру по вечерам?! Впрочем, о своем здоровье он заботился — выходил по утрам до проверки на улицу, раздетый до пояса (вернее — до своих генеральских брюк с красными лампасами), и обтирался снегом. В 1929 году его освободили по болезни и отправили в ссылку.

Еще один заключенный был барон Дистерло. Вот уж в ком не было ничего баронского. Я бы его назвал веселым простым парнем. Часто хохотал. Был вечно деятельным, подвижным, не-

унывающим. Казалось иногда, что он доволен своей жизнью. Отличный товарищ, всегда готовый помочь другим, хотя бы своей физической силой. Был он тоже, как и Афинский, каким-то счетным работником в УСЛОНе...

Загадок передо мной память оставила много. То я ясно вижу перед собою мельчайшие подробности, прямо-таки картины, то не помню основного.

В третьей роте по утрам бывали поверки. Освобожден от них был только «папашка». Мы выстраивались в коридоре, пересчитывались, выслушивали постоянные нотации командира роты Егорова. Егоров был строевой офицер, требовал, чтобы топчаны были аккуратно заправлены, в камерах — чисто. Заслоненный тюфяком с соломой, подушкой с сеном, которые мне добыл Федя из сельхоза, висел у меня серебряный складень, который дали мне при прощальном свидании мои родители. Складень у меня быстро пропал: взял его Егоров («не положено»). Вернуть себе его я не смог («не положено, не положено!»).

Лето 1929 года было теплым и прекрасным. Шли этапы, к которым надо было быть готовым. Я научился уже давно держать вещи собранными к вызову: «Вылетай пулей с вещишками!» К осени аресты стали расти. Арестовали Сиверса, Готерона де ла Фосса, арестовали моего знакомого с сортоиспытательной станции (теперь на ее месте аэродром), но главные аресты пришлось на октябрь. Арестовали Георгия Михайловича Осоргина — делопроизводителя санчасти, освобождавшего от тяжелых работ многих интеллигентов. Помню его отлично. Бравый блондин среднего роста в круглой шапке чуть-чуть набочок («два пальца над правым ухом, три — над левым»). Часто он ходил в мороз с открытой головой. Всех, кого арестовывали, уже не выпускали, они были обречены. Неожиданно к Георгию Михайловичу приехала жена на свидание. Под честное слово (были ж такие времена!) его выпустили из карцера. Затем приказали уговорить жену уехать на два или три дня раньше. Он это сделал. Жене он не сказал, что будет расстрелян. В день расстрела арестовали (добавили к списку) Багратуни, Гацука и Грабовского — всех троих на спортстанции. Я перечислил немногих из своих знакомых, тех, кого помню.

28 октября по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с какого-то часа вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы поняли. В молчании мы сидели в своей камере в третьей роте. Раскрыли форточку. Вдруг на спортстанции завыла собака Блек. Это выводили первую партию через Пожарные во-

рота. Блек выл, провожая каждую партию. Говорят, в конвое были случаи истерик. Расстреливали двое франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка: «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев и наш начальник культурно-воспитательной части Дм. Вл. Успенский.

Про Успенского говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он убил своего отца (по одним сведениям дьякона, по другим — священника). Срока он не получил никакого. Он отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при расстреле. Ведь расстрелять надо было триста или четыреста человек. Часть расстреливали на Секирке.

С одной из партий получилась заминка в Пожарных воротах. Высокий и сильный одноногий профессор Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как замороженные. Расстреливали прямо против женбарака. Там слышали и понимали — начались истерики. Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали пьяные палачи. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой шевелилась.

Мы в камере считали число партий, отправленных на расстрел, по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

Осенью ко мне приехали на свидание родители. Мы жили в комнате вольнонаемного охранника (были охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на «Глебе Бокком» и договорились о его комнате за плату. Комната была в гостинице, что на горушке сзади УСЛОНА.

Я жил у родителей, аресты шли. Однажды ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную работу, и ушел: первая мысль была — не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову, в комнату, где он жил над шестой ротой и Филипповской церковью. Стучусь, он не открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец, Мельников мне отворяет. Он одет. За столом сидит молодая женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах.

Увидев меня, Мельников успокоился. Успокоился и сделал мне строгое внушение: «Если за вами пришли, нечего подводить других. За вами могут следить». Дверь захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под расстрел.

Выйдя на двор, я решил не возвращаться к родителям, пошел на дровяной двор и запихнулся между поленищами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока не повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Чего я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С той страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насыщенным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишним днем. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще: так как расстрел в этот раз производился для острастки, то, как я узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек. Ясно, что вместо меня был взят кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы тому, которого взяли за меня, не было стыдно!..

Между тем новая погоня за благосклонностью Сталина овладела головами начальства. С Соловков начался массовый вывоз заключенных на материк. Задолго до официального открытия строительства, соединяющего Белое и Балтийское моря, в Медвежьей Горе уже строилось здание нового управления Беломорканалом, воздвигались бараки для заключенных в Медвежьей Горе и Повенце.

Уехал и Володя Раков, и Федя Розенберг, и многие другие. Жить стало еще тоскливей. Я подружился с племянником Короленко — сыном его брата Владимиром Юльяновичем Короленко. Он часто приходил в кримкаб, благо, работал в том же здании УСЛОНа. Он тоже получил пропуск, и мы вместе гуляли с ним по окружающим кремль лесам, восхищались красотой острова, небес, игрой красок на море, закатами.

Я считал своим долгом ходить на Пересыльный пункт и выручать оттуда интеллигентных людей. Помню, что я выручил оттуда Михаила Дмитриевича Приселкова — замечательного историка русского летописания. Предложил ему работать в музее (договорившись с Н. Н. Виноградовым), но Михаил Дмитриевич отказался.

В другой раз я выручил из Пересыльного пункта историка Василенко.

Федя из Медгоры слал мне вызов за вызовом. Не хватало счетного персонала. На воле стали срочно арестовывать бухгал-

теров, даже самых молчаливых, на которых нечего было доносить. Меня Федя характеризовал как выдающегося счетного работника, которому можно поручить главную картотеку Беломорканала. Меня вызвали с вещами («Вылетай пулей с вещишками!»). У меня уже был заказан чемодан — очень прочный: из фанеры, оклеенной старой лазаретной простыней, и покрашенный в коричневый цвет.

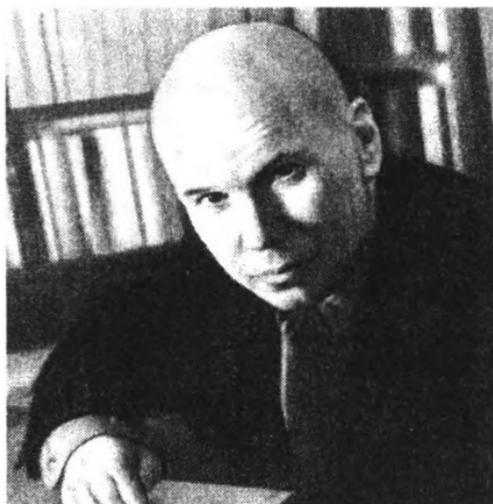
В следующий приход «Глеба Бокия» я выехал в Кемь. Я уже свободно стоял на палубе, смотрел на удаляющийся остров.

И вдали промелькнули огоньки:

Соловки, Соловки, Соловки...

Ночевал я в Кеми на Вегеракше в бараче, а утром в вагонзаке с другими меня отправили в Медвежью Гору.

Приезд в Медвежью Гору был для меня праздником. Я чувствовал освобождение, хотя предстояло перенести немало жестокого. Но я видел через цепи конвоя «вольных» людей, свободный город. Это так важно. К тому же после тьмы соловецких зимних дней здесь сверкало солнце...



**Адриан
Владимирович
МАКЕДОНОВ**

род. 1909

Из книги «Писатели Ленинграда»

Македонов Адриан Владимирович (22.05.1909, Смоленск)*— критик, литературовед. Доктор геолого-минералогических наук, старший сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института. Окончил педагогический факультет отделения языкознания и литературы Смоленского университета (1930), аспирантуру при Смоленском пед. институте (1936), географический факультет Саратовского университета (1952). В 30-е гг. был сотрудником смоленских и центральных газет и журналов. С конца 30-х гг. по 1960 жил и работал на Севере, где приобрел специальность геолога. Начиная с 1928 опубликовал более двухсот статей и рецензий по советской, русской и зарубежной литературе и по вопросам эстетики, в том числе циклы статей о Пушкине и Белинском («Литературный критик», 1935—1937). Важнейшие статьи последних лет: «Правда поэзии» (1968), «Личность ученого в художественной литературе» (1974), «Анализ художественного мастерства» (1975), «Анализ лирического стихотворения» (1976), «О Твардовском» (1971), «Вадим Шефнер» (1977), «Александр Гитович» (1979), «О некоторых аспектах отражения НТР в советской поэзии» (1980), «К методологии изучения творческой лаборатории писателя» (1980).

Очерки советской поэзии: Сб. статей. Смоленск., 1960; Николай Заболоцкий: Жизнь. Творчество. Метаморфозы. Л., 1968; Творческий путь Твардовского. М., 1981.

* Адриан Владимирович Македонов умер в 1994 году.

ВОРКУТА ТЫ, ВОРКУТА...

21 августа 1937 года в моей смоленской квартире до одиннадцати вечера сидел Твардовский. А через полчаса меня арестовали. Я жил в Смоленске, хотя печатался больше всего в центральной печати. А Твардовский жил уже в Москве, но летом наезжал в родные места, снимал дачу или квартиру. Часто заглядывал ко мне, стучал в окно с улицы, спрашивал: «Сократ дома?» Почему называл меня Сократом — это особая тема, но отчасти она была связана с характером наших отношений в решающий, как он сам позже писал, период его формирования, то есть с начала 1928 по 1936 год.

Во время этих встреч мы обсуждали с ним и общую ситуацию. Существовала иллюзия, вера в то, что Сталин продолжает дело Ленина и что, несмотря на все безобразия в период насильственной коллективизации, которые мы объясняли главным образом перегибами местных властей, страна быстро движется вперед по пути создания нового социалистического общества.

Твардовский в этом не сомневался. Многое он просто не мог знать, например, никто из нас не знал, что творилось уже тогда в застенках МВД. И мы даже были готовы поверить в заговор. Во всяком случае, нам казалось, что Киров убит кем-то без ведома Сталина и что в этом могли быть замешаны оппозиционеры.

Родители Твардовского были неправильно раскулачены, и он знал, что они не кулаки. Он знал и о многих других случаях неправильного раскулачивания. Даже соглашаясь с тем, что ликвидация кулачества как класса была необходимостью, он все же не раз говорил — и об этом сохранились следы в его позднейшей переписке, — что ликвидация класса не означает ликвидации людей. Вместе с тем он, как и большинство тогдашней сельской молодежи, поверил в тезис о быстром преодолении трудностей единоличной жизни. Мечты его отца стать зажиточным на своем маленьком и очень трудоемком сельском участке, создать имение с помощью своего замечательного кузнечного мастерства — эти мечты казались ему менее реальными, чем добровольная коллективизация. Он верил в органическое культурное развитие деревни, в новое действительно массовое образование, просвещение и первые опыты успешного артельного хозяйства, которые намечались во время НЭПа.

Но все эти надежды столкнулись с кампанией против него бывших рапповцев. Были завистники, были и те, кто не разделял его новаторских поисков. Одно время Твардовский оказался

в почти полном одиночестве среди местных литераторов. Некий Горбатенков возненавидел его, а заодно и меня за систематическую защиту «кулацкого» поэта Твардовского. Отсюда и возникло совместное политическое дело против меня, Твардовского и еще трех смоленских литераторов, среди которых оказался и один из противников поэта.

Был уже выдан ордер на обыск и арест Твардовского, и на следующий день после моего ареста пришли за ним, но утром 22 августа Твардовский узнал о моем аресте, почувствовал, что ему угрожает, и немедленно уехал в Москву. Как мне стало известно позже, был заготовлен и прямо «уличающий» Твардовского в сочувствии кулакам факт: эпизод из «Страны Муравии», не пропущенный тогда цензурой («Их не били, не вязали...»). Этот фрагмент, который с потрясающей силой обнажил действительный ужас раскулачивания, он смог внести в текст поэмы только после смерти Сталина.

Однако, когда дело было переслано смоленским МВД в Москву, оно не пошло дальше, так как поэма была уже одобрена Фадеевым, без санкции которого Твардовский не мог быть арестован.

Стало известно, что поэма прочитана самим Сталиным и понравилась ему. Сталин понял, что может приручить и использовать новый большой талант, что «Страна Муравия» может быть истолкована как оправдание коллективизации, хотя в поэме все время подчеркиваются возможности и другого, добровольного, объединения в колхоз.

В результате Горбатенкову пришлось переориентироваться. Найти повод и наказать защитника Твардовского Македонова, но по другим мотивам.

Новый козырь им дал арест Авербаха, генерального секретаря РАППа. Авербах был последовательным сталинистом и участвовал во многих разгромах. Но несмотря на приверженность Сталину, Авербах был заподозрен в тайной связи с контрреволюционной группой, кажется, с группой Сырцова-Ломинадзе. Его отстранили от литературной деятельности, отправили в Свердловск — фактически в полуссылку, — где он работал парторгом Уралмаша. Здесь он контактировал с первым секретарем областного комитета партии Кабаковым и погиб затем вместе с ним. Это дало возможность считать тех, кто так или иначе сотрудничал с Авербахом, когда он был редактором «Рабочего пути», причастными к контрреволюционной деятельности. Вспомнили мою «крамольную» статью по поводу самоубийства Маяковского, напечатанную в «Рабочем пути», действительно

заказанную мне Авербахом. В этой статье я написал, что самоубийство Маяковского не может объясняться какими-то личными причинами или только ими и связано с его внутренним расхождением с нашей действительностью и линией партии в области литературы. Таким образом, я мог попасть в число людей, критиковавших величайшего поэта нашей революции.

В последние годы до ареста я окончил аспирантуру, написал диссертацию об эстетике Белинского, опубликовал большой цикл статей о Пушкине, Белинском, Добролюбове, Радищеве. В 1937 году была назначена защита диссертации на кафедре литературоведения Московского педагогического института имени Бубнова.

Но, видимо, кто-то сообщил о начавшейся проработке Македонова в Смоленске, и в последнюю минуту, когда уже собрались и оппоненты и желавшие присутствовать молодые исследователи, защита была отложена. Я пытался обратиться к декану, но он мне сказал, что в теперешней обстановке он даже сам себе не доверяет. Так эта диссертация и была похоронена в недрах института. Потом мой научный руководитель А. Г. Цейтлин сказал мне, что диссертация долго ходила по рукам и была затем кем-то использована, в частности, кажется, Н. И. Мордовченко, без ссылки на меня.

Я был так поглощен работой и так уверен в своей правоте, что даже когда началась проработка, сначала отнесся к ней очень спокойно. Был уверен, что сумею защитить себя, и не внял совету одного знакомого моей матери, смоленского коммуниста по фамилии Аустрин, уехать из Смоленска.

На этом собрании лихо прорабатывал меня не только Горбатенков, но и некто Мандриков, который работал секретарем редакции «Рабочего пути» и вступил в партию по рекомендации Авербаха. Позднее и он был включен в состав придуманной контрреволюционной авербаховской группы, куда были зачислены первый председатель Смоленского отделения СП Завьялов, прозаик Ефрем Марьенков, также в свое время близкий Твардовскому, молодой критик В. Муравьев, единственный, кто кроме меня защищал Твардовского, когда того обвиняли в кулацких тенденциях. Муравьев учился со мной вместе в аспирантуре. Таким образом легко было наметить схему дальнейшего следствия.

Как проходила моя жизнь внутри тюрьмы в Смоленске? Меня долгое время совсем не вызывали на следствие. Однажды вызвали, и группой следователей в несколько человек стали допрашивать и пугать меня, я говорил, что им придется крас-

нет, когда они так или иначе вынуждены будут меня освободить. Следователей это забавляло, они с ухмылками разясняли мне, что на это мне нечего рассчитывать. К одному из следователей попала на прием моя жена, и он ей спокойно объяснил, что мне дадут срок, и немалый, и что ей лучше заботиться о себе и о ребенке. Но он ее не убедил. Фамилия следователя была Гуревич. Этот Гуревич учился в вузе и стал там осведомителем, когда я уже печатался. Он знал мои работы и, в отличие от других следователей, видимо, был достаточно грамотным. А может быть, ему искренне хотелось обойтись без зубодробительства. Он и обошелся.

В камере со мной сидели самые разные люди. Это была большая камера, время от времени битком набивавшаяся. Позиции заключенных были самые разные. Например, одно время туда был посажен зампредоблисполкома Сосин, который доказывал и разяснял всем сокамерникам, что если партии нужно инсценировать такие процессы, то нужно слушать партию. В это время был арестован уже почти весь состав местной партийной верхушки, начиная с первого секретаря обкома, большевика с 1905 года, рабочего. Почти все они были расстреляны, в том числе, конечно, и Сосин. Многие, даже большинство, пытались сопротивляться. Их зверски избивали, и после многих избиений, вынужденного стояния по двадцать четыре часа и больше, они тоже, как правило, подписывали то, что требовали следователи.

Помню одного из них, кажется, секретаря Бельского уездного комитета партии. Он рассказывал, что, когда во время гражданской войны он в Сибири попал в плен к Колчаку, его жестоко избивали, но он ни в чем не признавался. Но беда, говорил он, в том, что там били чужие, я знал, что это враги, а здесь же свои, я же их, мерзавцев, всех лично знаю, был с ними на «ты». И вот они мне вбивали: ты должен признаться, это нужно партии.

Был и другой теоретик этой тактики, бывший, кажется, работник самого МВД, по фамилии, сколько помнится, Зискинд, который говорил: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Я же и в камере продолжал доказывать, что тут какая-то ошибка, какие-то злоупотребления, про которые сам Сталин не знает, и поэтому не нужно признаваться, тогда в конце концов об этом узнает Сталин и будет восстановлена справедливость.

Недалеко от меня лежал бывший работник МВД, который три года назад, почуяв, чем пахнет будущее, сумел уйти на какую-то наробразовскую должность. Был поляк, который работал у нас на аэродроме. Его, по-видимому, обвиняли в шпионаже, избивали, но он держался очень крепко. Интересно, что он, мо-

жет быть, и действительно не был обычным рабочим, потому что знал литературу, даже смоленскую, и цитировал мне смоленского поэта Николая Рыленкова. Затем, когда Сосина уже убрали, вдруг появился юноша, сын Сосина, который был посажен как бы за действительную по тем временам вину. Он пытался организовать группу «месть за отцов». Он тоже довольно быстро исчез. Однажды к нам в камеру неожиданно поместили большую группу заключенных из Харькова. Зачем их сюда перебрали, они не знали. Они рассказали, что, когда начались массовые аресты в Харькове и они увидели друг друга в камере, то решили, что произошел контрреволюционный переворот. И потом не сразу убедились, что если это считать контрреволюционным переворотом, то нити «переворота» ведут далеко вверх.

Несколько человек сидели вместе со мной почти весь период следствия, не знаю, признались они или нет. Общее господствующее настроение было определено кратким афоризмом: «Так или иначе, все будем на даче». Этой дачей оказывалась часто и могила. Но были люди, которых не ждала могила и которые, так сказать, были легкими преступниками. Они обвинялись по статье 58-10, то есть контрреволюционная агитация, за которую не давали расстрел, а если они признавались, то давали сравнительно малые сроки — от пяти до десяти лет.

Моя статья формулировалась 58-10, ч. II, то есть не только контрреволюционная агитация, но и контрреволюционная организация, но сама по себе она была менее страшной, чем КРТД. Тут были разные варианты — от разного срока заключения до расстрела, если человек в конце концов признавался. Вариации были очень многочисленными. Многие сидели по статье 58-7 — вредительство; это были главным образом различные хозяйственники, например, директора предприятий, которые не выполняли план. Раз не выполняли план — значит вредители. Их большей частью расстреливали, но некоторые отделялись большими сроками. Вообще какую-то логику во всей этой системе трудно было найти. Многое зависело и от индивидуальности следователя.

Должен сказать, что Гуревич как будто был склонен обходиться без усердных мордобоев, хотя все же и этим не брезговал. Но для меня делал явное исключение. Меня Гуревич, кажется, один раз еще вызвал, просил охарактеризовать Завьялова, которого он, видимо, жалел. Я сказал, что ничего контрреволюционного в Завьялове не было и что вообще все это дело липовое.

После этого я был вызван к Гуревичу только расписаться в том, что я читал заключение о завершении следствия. Я и это

отказался подписать. И опять-таки никаких, так сказать, взысканий дополнительных за это не получил. Меня отправили в пересыльную тюрьму, откуда уже дальше — на этап.

И вот наконец пересылка. Тут нам всем первый раз дали свидание перед отправкой на этап. В свидании участвовали и моя жена, и моя мать. Во время свидания мы были отделены решеткой, но разрешалось передавать еду и вещи под наблюдением конвоира.

Дальнейшее все напоминало какой-то страшный сон. На пересылке я увидел и своих признававшихся однодельцев: Завьялова, Мандрика, Марьенкова, Муравьева. Они держались все вместе, были крайне озлоблены, а я их сторонился — и за их трусость, и за то, что они уже полностью разочаровались во всем том, во что раньше верили. У меня все еще жила надежда на справедливость. Жена передала мне очень много продуктов и вещей, в том числе собранных, видимо, с помощью ее старшего брата, очень хорошо ко мне относившегося, затем погибшего во время войны. Тут было все, включая даже какие-то шоколадные лепешечки, не говоря уже о сахаре.

Пересылка все больше набивалась. Большинство могло только стоять. Перед отправкой на этап всех обыскивали и осматривали. Это была и зловещая, и комическая сцена. Смотрели даже, нет ли чего в заднем проходе, боялись, не вложили ли мы туда чего-нибудь преступного, и желтая электрическая лампочка освещала задницы. В конце концов один «враг народа» — старик, не выдержавший тесноты, духоты, долгого стояния, рухнул и умер. Его тело было спокойно убрano.

Нас вывели и посадили на грузовики. Закрытых, видимо, не хватало, ехали в открытых, но при этом мы должны были низко наклоняться, чтобы не было видно с улицы, кого везут. И сопровождавшие конвоиры предупреждали — не поднимать голову, будем стрелять без предупреждения.

Моя мать тоже принесла мне какие-то продукты. Когда меня посадили, она преподавала в техникуме английский и немецкий языки. Ее очень любили учащиеся, потому что она была замечательным педагогом. Но каждую свою лекцию она начинала с того, что вот какое происходит безобразие, ее ни в чем не виновный сын посажен. И она говорила, что погибнет, но добьется моего спасения. Она пыталась хлопотать за меня в Москве, приезжала, останавливалась у тетки, с трудом попадала на прием к каким-то прокурорам или к депутатам Верховного Совета, они ничего не хотели и не могли сделать, большая часть из них вскоре тоже была посажена.

А потом была арестована и моя мать, может быть, даже и не за эти разговоры. Ее сосед по квартире, который был знаком с каким-то тюремщиком, рассказал, что ее застрелил следователь, когда во время допроса она бросила в него чернильницу.

Потом через много лет я запросил о ней КГБ Смоленска и узнал только, что ее приговорила к расстрелу «тройка». За что и как — неизвестно. Сохранилась в деле только бумажка, что она была приговорена к расстрелу тогда-то и расстреляна тогда-то. Прислали мне и справку о ее реабилитации. Гуревич как-то сказал, что моя мать была расстреляна за участие в контрреволюционной эсеровской организации, называвшей себя «крестьянским союзом».

Несмотря на все ужасы следствия, люди даже во время кратких передышек после избиений хотели заполнять жизнь, как бы ни была она тяжела, какими-то духовными, независимыми ценностями.

Отсюда своеобразные культурнические занятия. Помню, что я читал лекции о Пушкине, так как был еще полон и своими занятиями, и всей пушкинской годовщиной 1937 года. Люди с вниманием слушали не только цитаты из Пушкина и слова о нем, но даже и рассказы об эстетике и деятельности Белинского, хотя это было от них совсем далеко.

Существовал какой-то текучий, но в своем поведении чем-то постоянный коллектив, в котором, к счастью, не было злобных уголовников. Стукачи, конечно, были, мы не знали, кто они, и во всех разговорах это учитывалось, тем более, что по существу подавляющее большинство было вполне лояльно к той власти, которая их посадила. Эта духовная жизнь создавала какую-то внутреннюю опору. И сами стукачи, видимо, не считали нужным приписывать какую-либо антисоветчину рассказам посаженного литературоведа о Пушкине и Белинском.

В поезде я включился в другой текучий разнородный коллектив этапников, которые менялись по ходу пути и все-таки также друг с другом контактировали.

Первая станция была Котлас — один из главных узловых путей северо-востока Европейской части нашей страны. Там было создано что-то вроде второй пересылки, в которой происходило новое перераспределение согласно статьям, запросам лагерей в тех или иных профессиях.

Здесь я пробыл не менее двух недель. Дальнейший путь предстоял по воде, и начальство ждало парохода. Меня как «троцкиста» не выводили на работы. Получилось много свободного вре-

мени. Я его потратил на обмен сахара на бумагу, на которой начал строить длинное послание товарищу Сталину. Я беседовал со многими и еще более убедился, что большинство были невиновны. Я писал Сталину, что происходит какое-то ужасное недоразумение, его вводят в заблуждение органы внутренних дел, куда проникли люди недостойные, совершившие злоупотребления.

Дальнейший мой маршрут уже плохо сохранился в памяти. Помню только, что значительный отрезок пути я ехал на барже. Баржа была полна, но не переполнена, и, в отличие от других, в ней ехали только политические, поэтому не было тех схваток с уголовниками, о которых так много рассказывают люди, пережившие этапы тех лет. Всех нас держали в трюме — выход на палубу был категорически запрещен.

Я тщательно под подушкой хранил вместе с остатками вещи свиток желтой оберточной бумаги с моим длинным письмом к Сталину, даже, кажется, его дополнял. Ибо все новые факты открывались в этих разговорах. В самих лагерях, как мы уже чувствовали, творилось нечто ужасное. Иногда громогласное радио, вероятно, включенное самими конвоирами, сообщало о массовых расстрелах в Воркуте «за бандитизм и саботаж». Это было и сознательное предупреждение, и сознательное искажение истины. Потом мы быстро узнали, что за бандитизм расстреливали главным образом политических заключенных.

Так мы прибыли к какой-то суше. Нас выгрузили на берег реки Уса, и мы должны были двигаться пешком — теперь я узнал, что к Воркуте. После разгрузки был произведен шмон, обыск, довольно тщательный, хотя не такой тщательный, как в смоленской пересылке. Были обнаружены и мои свитки с длинным письмом к Сталину, а также личное письмо. Письмо о злоупотреблениях НКВД, незаконном репрессировании людей. Причем писал я только о других, а не о себе.

И тут произошло небезынтересное событие. Я знал: никто не имеет права выбрасывать письма на имя Сталина, великого вождя. И заявил конвоиру, что не пойду дальше. Он меня немного задержал. Конвой приказал всему этапу продолжать путь. А один конвоир оставался сзади и заявил мне: «Отойди в сторону». Тут из толпы этапированных мне закричали: «Не отходите! Стойте на месте!» При всей своей наивности я понял, что конвоир меня пристрелит, приписав мне попытку к бегству. Интересно, что в его интонации я даже не почувствовал злобы, был скорее оттенок презрительной жалости, с которой он меня бы ухлопал. Но я отказался отойти с дороги.

Конвоир напустил на меня овчарку, а большая часть этапа продолжала стоять. Овчарка разорвала мою шерстяную куртку, последнее из вещей, приготовленных женой. Разорвала до шеи, так, что я услышал лязганье зубов. Шея была обнажена. Но все же собаке не была дана команда перегрызть мне горло. Рядом был комендантский пункт. Оттуда вышел человек, видимо, комендант, поднял из канавы мою писанину, бегло посмотрел, ударил меня раза два палкой по спине и по плечу, но не сильно — скорее всего от удивления моей глупостью. А большая толпа этапников впереди меня зашумела. Разгорался скандал. И комендант сообразил, что это было бы ЧП.

Он принял, я бы сказал, мудрое решение. Распорядился связать меня и погрузить на подводу. Так мы пришли, а я приехал к берегу реки Воркуты, около ее устья, впадения в Усу. Там был уже поселок, получивший название Усть-Воркута.

На мне теперь ничего не было, кроме разорванной собакой вязанки и штанов, в которых я еще мог ходить. Здесь меня переодели в лагерную одежду — куртку, штаны, по тогдашней лагерной форме. И сейчас же включили в работу. Работа здесь уже кипела. Стояла готовая большая баржа, груженная бревнами и другими лесоматериалами, нужными для строительства. Командовал этой срочной разгрузкой и перегрузкой начальник, кажется, целой группы лагерей, по фамилии Мороз.

Начальник не проявлял никакой жестокости, не требовал, чтобы работа шла вовсю. Был жаркий июньский день, множество комаров. Некоторые уголовники, пришедшие другим этапом, попробовали отказаться от работы, их раздели догола, связали и положили на пригорок, под комаров. Политическим же и в голову не приходило отказываться. Наоборот, принялись за работу с некоторым жаром, во всяком случае добросовестно. Это была небывалая работа в жизни большинства из них. Разгрузка и перегрузка длились без отдыха около шестидесяти пяти часов. То есть почти трое суток. Июньские ночи были совсем белыми, и ничто не мешало работать, кроме тяжести бревен и жары днем.

Нашлись люди, более или менее осведомленные, как нужно работать, и появились малые команды. Звучали призывы: «Раз, два, взяли! Еще раз взяли! Десять лет дали! Ни хрена не дали!» Кормили же нас прямо на барке или у берега, приносили кашу, хлеб, хлебово, снабдили деревянными ложками, порции были даже несколько больше, чем прежде. Люди от усталости время от времени падали с мостков прямо в воду. Вода немного освежала, они опять поднимались и продолжали те же «раз, два, взя-

ли». А многие уже и кричать не могли. Но работали. Когда разгрузка кончилась, нам дали поспать прямо на земле. Я тогда впервые оценил пушкинские слова: «И сон, дневных трудов награда». Здесь это была награда и ночных трудов...

И вот мы приехали на конечный пункт своего путешествия. Только теперь я узнал, как он называется. Это был поселок Рудник на правом берегу реки Воркуты, где строилась и уже начала выдавать уголь первая Воркутинская шахта. Река Воркута имела здесь крутые берега. Поселок был расположен на низкой, довольно широкой береговой террасе. А шахта строилась выше, на коренном берегу. И кругом кипела работа. И над землей, и под землей. В некотором отдалении были видны вышки, на которых располагались охранники. Кроме того, была охрана внизу. Пришедший этап принимали представители учетно-распределительной части администрации лагеря, УРЧ. Она уже имела сопроводительные дела всех присланных заключенных, отбирала нужные для лагеря профессии.

Работник УРЧ не проявлял ни враждебности, ни подозрительности, ни просто грубости. Даже благожелательно подшучивал. В моем деле было отмечено, что я прибыл из Смоленска. «Урчевич» даже пошутил: «смоленский рожок». Это был общий стиль по отношению и к тем, у кого были самые плохие статьи. Моя пометка «КРТД» как будто не имела для него значения. Тем более, что среди прибывших были люди и с более страшными пунктами, например «вредители» и «террористы». УРЧ добру и злу внимал равнодушно. Меня только спросили (как и других), что я умею делать. Тут я сразу же мог оценить коварство заключения ОСО. Моя профессия определялась как «журналист», а не писатель и ученый, каковым все-таки я был к тому времени. Обе профессии не были нужны лагерному производству.

Некоторые называли себя портными, столярами, кузнецами и так далее. Учитывая возраст и видимое состояние здоровья, у меня никакой нужной профессии не оказалось, я и не пытался выдать себя за кого-то другого и поэтому был направлен сразу же на общие работы.

Нас поселили в большой, человек на двести, палатке с двухъярусными нарами. В центре палатки была железная бочка, которая отапливалась первым добываемым углем. Впрочем, хотя я приехал еще в конце лета, бывало холодно, а уголь экономили. А когда наступили настоящие холода — в сентябре, октябре,— то даже при раскаленной бочке в изголовье наших постелей на-

бирался снег. Постели нам выдали, никакое свое белье не разрешалось, были одеяла, тонкие матрасы, подушки, набитые какой-то трухой.

Выходя из палатки, я мог осмотреться кругом. В отдалении белела Воркута, выше все было почти голо, только редкие кустики, местами немного травы; чем-то все это даже напоминало русскую степь, но отличался «особый воздух», он казался как бы пустым, и небо было бледным. Зато ночи были летом более светлыми, а зимой еще более темными.

Работы были самые разные — главным образом, подсобные, земляные, погрузочные и т. д. Наблюдали и учитывали надсмотрщики и бригадиры. Они были сравнительно незлобные — не били, матерщинили мало. Но работы были жестко нормированы, нормы были высокие и большей частью мы, обитатели этой палатки, и в особенности я, эти нормы не выполняли. А когда и выполняли, то питание давали весьма скудное. А не выполнявших первое время не наказывали, но давали меньше еды. Рабочий день был десять часов, не считая дороги до места работы и обратно. (Возвращались усталые, нередко промокшие, сушиться было трудно.)

Я быстро понял, что эта жизнь мне не по силам. Многим другим тоже. Палатка была населена одними политическими. Люди были разных национальностей, профессий, образования. Некоторые читали наизусть латинские стихи. Характерно было стремление сохранять какие-то традиции духовной жизни. Меня очень выручила жена. Оказывается, меня уже ждала первая большая продуктовая посылка от жены. Она сумела еще в Смоленске узнать конечный пункт моего маршрута. В посылке был сахар и многое необходимое. Я расположился на нарах рядом с русским немцем по фамилии Геллер, делился с ним, и он присматривал, чтобы у меня не украли продукты из-под подушки, когда я уходил на работу (работали мы часто в разное время). Кроме того, политические вели себя честнее, и воровство друг у друга было редким явлением. Тем более что круглосуточно дежурил дневальный по обязательному лагерному порядку. И, наконец, были люди, которых по болезни освобождали от тяжелой работы. Тут я впервые узнал про другой оазис лагерной жизни — врачебный мир с вольнонаемными, бывшими заключенными, и заключенными. Соблюдались некоторые правила. Освобождение от работы давалось людям с повышенной температурой, признаками туберкулеза или физической неполноценности. Стыдно признаться, но я завидовал одному туберкулезнику, все время температурившему, сидевшему с книгами и читавшему.

Староста палатки Алиев жил, как я узнал позже, некоторое время на кирпичном заводе, куда согнали объявивших голодовку политических заключенных. Сам он имел, по-видимому, какую-то бытовую статью. Вероятно, среди голодающих выполнял и осведомительские функции. Выполнял ли он их теперь, в нашей палатке, не знаю. Во всяком случае, сам он никаких разговоров на политические темы со мной не заводил. А осведомителей наверняка и других хватало.

Большая часть книг, циркулировавших в палатке, по слухам, происходила из тех личных библиотек, которые имели расстрелянные затем политзаключенные.

Как происходили эти расстрелы? Те, кто уцелели и вернулись, не рассказывали. Но в это же время или несколько позже я познакомился с Сергеем Андреевичем Князевым. Он был арестован и этапирован в Воркуту раньше меня. В прошлом — начинающий историк, где-то на Украине. Срок имел как будто меньший и к этому времени уже устроился, вероятно, через врачей, на относительно легкую работу. Он рассказал мне, что ехал на этап с большой группой политзаключенных. Это были люди разных взглядов, но все единодушно ненавидели Сталина и почти все они были уверены, что обречены, что сталинщина будет усиливаться, становиться все более свирепой. Тем не менее почти все они были единодушны в попытке бороться за права политзаключенных. Конечно, только мирными средствами, так как понимали, что другие в это время уже были невозможны, тем более в Воркуте. Их средством была голодовка, с единственным требованием — приравнять режим политзаключенных к обычному режиму, соблюдавшемуся в царских тюрьмах и на каторге. Некоторые из них даже надеялись, что такая форма протеста может быть эффективной.

Князев подчеркивал, какое большое впечатление произвели на него высокие нравственные качества этих людей, преданных коммунистов-антисталинцев, считавших, что Сталин изменил коммунизму и встал на контрреволюционный путь. В Воркуте мне рассказали, что лагерное начальство сначала не знало, что делать с голодающими. Удовлетворить их требования не решались, но и репрессировать — тоже. Были даже попытки насильственного кормления. Но затем поступило решение свыше, вероятно, от самого Сталина, их просто уничтожить. Делалось это просто, хотя также не без хитрости. Объявили, что их переводят в другое место, с вещами, и выводили по группам. Каждая группа доходила до некоего перекрестка, где их расстреливали заготовленными пулеметами с двух сторон. Звуки выстрелов доно-

сились, и оставшиеся уже понимали, что их ждет. Говорят, некоторые перед расстрелом пели «Интернационал». Сергей Андреевич Князев в дальнейшем написал воспоминания обо всем своем пути, в том числе и об этом этапе, и о беседах со мной на разные темы, начиная с проблем «Науки логики» Гегеля. Так он сохранял не только жизнь, но и духовное начало ее.

Расстрелы были осуществлены под руководством Кашкетина, специально присланного самим Сталиным. Для расстрелов были использованы некоторые дети раскулаченных, которым сказали, что эти коммунисты раскулачивали их отцов. Когда после завершения операции самого Кашкетина отозвали в Москву, он кому-то сказал, что едет на смерть. Обычная судьба сталинских палачей.

В пределах той же палатки были два человека, державшиеся от всех в стороне. Один из них — Сафаров, в прошлом видный оппозиционер, был редактором «Ленинградской правды», когда ленинградский партаппарат был охвачен зиновьевской оппозицией. Теперь он кому-то сказал, что пишет книгу «Сталин как диалектик», не только восхвалявшую его полную правоту в борьбе с оппозицией, но и возвеличивавшую его исключительные философские дарования. Вскоре он был вызван на этап и отправлен в Москву, надеялся на прощение. Но, как после я узнал, был быстро расстрелян *.

Наиболее нужные и квалифицированные заключенные быстро выделились в особую категорию так называемых ИТР (инженерно-технических работников), о которых расскажу дальше подробней. Среди них были и непосредственно нужные лагерю специалисты: горные инженеры, например, которых быстро отселили отдельно, их дальнейший путь резко отличался от пути таких, как я. Но, кроме того, были и люди и других нужных специальностей. Например, много экономистов, бухгалтеров, некоторые стали даже снабженцами. Среди них были и любители книг, с которыми я общался. Позже в эту категорию перешли некоторые работники буровых скважин.

Вообще в лагере на более или менее хозяйственные и распорядительские должности все же, при прочих равных условиях, обычно выдвигали бывших коммунистов, в особенности уцелевших от расстрелов ответственных работников (кроме самых ответственных), за исключением лишь каких-либо бывших оппозиционеров. Некоторые из них делали и карьеру — как лагерные

* Однако Сафаров не был расстрелян. См. об этом: Воспоминания Зах. Дичарова, стр. 155.

финансисты, экономисты, снабженцы. Помню одного из них по фамилии Фельдман, так как он также имел и определенные культурные интересы, любил читать, а свою основную работу выполнял с искренним увлечением.

Была еще совсем особая группа знатных заключенных. Я лично их не знал, но про них мне рассказывали. Одно время в лагере около строившейся большой шахты «Капитальная» сидел Гронский, бывший редактор «Известий» (после Бухарина), затем «Нового мира». Теперь он работал банщиком, что также считалось «блатной», легкой работой. Его дальнейшую судьбу я не знаю, но недавно встретил в литературе о тех временах его фамилию. Как будто он вернулся и умер на свободе.

Другим таким же знатым заключенным был Алексей Каплер, одно время муж или возлюбленный Светланы Аллилуевой. Он работал фотографом сначала в Инте, затем в поселке около шахты «Капитальная».

Основная масса заключенных и в этой палатке, и в разных бараках состояла из так называемых работяг, выполнявших разнообразные общие работы, как и я в течение довольно долгого времени. Подавляющее большинство, девяносто процентов, были обречены на износ, особенно те, кто наиболее старательно трудился и некоторое время за это поощрялся. Оставшиеся становились квалифицированными шахтерами, строителями, некоторые как-то выбивались наверх, другие превращались в «придурков», реже поднимались до ИТР. Были и крестьяне, не имевшие никакой лагерной квалификации.

Писали жалобы главным образом те, кто имел статью 58-10 — контрреволюционную агитацию, считавшуюся относительно легкой виной. Давали ее часто по совершенно нелепым поводам. Как кто-то из этих крестьян выразился: «Колхозную кобылу б... назвал». Это была горькая и точная шутка, так как суть «агитации» состояла в том, что он раскритиковал колхозное начальство в своем колхозе. Был, однако, вариант и более редкий — идейные крестьяне-толстовцы. В дальнейшем я встретил и толстовцев-интеллигентов. Толстовство считалось крамоллой. В лагере они умели и работать, и помогать друг другу, были среди них и практичные, хитрые, разными способами продвигавшиеся в бригады и на другие относительно хлебные и легкие должности.

Все эти контакты ставили передо мной не только задачу выжить, но и какие-то возможности духовного общения, искать возможность не потерять лицо, как бы ни было плохо. Конечно, не путем какой-либо борьбы. Такая мысль не возникала даже

у тех, кто уже пошел дальше меня в прозрении, даже у наиболее активных, бывших военных (это тоже была особая маленькая группа). Были, по слухам, попытки побега, но все неудачные. Меня пока что выручали, кроме чувства локтя, письма жены, и еще продолжавшиеся до начала войны посылки.

Доносились какие-то вести о том, что происходит в стране. Газет мы не получали, но иногда они проникали в форме оберток продуктов в посылке. Книги обычно не позволяли пересылать. Но из указанного фонда расстрелянных доходили самые разные издания: художественные, исторические и т. п. Это все не запрещалось и не отбиралось при обысках. Кроме любых книг Маркса и Ленина. Они категорически запрещались, даже «Капитал» Маркса, столь далекий от современных дел. Еще один сталинистский парадокс!

В первые годы лагеря я не встретил единомышленников. Но продолжал расширяться круг людей с близкими мне потребностями в чтении, в рассуждениях по существу прочитанного. У меня накопился и свой обменный книжный фонд. Так продолжал обновляться внутрилагерный коллектив читателей-книголюбов. Острые политические вопросы все же не обсуждались, по крайней мере, я не слышал ни одного антисоветского высказывания. Все яснее я понимал то, что понял уже в Котласе, что кругом были невинно осужденные люди, среди них были и высокообразованные и одаренные.

Но продолжалась и повседневная лагерная жизнь. Шло строительство и шахты, и лагеря. Большую палатку заменили баракком. Барак был немного теплее и пока не был переполнен.

Не помню всех деталей последующих событий. Но помню, что вскоре возникла у меня новая конфликтная ситуация с лагерным начальством. Меня вызвали в УРЧ и предложили работать на шахте. Я уже понял, что шахтерская нагрузка, тем более при отсутствии навыков, меня наверняка загубит. К счастью, все же полагалось пройти медицинское освидетельствование, ибо требовалась полноценная рабочая сила, хотя бы на время.

Врач более или менее внимательно меня осмотрел и установил, что я близорук, а близоруким работать под землей нельзя. Начальник по режиму со странной фамилией Кухарь вызвал меня к себе и стал обвинять в симуляции. «Вы ведь меня видите?» — спросил он. Я рассердился и ответил: «Вас я вижу насквозь». Кухарь расвирепел и решил дать урок «троцкисту». Я потребовал, чтобы вызвали врача, это Кухаря еще больше разозлило. Он решил состряпать против меня «лагерное дело», и это могло кончиться для меня плохо. Одновременно Кухарь

собрал кучку уголовников, которых я, по его замыслу, должен был толкать к саботажу. Многие из этих уголовников также не хотели работать в шахте. Он посадил меня с уголовниками в карцер, набитый так, что мы стояли, прижатые друг к другу, и повернуться не могли. Тут я еще раз убедился, что уголовники ненавидели или презирали политзаключенных. Карцер не отапливался, ноги мерзли, но все-таки мы согревали друг друга вынужденной близостью тел, дыханием. Так я простоял вместе с уголовниками тридцать пять часов (количество часов узнал уже позже). И все-таки выстоял. Часть уголовников после этого согласилась на все, меня от них отделили и переместили в другое внутрилагерное карательное учреждение, называвшееся изолятором.

В это время там было еще немного заключенных. Два этажа нар, постельные принадлежности, питание — несколько сот граммов хлеба (насколько помню, двести или триста) и кипятка — таковы условия изолятора. Здесь все, кроме меня, были уголовниками, но они меня почему-то не обижали. Возможно потому, что кто-то из них попросил, как тогда выражались в этом мирке, «рассказывать романы». Я, как мог, им рассказывал. Возможно, даже что-то из Пушкина. Все обслуживание осуществлялось теми же заключенными. Но здесь я столкнулся с еще одной их группой, которая меня поразила. Это были сектанты, так называемые «крестики». Они считали, что всякая государственная власть, и тем более советская, — дьявольская, и потому отказывались работать, отвечать на вопросы и подписывать листы допросов. Вместо подписи ставили крестики, не потому, что были неграмотны, а потому, что считали себя вне дьявольского общения. Они понимали, что их ожидало, их всех расстреливали по статье 58-11 (саботаж). С удивительным спокойствием эти люди шли на смерть, надеясь на награду на небесах. Вероятно, молились, но как-то очень тихо. Даже самые злобные уголовники относились к ним с уважением и почтением. Но «крестики» ни с кем не разговаривали, хотя заботились о чистоте и порядке в изоляторе, охотно помогали тем, кто просил о помощи.

Не помню, сколько времени я провел в этом изоляторе, но, по всей вероятности, недолго, потому что не успел заболеть. Видимо, лагерный врач подтвердил свой диагноз, а более высокое, чем Кухарь, начальство решило избежать лишнего скандала, поняло, что незачем использовать для работы в шахте заведомо непригодного заключенного. Меня выпустили из изолятора, но придумали, как спустить меня в шахту, несмотря на близорукость:

поставили крутить вручную вентилятор там, где лава спускалась в штрек. В лаве работали забойщики, время от времени взрывали уголь, и он скатывался вниз по специальному желобу в подставленную вагонетку, которую дальше по штраку откатывали заключенные до шахтного ствола, перегружали в клеть, клеть поднималась наверх и там вновь разгружалась. Мне надо было разгонять вентилятором выхлопные газы. Это была скверная смесь, и я немало надышался всякой дрянью. Были и другие опасные моменты. После спуска в шахту я пробирался к вентилятору пешком по узкому штраку, где местами рельсы почти вплотную подходили к стенкам, и нужно было следить, чтобы вагонетки в узком месте тебя не придавили.

Помню характерный эпизод: я жил в громадном бараке для шахтеров. Во всем этом бараке жили одни лишь «враги народа». А во главе был бригадир-уголовник, по кличке Сенька Попов. Он говорил про себя, что «под лодкой возрос». Скорее всего он был из детей раскулаченных. Он был крепок, энергичен, с зычным голосом. Явно ненавидел политических. Жил в том же бараке, но в небольшой отдельной комнате.

Рано утром Сенька входил в барак, в котором размещалось около двухсот человек, подбоченивался и зычно провозглашал: «Ну, что «прокурррорры». Как сегодня будете ррработать? Смотррите, я вас научу ррработать». Не помню, чтобы он сам опускался в шахту. Его подручные следили за порядком под землей.

В поведении Попова явно чувствовался мотив социальной мести. Он действительно полагал, будто политические в основном те люди, которые участвовали в раскулачивании. Но я тем не менее не помню, чтобы он кого-то бил или поощрял избиения. Говорили, что он любитель стихов, прежде всего Есенина, почитаемого всеми заключенными уголовниками. Кормили в этом бараке относительно хорошо. Но вид я имел «полудоходяги».

Я продолжал жить, знакомиться с людьми. Были интересные встречи. Например, с бывшими военными. Они уверенно предсказывали нападение Германии на СССР. Военные были встревожены гибелью Тухачевского и цвета армии, говорили, что современную военную машину, способную бороться с немецкой армией, мог возглавить только Тухачевский. Эти разговоры проясняли мои мозги.

Однажды рядом со мной в бараке лежал человек, который сказал мне, что он из Ленинграда. Разговорились. Мой сосед, его фамилия была Кузнецов, сообщил потрясшую меня тогда историю, которой я не ожидал от Сталина, даже после финской войны.

Арестовали его в 1936 году. Перед арестом он работал директором небольшой фабрики. Но со времен гражданской войны был чекистом. Сначала рядовым, возил как шофер важных лиц. Однажды возил самого Сталина и был поражен его грубостью и высокомерием. Позднее Кузнецов познакомился с Медведем, чекистом, который впоследствии стал начальником управления МВД Ленинграда. Кузнецов смог уйти из органов, но продолжал встречаться с Медведем. Однажды в начале 1934 года Медведь поделился с Кузнецовым страшной новостью: «Тут готовится что-то ужасное против Кирова. Но что бы ни случилось, знай, что я здесь ни при чем, фактически я отстранен от власти. Приехал из Москвы человек, который все это готовит!» Это был некто Запорожец, присланный Ягодой по заданию Сталина, чтобы организовать убийство Кирова.

Прозрение продолжалось. Я часто встречался с Семеном Набедриком, старым коммунистом, который работал с Кировым. Он ничего не говорил о причинах гибели Кирова. И вообще избегал прямых высказываний на политические темы. Я не спрашивал, как его посадили, но знал, что Набедрик никогда не принимал участия в оппозиции, тем не менее он чувствовал себя скованно. Я понимал, что его связывает тайна, имеющая отношение к Кирову. Однажды в беседе Набедрик глухим намеком дал понять, что он знает нечто, сопоставимое с рассказом Кузнецова.

А я нашел себе другое, более устойчивое применение. Устроился лагерным ассенизатором. Ассенизаторов была маленькая группа — четыре-пять человек. Мы жили в отдельной землянке, учитывая «благоухание» нашей работы. В землянке было отделение для испачканной одежды. Зимой она пахла меньше. Мы объезжали на лошадях уборные, убирали кучи кала и вывозили за зону. Кроме меня, все ассенизаторы были крестьяне. Их привлекало в этой работе относительно хорошее питание. Старшим из ассенизаторов был некий Василий Васильевич, человек умный и не без юмора, ко мне он относился снисходительно. Возможно, потому, что у меня были остатки посылок, и я ими делился. Впервые у меня появилось много свободного времени, так как работали мы в среднем четыре-пять часов. Были сыты, имели чистое белье, получили новое обмундирование. В землянке поддерживалась чистота.

Один из ассенизаторов по фамилии Шаманин вскоре освободился. Я написал письмо жене, чтобы тот его отправил, когда будет на воле. Он обещал и честно исполнил. Это было первое письмо от меня, не прошедшее лагерную цензуру.

Не помню, как кончилась моя ассенизаторская деятельность. Через некоторое время мне удалось ее повторить в шахте, куда меня все же загнали снова. Там меня взял в помощники шахтный ассенизатор Сергей Малахов. В прошлом он был литературоведом, критиком и поэтом, красным профессором. Как поэт был одним из типичных так называемых пролетарских поэтов того времени. За примитивность и вульгаризаторство был высмеян в одном из стихотворений Маяковского. Как литературовед и критик был представителем вульгарного социологизма, разоблачительства и прочее. Но был по-своему искренним и идейным. Характерна его биография: он был из купеческой семьи. Порвал с ней. В 1920 году вступил в партию, потом в Красную Армию. В лагере находился на особом положении, так как сотрудничал, несмотря на 58-ю статью, с КВЧ (культурно-воспитательной частью). Говорят, дал показания на другого заключенного, подтвердил, что слышал его антисоветские разговоры. Наверное, показания были без преувеличений, и Малахов дачу подобных показаний просто считал долгом коммуниста даже в лагере. Но Малахов не был постоянным осведомителем. Политических разговоров он не вел, но делился со мной стихами, которые продолжал писать и в лагере. Репрессия пробудила в нём жилку настоящей поэзии. Он написал трагедию в стихах «Филоктет», о греческом герое, несправедливо заподозренном греками в измене. Писал лирические стихи. Помню хорошее стихотворение о том, как по-особому сильно любит свою мать незаслуженно нелюбимый ею сын. В стихах этих была его собственная судьба, его подлинное лирическое чувство. Как товарищ по работе Малахов был безупречен, но я все же от него отдалился. Вращался он ближе к лагерной власти.

В дальнейшем судьба свела меня с ним через много лет в Ленинграде. После окончания срока ему разрешили преподавать в высшей школе, сначала в провинциальном вузе. Затем он вернулся в Ленинград, где ему удалось устроиться на работу в Пушкинский Дом, но у него не очень получалось. Все же писал, опубликовал несколько работ, пытался отойти от прежнего вульгарного социологизма. Он был женат по любви на молодой красивой женщине, своей бывшей ученице. Ее фотокарточку он показывал мне еще в лагере. Она ему не помогала, но не отрекалась от него. После освобождения эта женщина осталась его женой, у них были дети. Он продолжал писать стихи. Изредка мы с ним в Ленинграде встречались. Однако стихи на лагерные темы в то время публиковать еще было нельзя.

Судьба Сергея Малахова была одной из многих судеб людей — небездарных, трудолюбивых, поверивших, хотя с упрощениями, новой большой идее, склонных к добру, а не злу, а вместе с тем и задушивших в себе искры дарования и добра...

Шло время. Приближался срок моего освобождения. Официально он должен был кончиться 21 августа 1945 года. Но сталинский режим придумал еще одно осложнение. Систематическую задержку части заключенных до, как было официально объявлено, «особого распоряжения».

Но тут все же вмешался и Твардовский и пересидел я всего шесть месяцев.



**Игорь
Леонидович
МИХАЙЛОВ**

род. 1913

Из книги «Писатели Ленинграда»

Михайлов Игорь Леонидович (1.X.1913, Петербург)* — поэт, переводчик, критик. Окончил филол. фак. Ленингр. ун-та (1937), преподавал в школе и техникуме. С 1939 был на военной службе, в 1943—1946 — на военном строительстве. После демобилизации жил в Таганроге (1946—1957), был учителем, инспектором РОНО, зав. отделом газ. «Таганр. правда». В 1957 вернулся в Ленинград. Печатается с 1935. Написал поэмы: «Братья Котельниковы» (1935), «Матвеев курган» (1939), «Восхождение на Тетнульд» (1939), цикл поэм о В. И. Ленине, цикл поэм «Радостная слава», роман в стихах «Возвращение», трагедия в стихах «Когда страна прикажет быть героем» и др. Перевел три сб. стихов С. Попова с яз. коми, стихи украинских, белорусских поэтов, опубликовал ряд статей о советской поэзии. Много работал с молодыми авторами.

Мир и труд: Стихи и повесть в стихах. Ростов-на-Дону, 1953; Все, чем живем: Стихи разных лет. М., 1958; Возвращение: Поэма «Вечный спутник» и стихи. Л., 1961; Поздняя любовь: Поэма и стихи. Л., 1966; Короткие волны: Стихи и поэмы. М., 1968; Добрые семена: Стихи. Л., 1969; Стук колес: Поэма. Стихи. Л.,

* Игорь Леонидович Михайлов умер в 1995 году.

1974; Правый берег: Повесть в стихах «Воспоминания в Детском Селе» и стихи. Л., 1974; Командировка в прошлое: Стихи. Л., 1980.

Игорь Михайлов

СКВОЗЬ НЕНАСТЬЕ

Вспоминаю. Сначала был Калинин, но в калининской тюрьме меня продержали недолго, не больше месяца. Вскоре перевезли в Москву на Лубянку. Дело, оказывается, было в том, что Калининский военный округ влился в Московский, и мы удостоились переселения в одну из знаменитейших московских тюрем.

Камера, в которую меня ввели, была невелика, но ни одна койка не пустовала. Помнится, в первый же день один из обитателей этого пристанища отвел меня в сторонку и показал на одну из коек возле самых дверей. На ней лежал немолодой человек, повернувшийся лицом к стене. Человек, отозвавший меня, сообщил мне, что это Мейерхольд, и предупредил, чтобы я — боже сохрани! — не проговорился о гибели Зинаиды Райх: он о ней не знает...

У меня осталось такое впечатление, что Мейерхольд почти все время так и пролежал лицом к стене, а через несколько дней, проснувшись, я не обнаружил его в камере. Куда его перевели, разумеется, осталось неизвестным... И все-таки эта встреча осталась самым прочным воспоминанием о Лубянке. Все остальные как-то стерлись в памяти, перепутались с последующими воспоминаниями, бутырскими... Запомнилось тюремное правило: вновь прибывший устраивается в углу, возле параши, потом, по мере освобождения камеры, передвигается ближе к «центру», к окошку.

А еще запомнились получасовые прогулки. Гуляли парами, я каждый раз с каким-то актером. Шли и поочередно вспоминали «Евгения Онегина» — строфа за строфой, глава за главой. Одну строфу читал он, следующую я. Сколько глав успели навспоминать, не помню.

Моим следователем был Григорий Шиловский. Ничего плохого о нем я сказать не могу. Он и обматерил-то меня всего один раз, еще до начала допросов. Разбуженный среди ночи, одуревший от сна, я заколебался, когда он предложил мне подписать какую-то подозрительную бумагу. Тогда он раздраженно объяснил мне, что подпись моя будет обозначать только то, что я озакомлен с предъявленными мне обвинениями. Почем знать:

если бы мне инкриминировались шпионаж и диверсия, может быть, он прибегнул бы и к рукоприкладству...

Какие же конкретные «пункты обвинения» присутствовали в моем «деле»? Их оказалось три: первый — эпиграмма «под Пушкина» про «полугорох-полусупец»; второй — строчки из шуточного «неофициального вступления» к поэме «Кочмас». Было у меня там такое четверостишие: «Считаем роскошью махорку и колбасу — волшебным сном, и чай, похожий на касторку, из жирных кружек жадно пьем». А третьим пунктом стала моя устная хохма по поводу заключения договора с Гитлером. «Что получается? — пошутил я. — Хаял-хаял, а теперь — хайль?» На следствии у меня все допытывались, кто именно хаял. А вдруг я скажу: «Сталин хаял»? Но я неизменно отвечал: «Да все мы, каждый из нас...»

Много позже я узнал от жены, что примерно в это же время был произведен обыск и у меня дома, в городе Пушкине. Но он, по счастью, был поверхностным. «Добрые дяди» были чрезвычайно любезны и совершенно очаровали моего трехлетнего сына, подарив ему красивый карандаш. Они спросили мою жену, где находятся ее книги и бумаги и где мои, и просмотрели то, что принадлежало мне, чисто формально. Единственное, что их заинтересовало, это глава из поэмы «Кочмас», написанная на обороте старой топографической карты да где я добыл «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Только это и спасло меня от горшей участи. Ведь уезжая в свой полк, я, сам не знаю почему, «на всякий случай», забросил за трюмо тетрадочку, переплетенную моим другом детства Гавриилом Нечаевым, сделавшим на переплете золотыми буквами такую надпись:

Девушка, не открывай!

Анекдоты,

терпеливо собранные Игорем Михайловым

с 1932 по 1938 год.

Боже мой, чего только не было в той тетрадочке, начиная от старинных «солдатских» и «генеральских» анекдотов и кончая немалым количеством анекдотов про Сталина! Дело могло пахнуть «полной катушкой».

Где-то в самом начале следствия Шиловский предложил мне назвать трех человек, которые могли бы дать мне характеристику. Я решил назвать двух товарищей по Институту — Левушку Рахмилевича и Валентина Рыльцева, после окончания ЛИФЛИ преподававшего русский язык и литературу на каких-то курсах политруков, а также поэта Владимира Лифшица, с которым был

очень дружен до ареста. Левушка был вызван и опрошен, пел мне дифирамбы; Рыльцев, видимо, не был обнаружен, а Лифшиц поступил умно и тактично: начав с того, что знаком со мной очень недолго, сослался на Николая Тихонова и на Илью Сельвинского, которые несколько лет назад опубликовали мои поэмы и вообще могут охарактеризовать меня более полно. Однако Шиловский, видимо, раздумал по столько ничтожному поводу обращаться к таким авторитетам.

Впрочем, им обоим было уделено немало времени на наших «допросах». Я часами читал Шиловскому их стихи: надо же было ему как-то убить время, да к тому же и просветиться... Я и стихов Лифшица помнил немало, читал и их, а Шиловский производил психологические опыты, расспрашивал меня, кто, по моему мнению, более талантлив: Лифшиц или я? Однажды он даже разоткровенничался: «Эх, допустить бы вас к нашим архивам... Вы и представить не можете, сколько богатейшего материала обнаружили бы вы там...»

По поводу Тихонова я сказал Шиловскому, что и над ним одно время собирались тучи, особенно после ареста Вольфа Эрлиха. Мой собеседник отреагировал на эти слова так: «Ну, это явный перебор: Сталин любит Тихонова и верит ему. Тихонов очень своевременно догадался стать певцом Кавказа».

О Сельвинском Шиловский заметил, что он, мол, из тех, кого голыми руками не возьмешь: это человек осторожный. «Какой же он осторожный,— возмутился я,— если еще в «Пушторге» он высказался совершенно открыто: «Много ли весит твое перо, ежели ты не в Политбюро?»

«Вы знаете, как мы определяем своих подследственных? — спросил Шиловский на другом допросе.— Мы делим их на три категории: «балалаечников», «гитаристов», «скрипачей». «Гитаристы» — это те, кто уже в чем-то по-настоящему разбирается. «Скрипачи» уже не только болтают, но и задумываются о чем-то всерьез. А вот вы — типичный, ярко выраженный «балалаечник».

Судило нас ОСО — Особое Совещание. После полугодового перерыва в следствии меня вызвали в необычный, незнакомый мне кабинет, где, кроме Шиловского и начальника следственной части, присутствовал еще какой-то все время грустно улыбающийся лейтенант, как я потом догадался,— представитель Особого Совещания. Последовал такой диалог:

— Ну как, Михайлов, соскучился? А мы тебя уже осудили.

— Как же так? — удивился я.— Меня ведь никуда не приглашали...

— А мы так, заочно, без тебя. Три года дали. Как считаешь — много?

Я уже знал, что это — «детский срок», но все же возразил:

— Так ведь вы же знаете, что не за что...

Шиловский развел руками:

— Меньше не могли. Ничего, время пройдет незаметно, как и эти полгода... А потом приходи к нам, мы тебе поможем.

А лейтенант все молчал, продолжая улыбаться...

После окончания следствия меня перевезли с Лубянки в Бутырки. Видимо, около месяца я провел в огромной камере, в которой кроме меня находился немолодой, почтенный, хорошо одетый человек, кажется, инженер, ему было предъявлено совершенно идиотское обвинение в том, что он якобы через всю Красную площадь собирался прорыть подземный ход к Кремлю. Он сидел здесь уже около года, «позабыт-позаброшен», никакого следствия уже не велось. Он рассказал, что одно время его соседом по камере был Борис Корнилов. Ему запомнились его слова, сказанные после одного из допросов: «Да пусть они напишут про меня, что я Николай Второй, я и это подпишу!» (О смерти Корнилова бытует такая версия: на этапе он заметил невдалеке от себя какой-то цветок, отошел в сторону, чтобы сорвать его, и был застрелен «за попытку к бегству».)

Не помню точно, на Лубянке или в Бутырках я познакомился с юным летчиком, который в тумане нарушил границу. Его вместе с товарищами по несчастью долго держали в Лефортовской тюрьме, обвиняя в попытке эмигрировать, и всячески истязали. Но все-таки им как-то удалось убедить своих обвинителей в безгрешности своего поведения.

Потом была камера этапников, где многоопытный вор, консультируя меня, заявил, что из таких, как я, в лагерях выживают только бухгалтера да врачи. Консультацию пришлось оплатить парадной рубашкой, присланной мне как раз в это время из дому. «Все равно ее у тебя украдут», — справедливо заметил он. Бухгалтер из меня явно бы не получился, но, поскольку мой отец имел непосредственное отношение к медицине, я решил объявить себя скромно фельдшером. (Замечу в скобках, что сын композитора Спендиарова при аналогичных обстоятельствах объявил себя врачом и с полгода заведовал больницей, пока туда не прислали настоящего врача.) Потом, во время этапа, я буду на ходу проэкзаменован, и мне на плечо тут же повесят сумку с медикаментами.

Вначале я работал лекпомом (по-лагерному «лепилой-кантовиллой») на колонне, расположенной невдалеке от Печорского

лазарета. Я «сортировал» больных: одних освобождал на день-два от работы, других, заболевших более серьезно, отводил в больницу. Замечу попутно, что однажды, сопровождая в лазарет одного поляка, я услышал от него: «Ничего, пане доктор, скоро Гитлер придет, и все мы будем свободны!» Естественно, я подумал, что больной просто бредит.

Работая «лепилой», можно было надеяться выжить. Был в этой работе только один неприятный момент: раннее вставание. «Лепила» обязан присутствовать на вахте, дабы подтвердить, что тот или иной работяга, поднятый дрыном с нар, не «косит», а в самом деле освобожден от работы. Однако потом можно было и доспать. Но беда была в том, что «лепиле» с политической статьей постоянно грозило снятие на «общие» работы.

Мое пребывание в лазарете на Печоре отчетливо делится на две полосы. Да и лазарета там было два. Один возглавляла доктор Шарбе. Со вторым лазаретом я ознакомился только накануне своего освобождения.

Шарбе — фамилия французская. Когда-то доктор Шарбе была замужем за французом, в связи с чем и получила свой десятилетний срок. Потом, отбив его, она осталась работать на Севере вольнонаемной, ничего хорошего от возвращения в Москву, где проживала раньше, не ожидая. А до ареста она работала главным патологоанатомом Москвы.

Срок свой она отбывала на Соловках. Она много рассказывала мне о тех первых лагерях, где расстреливали на глазах у всех, и в то же время издавали свой печатный орган — журнал «СЛОН» («Соловецкие лагеря особого назначения»), который попадал на волю. Доктор Шарбе прониклась ко мне симпатией и благорасположением, обнаружив мои английские записки (я пытался вспомнить и записать полный текст «Эннабел-Ли» Эдгара По). Я присутствовал в качестве статистика на всех вскрытиях, которые она производила, и записывал то, что она диктовала, стараясь не поворачиваться лицом к трупу.

Под началом доктора Шарбе работали две чудесные женщины: энергичная и подвижная Белла Михайловна и незабываемая, рослая, статная Александра Николаевна. Как и большинство лагерных врачей, они были вдовами расстрелянных видных военных, чуть ли не наркомов. Запомнилось, что когда кто-либо из больных явно не мог дожить до утра, Александра Николаевна, уходя вечером из «палаты», целовала его в лоб.

Были еще две примечательных личности среди врачей этого лазарета, державшиеся несколько особняком: доктор Шимборский и доктор Мангель — оба из Польши. Первый из них неза-

бываем уже хотя бы потому, что он читал мне по-польски очаровательную непристойную сказку в стихах, русский вариант которой я создал несколько позже, дополнив то, что не запомнил, собственными измышлениями. Эти два сотоварища по несчастью обитали в отдельной комнатухе, отгороженной от остального барака щелястой перегородкой. И кто-то донес на них, что они радуются началу войны, которая может принести скорое освобождение.

Сейчас мне трудно вспомнить, почему меня из лазарета на Печоре перевели в лазарет, расположенный на реке Кось-ю (что в переводе с языка коми «каменная река»). Скорее всего, мне было поручено сопровождать этап. Возглавлял этот лазарет некий доктор Сергейко, с которым судьба меня свела на довольно длительный срок. Это был небольшого роста человек с темными волосами, зачесанными назад, и с неожиданно обнажавшимися в улыбке металлическими зубами. Взгляд его, обычно недоверчивый, теплел, когда он разговаривал с теми немногими людьми, которых успел узнать и которым доверял. В медицинский институт он попал по комсомольской путевке, хотя больше был расположен ко всякому ремеслу и мастерству. Дело свое он, впрочем, знал неплохо, имел опыт. Но в здешних условиях ему хотелось сносно устроить свою личную жизнь, по возможности облегчить ее. Еще бы! Этот человек получил десять лет из-за попытки спасти своего брата, ложно обвиненного в шпионаже. Нужно было так наладить работу лазарета, чтобы врасти в него корнями и по возможности избежать всяких перебросок и переустройств. Для этого требовалось найти двух помощников, таких, которые смогут добросовестно выполнять повседневную работу и в случае чего не «продадут» его: один из них стал бы выполнять работу «лечащего врача», другой вести отчетность, выполняя работу «медстатистика».

(Замечу попутно: ежедневные отчеты «медстатистика», посылаемые из лазарета в санчасть, были зашифрованы каким-то не лишенным остроумия человеком. Он придумал своеобразный «цветной шифр». Сводка выглядела примерно так:

Красных — 5. Желтых — 10. Зеленых — 2. Серых — 12. Лиловых — 4. Черных — 2.

Сие означало: «красные» — больные с воспалительными процессами, «желтые» — поносники, «зеленые» — малярики, «серые» — пеллагрики, «лиловые» — цинготники, наконец «черные» — мертвые.)

Заместителем Сергейко, то есть «лечащим врачом», стал я. Он меня «натаскивал», исследуя вместе со мной каждого боль-

ного. Постепенно я научился искусству аускультировать (выслушивать) и пальпировать (прощупывать) больных и различать всякие крепитирующие хрипы и акценты первого и второго тона...

И наступил день моего маленького торжества, когда в лазарет поступил какой-то идеально сложенный малый, которого я, осмотрев и прослушав, положил в туберкулезную палату. Утром во время обхода доктор Сергейко не обнаружил у него ничего специфического и переложил его в «общую» палату, сделав мне замечание, что я поспешил с диагнозом. Однако через несколько дней выяснилось, что я был прав, и парня вновь изолировали. Туберкулезный процесс развивался чрезвычайно интенсивно, зловоние ощущалось даже на расстоянии. После его смерти вскрытие обнаружило, что погиб он от миллиарного туберкулеза: даже почки были нафаршированы гнойниками. Разумеется, я не хочу сказать, что я оказался более чутким диагностом, чем мой учитель. Просто, по-видимому, с дороги, после этапа, признаки туберкулеза были более наглядны и ощутимы...

Итак, одного помощника — «лечащего врача» доктор Сергейко заполучил. Но срочно требовался и другой, без которого лазарет не мог нормально функционировать. Но и он не заставил себя долго ждать. Я стал его правой рукой, а левой его рукой стал Иван Алексеевич Лихачев.

Первая весть о нем намного опередила его появление у нас в лазарете. К нам поступил с флегмоной левого бедра удивительно симпатичный вор по фамилии Ласточкин. Флегмона его была, разумеется, следствием так называемой «мастырки», то есть умышленного членовредительства. Производили его обычно с целью спастись от штрафной колонны, избавиться от тяжелых работ. Делали так: протыкали кожу иглой с ниткой, смоченной слюной. Нитка оставалась под кожей, неизбежно вызывая нагноение. Когда нога воспалялась и становилась похожей на бревно, лекпом колонны («лепила») был вынужден отправить больного в лазарет. И хотя существовал специальный приказ начальника санчасти Печлага Архангельского, запрещавший принимать в лазареты мастырщиков («Пускай подышают у ворот!»), но к чести наших врачей должен сказать, что приказ этот никогда не выполнялся.

Итак, обаятельный вор Ласточкин, поступивший к нам с флегмоной левого бедра, сразу же поведал мне, что скоро к нам прибудет совершенно необыкновенный человек: знает все на свете языки, а писать может только левой рукой, причем и бумагу-то перед собой кладет как-то шиворот-навыворот, вверх

тормашками, и пишет по ней сверху вниз. Сейчас он весь опух, ноги как тумбы, и, наверно, следующим этапом прибудет сюда.

Действительно, через несколько дней Иван Алексеевич Лихачев появился у нас в лазарете. Вид его вполне соответствовал описанию Ласточкина. Когда после мытья в бане он расположился на приготовленном для него месте, состоялось, так сказать, первичное, беглое наше знакомство. Я убедился, что действовать надо было безотлагательно: больному грозило заражение крови, иногда его начинало трясти, тело сводили судороги. Его осмотрел доктор Сергейко, и мне было поручено сделать ему кровопускание. Я довольно ловко управился с веной Ивана Алексеевича. Не прошло и двух дней, как мы начали во время моих ночных дежурств просиживать до утра посреди нашей палаты, где пылала печурка, рассказывая друг другу повести своей жизни, свои лагерные «дела» и потчuya друг друга поэзией: я его — своими стихами и целыми поэмами, тогда еще свежими в памяти, он меня — своими переводами из поэтов, зачастую таких, о которых я со своим филологическим образованием имел самое смутное представление, а то и вовсе ничего не слыхивал.

Он переводил поэтов английских, французских, немецких, польских, испанских, португальских. Переводил в тюрьме, между допросами, сопровождавшимися избиением (однажды следователь проломил его телом дверцу шкафа!). Еще бы, будучи преподавателем Ленинградского военно-морского училища, он переписывался чуть ли не со всем светом! Больше того: у него в гостях был сам Андре Жид! По сценарию следственной части, «антисоветскую группу», в которую входили Иван Алексеевич, его друг Энгельке и несколько других его сослуживцев, должен был возглавить... Тихонов! Но Сталин якобы самолично вычеркнул его фамилию.

С Лихачевым мы еще встречались в лагере: дважды, вновь отекий, он возвращался в наш лазарет. А третья встреча завершилась проводами меня «на волю».

Я уже писал выше, что присутствовал при вскрытиях, производимых доктором Шарбе, деликатно отвернувшись от трупа. Теперь я решил преодолеть свой страх, дабы стать полноценным медиком, и попросил доктора Сергейко обучить меня этой малоприятной процедуре.

Жизнь текла привычно, налаженно. И вдруг срочно понадобился «лепила» для обслуживания доходяг, заготовлявших сено на участках тайги, расположенных вдоль берега Кось-ю. Как-то так получилось, что выбор пал на меня.

Обычно ко всем переменам в лагерной жизни мы относились с тревогой. Но подкомандировка «Сельхоз «Кось-ю» сулила жизнь «на природе», почти «на воле». Там на весь огромный участок был один-единственный охранник.

Срок мой заканчивался, но я как-то не торопился на волю, не ожидая от этого ничего хорошего. В лазарете меня ждали утренняя пайка и баланда с кашей, привычная непыльная работа лепилы, вечерами же я мог наслаждаться «Опасными связями» Шодерло де Лакло, в университетские годы почему-то непрочитанными... А потом обнаружились друзья, с которыми я мог «отводить душу».

И вот наступает некий инкубационный период «воли»: я уже не могу работать в лечебном учреждении и мною пока что «затыкают» какую-то дыру в одном непонятном учреждении — был я чем-то вроде делопроизводителя. Продолжалось это «пока что», пожалуй, с неделю. А затем мне было объявлено, что я мобилизуюсь на военное строительство завода авиационной фанеры под названием «Спецжешартстрой».

И вот мы опять собраны в кучу, с мешками в руках, и ужасно это похоже на этап, и даже на нашем мобилизационном начальнике точь-в-точь такой же тулуп, как на вохровцах, да и физиономия соответствующая, только что винтовки в руках нет. И ведут нас, голубчиков, после соответствующей переключки, к железнодорожной станции, где мы будем погружены в тоже давно знакомые нам теплушки.

Ехали довольно долго. Наконец нас высадили на каком-то полустанке и снова, как положено, пересчитали. И тут перед нами вдруг возникло странное видение: тощее существо, скрюченное цингой, хромоте, приблизилось к нам и стало, прыгая вокруг нас, зловеще приговаривать: «Ага, прибыли! Поздравляем с прибытием! Отсюда никто живым не уйдет, так и знайте! В моей партии тоже пять десятков было пригнано, а я один тут пока что живой остался!»

Повеяло холодком, сердце тоскливо замерло. Но куда деваться? Надо было следовать к месту назначения и оформляться. И, дико озираясь на вестника несчастья, мы двинулись в путь. А в конце этого пути нас ожидала еще одна зловещая вежа: всех нас, разумеется, прежде всего отправили в баню, а нашу одежку — в прожарку, для учета же каждому выдали талончик, на котором в траурной каемке печатными буквами было обозначено одно многозначительное слово: «спецкупорка»!

По утрам наши бараки обходил тощий и юркий табельщик Георгий Мельников, обитавший с каким-то сожителем в одной

из хибарок. Мельников проверял, на законном ли основании эти люди не вышли на работу. Позже он стал одним из моих самых близких друзей, так же как и художник Филипповский, с которым он меня вскоре познакомил.

Георгий Мельников, как и Филипповский, оказался москвичом. В начале своей трудовой деятельности он работал шлифовальщиком на одном из московских заводов, был членом бюро комсомольской организации, потом стал работать в издательстве «Искусство» библиотекарем. Предварительно был исключен из комсомола за рекомендацию в ВЛКСМ девушки, отец которой оказался «врагом народа». Затем, почти через год, по доносу был забран за сокрытие ареста своего старшего брата, а также за распространение «упаднических стихов» Есенина и «контрреволюционных стихов» Гумилева.

Что касается Григория Филипповского, то он обитал в комнате при клубе, который он оформлял и в котором работал. Никакой зарплаты он, естественно, не получал и промышлял тем, что кое-какие свои работы сбывал потихоньку в сельский клуб. Непосредственной причиной его ареста была неосторожная шутка по поводу изобилия всяческих наград и орденов у Всеволода Вишневского, которую он позволил себе в его присутствии во время какого-то пиршества в компании, где, в частности, был и полпред Чехословакии. Чувство юмора — вещь опасная. Тем более, что у Вишневского всегда имелись при себе бланки ордеров на арест, в которые оставалось только вписать фамилию очередной жертвы (совсем как у пресловутого эсера Блюмкина, как известно, насмерть перепугавшего Осипа Мандельштама).

Я часто шутил, что в лагере «медицина спасла мне жизнь»: не медикаментами, разумеется, а потому, что я большую часть срока проработал «лепилой».



**Надежда
Януарьевна
РЫКОВА**

род. 1901

Из книги «Писатели Ленинграда»

Рыкова Надежда Януарьевна (29.XII.1901, Симферополь)* — переводчик, литературовед, критик. Окончила факультет языковедения и материальной культуры Ленинградского университета (1925). Работала библиографом и библиотекарем в научных библиотеках (1930—1936), редактором в Гослитиздате (1936—1941). Первая публикация — перевод с итальянского книги А. Виванти «По газетному объявлению» (1925). С 1928 публикует статьи о зарубежных писателях (Мольер, А. Доде, Ш.-Л. Филипп, М. Пруст, А. Франс, Р. Роллан и др.). Перевела многие произведения названных авторов, а также стихи В. Гюго, трагедии Корнеля «Гораций» и Расина «Береника», роман Ш. де Лакло «Опасные связи», «Гусли» и «Театр Клары Газуль» П. Мериме, «Возрожденный городок» Ж. Ромэна, «Король Иоанн» Шекспира, «История Флоренции» Маккиавелли, роман Л. Пиранделло «Старые и молодые» (в соавт. с Г. Рубцовой), «Ноа-Ноа» П. Гогена и др. Ряд ее статей и рецензий посвящен советским писателям. Подготовила сборник «Западноевропейская лирика» (1974).

Современная французская литература. М.— Л., 1939; Адриенна Лекуврер. Л., 1967.

* Надежда Януарьевна Рыкова умерла в 1996 году.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЩЕПКИ

Лес рубят — щепки летят.

Пословица.

Я попала в лапы сталинского МГБ осенью 1944 года, когда, по выражению моей покойной сестры Е. Я. Саяновой, «в тюрьму садились только отпетые дураки». Это было правдой. Я существовала как наивнейшая дура. Живя в Москве среди близких мне по духу людей, занимаясь интересной работой, внутренне поглощенная жаждой победы и ненавистью к врагу, я забыла о чудовищном «вчера», о 1937—1938 годах. В моем сознании стерся тот факт, что «сталинщина» есть подлинная основа и сущность нашей действительности.

В первой половине 1937 года была еще надежда, что внезапные исчезновения людей, ни к какой политике не относящихся, это очередной приступ истерической «бдительности», такие приступы сотрясали органы безопасности еще со времен Дзержинского. Сейчас все, хотя многие и не без труда, убедились в иррациональном ужасе и сугубой бессмыслице этого сталинского злодеяния. Почти все знали, что «изъятые» из обращения были ни в чем не повинны, поэтому хорошо понимали, что с каждым из оставшихся может случиться то же самое. Днем все работали на своих предприятиях, в служебных кабинетах, наконец, у себя дома, за письменным столом. Жили так, как будто ничего не происходило. К вечеру («изъятия» производились большей частью в ночное время) в сердца начинал заползать страх. Каждый неожиданный звонок или стук в дверь повергал в оцепенение.

Понимая, однако, что одни находятся под большей угрозой, чем другие, мы старались осмыслить, на какие категории распадается в представлении органов безопасности. Одной из таких категорий были люди, как-то и чем-то сейчас или в прошлом имеющие или имевшие касательство к загранице. Были и другие «опасные» категории. Для телефонных разговоров был элементарный «эзопов язык». Если вам отвечали по телефону, что нужный вам человек уехал или в больнице, и при этом домашние не могли сказать, куда уехал и в какой больнице находится, то сомнений не оставалось.

Да, мы жили. Как? Почему? Это было и ужасно сложно, и очень просто.

Прежде всего, были свои дела, труды, работа, самый процесс жизни. А затем — надо быть честными до конца — мы внутрен-

не уступали и покорялись. Старались если не оправдать, то найти логическое объяснение. Объясняли себе, включали в какой-то логический ряд и безобразную высылку из Ленинграда после убийства Кирова так называемых «бывших» людей. Объяснили преступно проводившуюся коллективизацию. Во всем этом была, оказывается, некая неизбежность, некая историческая необходимость. В нас много лет внедряли убеждение, что великие исторические свершения не обходятся без жертв, что прогресс сам по себе не приходит, надо ему помогать, а это не получается без ошибок, без невинных жертв. Словом: лес рубят — щепки летят. Так рассуждали сознательно или даже бессознательно. А в душе — будем правдивы до конца — у каждого жила жалкая, унижительная, подленькая надежда: авось пронесет, авось я-то не попаду в щепки.

Так можно было сжиться со многим: с коллективизацией, с процессами — промпартии, троцкистов, «левых» и «правых» оппозиций. Ну, понятно, борьба за власть. В свое время Великая французская революция тоже была не без этого, а теперь вон даже вполне буржуазные историки ее одобряют.

Хочу сразу сказать, что во всем этом не было ни малейшего лицемерия. Я искренне верила, что мы шествуем через тернии к звездам. Много в нашей действительности было мне и тягостно и противно, но твердо жило убеждение, что положительное неизбежно перевесит, что общество наше станет открытым, терпимым и либеральным. Ведь мы идем к лучшему, а необходимые признаки лучшего — это открытость, терпимость, либерализм. Да, сейчас больше зла, чем блага, но это пройдет.

С полной ответственностью могу сказать, что так думали и чувствовали все мои близкие и друзья. Но...

Но было и другое. Нельзя его скрывать, нельзя даже смазывать. Думать и чувствовать так, помимо всего прочего, нас очень устраивало в нашей практической жизни. Мы были молоды. Мы занимались тем, что нам было интересно. Несмотря на все нелепые, грубые, бессмысленные ограничения, которые ставила духовной жизни общества монополия узкого, порой просто невежественного догматизма, нам удавалось делать то, что мы считали нужным и благим. Нам хотелось во всем участвовать, ко всему иметь личное и творческое отношение. Я много работала в издательстве «Художественная литература» редактором. Мне нравилось вести борьбу за то, чтобы на русском языке появлялись те произведения классической и современной литературы Запада, которые я любила и ценила. Я писала тогда свою книгу «Современная французская литература» (она вышла в 1939 го-

ду). У всех моих друзей и просто знакомых были устремления и заботы того же порядка.

К осени 1938 года сталинский террор принял глобальные размеры, а вместе с тем обнаружился его иррационализм. Стало известно, что у «изъятых» исторгались бесчеловечными методами признания в том, чего физически не могло быть,— в организации заговоров, подготовке террористических акций и диверсий. Одни признавались в том, что ставили себе целью взорвать Смольный, другие в том, что готовили монархический переворот, третьи якобы получали инструкции по дезорганизации нашей жизни от не существующих ни в какой действительности иностранных агентов. Деятельность органов безопасности превращалась в театр абсурда, в пользу которого уже трудно было находить доводы и объяснять их деятельность исторической необходимостью. Все чаще люди, понижая голос, говорили друг другу: «Это же бред сивой кобылы! Это же не может продолжаться!»

По-видимому, это было понятно также где-то «там», в «верхах». Во второй половине 1938 года, точно начало конца, произошло «падение» Ежова, руководителя тогдашнего НКВД. Мускулатура этого всемогущего органа заметно ослабла. Наступило столь же необъяснимое внезапное затишье. Перестали «хватать» кого попало с предъявлением фантастических обвинений. Перестали высылать куда попало несчастных женщин и подростков из вновь возникшей категории ЧСИР (член семьи изменника родины). Кое-кого освобождали из тюрем, а редких счастливых — и из лагерей.

Не могу не рассказать одного эпизода.

В тюрьму попал Николай Михайлович Щергин — отец моих приятельниц, бывший еще до революции чиновником министерства финансов и еще до Великого Октября отправленный в Америку с миссией по распространению за океаном каких-то русских военных займов. Потом он вернулся в СССР, работал, но «заграница» за ним числилась. Он был обаятельный человек, остроумный, образованный и на свою беду языкастый. После ареста следователи предложили ему признаться в том, что в свое время, находясь в Японии, он был завербован японской разведкой и долгое время выполнял шпионские задания. Никакое «прямое» воздействие на него результатов не давало. Тогда следователь объявил, что привлечет к следствию дочерей Щергина. «Если так,— ответил Николай Михайлович,— то давайте бумагу и авторучку, я вам все напишу». И он, действительно, написал на шестидесяти страницах детективный роман о том, как он работал для японского агента полковника Сато. Когда он подал

следователю это сочинение, тот сказал: «Ну и филькину же грамоту ты написал, старик. Ну да ничего, сойдет». После наступившего «потепления» Щергин был объявлен СОЭ (социально опасным элементом) и выслан в Казахстан. Вскоре после его отъезда к нам — к его дочери Антонине Николаевне и ко мне (мы жили вместе) — пришел приятный молодой человек, объяснивший, что до освобождения он находился в одной камере с Николаем Михайловичем.

— Передайте ему,— сказал молодой человек,— что к вам заходил еврейский король.

— ?!

— Так прозвали меня в камере. Мне было предъявлено обвинение в том, что я возглавлял еврейскую монархическую организацию.

Эта трагикомическая история двух репрессированных дает четкое представление о том, к чему можно прилепить определение одного советского поэта: «бред сыпнотифозного медведя».

Так, в состоянии «затишья», прожили мы 1939-й, 1940-й и первую половину 1941 года.

Началась война. Мне и моей сестре, благодаря стараниям ее мужа Виссариона Саянова, удалось уехать из уже осажденного Ленинграда. Это случилось 30 ноября. Город уже начал голодать, но дома еще отапливались. Трамваи еще шли. Наша поездка до Перми (тогда это был Молотов) длилась восемнадцать дней. Ехали в теплушке, в грязи и во вшах. В Перми нам повезло: там было немало эвакуированных писателей, помогал, как только мог, Литфонд.

К сожалению, мне, человеку литературному, но уклона западного, в Перми делать было нечего. И я стала добиваться вызова в Москву.

Должна сразу сказать, что война оттеснила переживания и настроения «медвежьего сыпнотифозного бреда». И это было, конечно, плохо, непростительно, но — увы! — естественно. Сейчас речь шла уже просто о выживании государства (какого бы то ни было, но русского), нации, народа и каждого из нас всех в отдельности. Я внутренне существовала только ненавистью к врагу и жадной победы. Так дожили мы до декабря 1942 года, до первых благостных раскатов Сталинградской победы. Как-то, в дни, когда, если можно так выразиться, люди уже уверились в победе, подняли головы, выпрямили спины, я встретилась в одном из коридоров семизатжки с жившим этажом ниже нас Михаилом Леонидовичем Слонимским. Меня переполняло патриотическое ликование.

— Да,— сказал Слонимский,— мы радуемся, и вы, и я, и все вообще. И нельзя не ликовать. Но будьте осторожны. Не рассчитывайте, что после победы расцветет либерализм на кисельных берегах молочных рек. После победы нам и покажут кузькину мать.

Он, один из умнейших людей в писательском мире, оказался прав. Но в начале 1943 года до «кузькиной матери» было еще далеко.

В марте 1943 года я получила вызов в Москву. Приют я нашла там у своей подруги детства по имени Наташа. Это была милая обаятельная женщина. Она жила с матерью и мужем, человеком неплохим, но алкоголиком и совершенно больным.

Кроме меня, они приютили еще одного знакомого, семья которого была эвакуирована,— Борю Слюза. Этот человек невольно погубил и себя, и всех нас.

Жили мы дружно. Я сразу получила работу и в издательстве «Художественная литература», и в ТАССе. Работа была интересная. Настроение у меня было приподнятое. Я с трепетом слушала вечерние реляции Совинформбюро. У нас в комнате висела огромная карта, на которой я старательно переставляла флажки, иногда даже опережая сообщения о занятых городах и форсированных реках. Из моего сознания смылись 1937—1938 годы. Над моей кроватью висел портрет великого человека с орлиным профилем и в погонах.

Подходили октябрьские праздники 1943 года. К празднику привезли нам из колхоза картошку и другие овощи, в частности морковку. Одна морковка была по форме своей овальная, смешная и наталкивала на не совсем приличные ассоциации. Некоторое время мы забавлялись этим, даже не подозревая, что морковочка принесет нам беду.

7 ноября 1943 года мы устроили празднество «с выпивкой». Было весело, довольно шумно. В порядке «трепа» мне поднесли вырезанный из картона и ярко раскрашенный «орден», звезду, в центре которой была изображена пресловутая морковка. При ордене была грамота «За успешное согласование наступательных операций на всех фронтах». Похохотали, попили, поели. Орден я забрала и вскоре о нем забыла.

Комната у нас была большая, разделенная всякими перегородками из бывших портьер на три части. В одном отсеке ютился Боря Слюз. Специальность его была художник-прозектор, то есть он препарировал для тех или иных целей изъятые из мертвых тел органы, а также делал муляжи различных внутренностей человека. На наше (и свое тоже) несчастье, он стал пытаться

устроиться на работу к благоволившему ему Збарскому в мавзолей Ленина. Как только он подал заявление, его стали проверять. Приставили к нему сослуживца, который «подружился» с ним. Боря, очень любивший предаваться антисоветской трепотне, пригласил этого «друга» к себе, то есть к нам. Как все вообще люди нашего круга, мы были богемой, выпивали при случае, распускали языки.

Коротко говоря, мою Наташу, Борю Слюза и меня забрали. Приписали нам моральное разложение, антисоветскую пропаганду, издевательство над советским патриотизмом (вот тут-то и сыграл свою роль «орден морковки»). Следствие длилось недолго, суда не было, так как для него материала не хватало. Осудила нас всех на пять лет лагеря «тройка» — Особое Совещание. Приговор мне прочел какой-то не очень грамотный парень в тюремном коридоре.

До отправки в лагерь я несколько месяцев просидела, точнее, пролежала, на койке в камере Бутырской тюрьмы. На мое счастье, там же была и моя Наташа, расстались мы незадолго до моей отправки в Караганду. Ее забрали на этап немного раньше, чем меня. Мы получали с воли передачи и потому были более или менее сыты. Окружение тоже не было тягостным, почти все — такие же «щепки», как и мы, — одни помоложе, другие постарше, третьи — наши однолетки. Камера была дружная.

Но моральное состояние было ужасным. Теперь, когда я сама оказалась щепкой, началась для меня — по заслугам — переоценка всего. Мы были отрезаны от жизни, ничего и ни о чем не знали. По вечерам стены Бутырок сотрясались от артиллерийского салюта, знаменующего очередную победу. И каждый такой салют был напоминанием, что у меня «ни за что ни про что» украли победу.

Потом был лагерь.

Мне в какой-то мере повезло: я попала в один из первых кругов ада. Исень-Геладинское отделение Карагандинского лагеря было крошечным островком архипелага — сельскохозяйственным, обычного режима. Он был по специальности конно-заводческий, главную роль играли зоотехники и ветеринары. Грамотных, более или менее интеллигентных людей, присланных сюда главным образом по 58-й статье, было немного, и силою вещей они оказались в привилегированном положении — расконвоированными, свободно передвигавшимися по всей территории, занятыми исключительно административно-хозяйственными делами. Это были те, кто на лагерном языке называется «придурками». В их среду попала и я. За все четыре года

и два месяца лагерной жизни я ни одной минуты не была на так называемых «общих работах»: сперва мне довелось быть секретарем начальника отделения, потом статистиком санчасти. По существующему в лагерях положению, эти должности могли занимать только вольнонаемные, притом никогда не судившиеся.

Несмотря на эту относительную привилегированность, несмотря на постоянное общение с людьми моего уровня, несмотря на деньги и продовольственные посылки, которые я получала с воли, я вспоминаю об этих годах только с тоской и отвращением. Хотя даже отношения начальства и заключенных были там пристойными и человеческими, сама система рабского положения и рабского труда (пусть даже «придурочного») была невыносима. Невыносимы были и физические условия. Зимой угнетали морозы и бураны, в бараках стоял холод, особенно в буранные дни, когда прекращался завоз продовольствия и топлива. В последний год своего пребывания в лагере я заболела тяжелым плевритом, который перешел в туберкулез. Если бы срок у меня был не пять, а, скажем, восемь лет, я бы наверное умерла. Но будем справедливы. Мне повезло и в том, что меня окружали милые дружественно настроенные люди. Всегда буду помнить начальницу санчасти врача Тишкову, бывшую заключенную (ЧСИР), уже отбывшую срок, но не имевшую права возвратиться в Москву, начальницу стройчасти — архитектора, тоже «освободившуюся» ЧСИР, талантливого литератора Аркадия Биленкова, еще совсем молодого. После освобождения и реабилитации он выпустил великолепную книгу о Тынянове, а потом, уже за границей, интереснейшую работу о Ю. Олеше. Большим моим другом, которому я обязана заботой и уходом во время моей болезни, была Надежда Викентьевна Лордкипанидзе, ЧСИР, вдова бывшего наркома КГБ Грузии, а потом Крыма: на свое несчастье, он что-то не поделил с Берией.

По воззрениям гулажского руководства, сельскохозяйственные «островки» ГУЛАГа были чем-то вроде курорта. Туда посылали совершенно измотанных доходяг из более глубоких кругов ада. Большинство они попадали в нашу больницу и вскорости погибали. Как статистик санчасти, я оформляла документы о смерти и относила их на подпись начальнику отделения. Помнится, в июле 1947 года я зашла с очередной, одиннадцатой или двенадцатой, бумажкой такого рода в кабинет начальника. У него сидел оперуполномоченный — око и ухо МВД в лагере, гроза не только эзков, но и вольнонаемных. Подписывая бумажку, начальник спросил:

— Что это у вас в санчасти без конца помирают?

Я не хотела, чтобы доктору Тишковой, моей начальнице и другу, довелось иметь какие-нибудь неприятности. Умирали-то ведь безнадежные, и у нас здесь никто в этом не был виноват. Я твердым и официальным тоном произнесла:

— Гражданин начальник, у нас умирают только те, кому положено умереть.

Оперуполномоченный расхохотался.

— Правильно! Вот это, я понимаю, ответ!

Одного не забуду никогда. Начальница стройчасти Елена Гужинская только что вернулась из Ленинграда (освободившихся, но «ограниченных» ненадолго пускали в столицы), побывала там у моих, привезла мне письмо и посылочку. Обе мы были взволнованы и почему-то заговорили о том, почему и откуда весь этот бред. И я опять сказала, что нельзя себе представить, чтобы «он» знал обо всех художествах своих органов безопасности.

Она вспылила:

— Ну, знаете, если после того, что происходит на ваших глазах и с вами самой, вы не понимаете, что источник всего — это чудовище, то, простите меня, так вам и надо!

Правильно. Так мне и было надо. За все: за то, что мне было удобно и выгодно верить в историческую необходимость и в то, что ничего не поделаешь, когда летят щепки. Вот теперь я тоже щепка, отлетевшая в сторону. И многим меня жалко. Но ничего не поделаешь. Так мне и надо даже за то, что в своих писаниях проталкивала то, что мне было ценно и нужно, сквозь постылое «идеологическое» приспособленческое бляенье. Так мне и надо за то, что в Москве у меня над кроватью висел «он», с орлиным профилем и в погонах.

Лагерь закончился для меня в конце октября 1949 года, ровно через пять лет после того, как я была вырвана из жизни. Ни в Ленинград, ни в Москву я вернуться не могла. Поселилась под Ленинградом, сперва в Малой Вишере, потом в Новгороде, потом в Луге. Благодаря моей сестре и ее мужу, Саянову, я часто наезжала в Ленинград, виделась с друзьями и, если можно так выразиться, находилась около жизни. Жизнь была тут же, рядом, но недоступна, за какими-то гигантскими стенами. В некоторых отношениях это было еще хуже, чем лагерь.

Однако сохранившиеся и даже вновь обретенные связи с Ленинградом дали мне возможность вернуться к литературной работе. Я что-то делала, что-то печатала, мне платили деньги, но при этом меня, моего имени как бы не существовало, имена были другие.

В таком же положении, как я, а то и в худшем, были сотни тысяч, а может быть, не один миллион человек в счастливейшей стране социализма. Я, конечно, думала о будущем, и оно представлялось мрачным. Для меня (так же, как и для других отверженных) ничто не могло измениться к лучшему. Ясно было одно: ничто не изменится, пока «он» жив. Между мною и жизнью стоял «он». На то, что он умрет, было мало шансов. Политические деятели почему-то живут очень долго. Семидесятирехлетний глава государства в некотором смысле еще юнец.

Казалось бы — безнадежность. И вдруг пошли слухи... «Он» якобы болен. Во мне все затрепетало. Господи, неужели... Потом появились подтверждения. Начало брезжить что-то вроде рассвета.

И вот наступило утро, когда по радио начали передавать похоронный марш Шопена. «Господи, сделай так, чтобы он умер».

Я была одной из первых, кто зажил снова. Была объявлена так называемая «ворошиловская амнистия» (Ворошилов был тогда Председателем Президиума Верховного Совета), которая касалась всех, осужденных на срок до пяти лет.



Василий Андреевич СОКОЛОВ

род. 1908

Родился 1 марта 1908 года* в дер. Ивачева (Павловская) Вытегорского уезда Олонецкой губ. (ныне Вологодской обл.). После окончания средней школы работал матросом земснаряда в г. Вытегра. В 1925 году по рекомендации Дм. Фурманова поступил на рабфак Ленинградского технологического института, затем заочно учился в Литературном Университете при СП СССР, работал в редакции газеты «Звезда» (г. Новгород). В ноябре 1937 г. Особой Тройкой УНКВД Лен. области осужден за контрреволюционные преступления к 8-ми годам лишения свободы. Работал на лесоразработках в Горьковской обл. После освобождения в 1945 г. стал сотрудником редакции газеты «Новгородская правда». С 1968 по 1985 гг. В. А. Соколов возглавлял Новгородскую писательскую организацию. Пишет прозу, стихи, пьесы. Спектакль «Крещенные огнем» по его пьесе долгое время шел в Новгородском драматическом театре. В Союз писателей СССР принят в 1964 г.

В сентябре 1956 г. постановлением Новгородского областного суда В. А. Соколов реабилитирован. С 1987 г. проживал в г. Санкт-Петербурге. Скончался 4 июня 1991 г.

Незаменимый дед: одноактная комедия. М., 1965; Зрелость: повести и рассказы. Л., 1982; Художник Сварог. Л., 1986. Стихи:

* Василий Андреевич Соколов умер в 1991 году.

Праздник сердца. Новгород, 1959; Просторы. Л., 1963; Третье окно. Л., 1968; Внимая радости. Л., 1971; Кого люблю. М., 1974; Стихотворения. Л., 1978.

Василий Соколов

ВОСЕМЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

На девятом десятке лет моих что-то светлое, радостное забылось. Мрачное, горестное — нет.

Беды, обиды стараюсь не вспоминать. Не помнить зла. А все-таки забыть никак не удается. Говорят, что поняв, можно все простить?

Ленинградская область тридцатых годов. На ее карте голубеет озеро Ильмень с истоком — рекой Волхов. Здесь древний Новгород, районный город с сорокатысячным населением. Я работал штатным сотрудником районной газеты «Звезда», увлеченно писал и публиковал в ленинградских журналах стихи и рассказы, выступал с чтением стихов на литературных вечерах, на радио.

В тридцать седьмом году с берегов Невы на берега Волхова докатился вал репрессий. В Новгороде за несколько месяцев были исключены из партии сто сорок четыре коммуниста и многие из них арестованы. Репрессии коснулись и беспартийных, непричастных ни к каким оппозициям и уклонам людей.

Новгородский ночной воронок шнырял, пофыркивая, из улицы в улицу, из села в село. Несчастных ошеломленных людей вели пешком на Московскую улицу в дом 12. Конвоиры прихватывали конфискованные дорогие охотничьи ружья.

Продержав час или два, впахивали в подошедшую машину человек двадцать и так, стоймя, спрессованных, везли на Ленинградскую улицу — в тюрьму. На другие сутки везли из тюрьмы на допрос, преимущественно ночью, чтобы спящий город не ведал, что творится в двухэтажном особняке на главной улице Новгорода.

Новгородцы старшего поколения помнят громкий процесс «контрреволюционеров»: секретаря райкома партии Степана Сергеевича Самохвалова, председателя райисполкома Алексея Григорьевича Бригадного и с ними группы работников сельского хозяйства. Зал театра превратился в кошмарное судилище. Спецколлегия предъявила этим в высшей степени порядочным людям убийственные статьи. Никто в те дни не верил, не верит и теперь, что они искривляли политику партии в сельском хозяйстве, хотя признавались в этом на суде. Так подготовили их дознаватели.

Прошлое не возвращается. Возвратись мое прошлое, пришлось бы вновь стоять перед лицом следователя Лимова.

Лимов одного со мной возраста, выпускник дорожного техникума, делал карьеру не на дорожном строительстве.

После осуждения Бригадного, Самохвалова и других видных работников сельского хозяйства новгородские энкавдэшники решили создать новый громкий процесс, суд над работниками партийной печати. Арестовали редактора газеты «Звезда» Степаненко, его заместителя Серова, жену его Киру Серову, меня.

«Судить вашу контрреволюционную организацию будет спецколлегия, тоже в городском театре»,— говорил мне после одного из допросов Лимов, следя за плывущими над столом ароматными струйками трубочного дыма.

Сорок пять дней содержали меня в общей камере, донельзя переполненной арестованными. Только один раз разрешили пятиминутное свидание с женой. В общей массе кричащих друг другу сквозь решетку, остриженного под ноль, исхудавшего, меня не сразу узнала жена.

Было о чем подумать в эти сорок пять дней и ночей на голых нарах. Кругом люди незнакомые, смесь одежды и лиц, смесь статей обвинения, ожидание вызова в суд.

Следственный материал не дал оснований для открытого суда. Редактора и заместителя этапировали из новгородской тюрьмы в ленинградскую, там привязали к какому-то делу, а собранный на Киру Серову и на меня компромат был передан на рассмотрение ленинградской Тройки НКВД. (Спешно созданные, внесудебные «тройки» и «особые совещания» творили суд и расправу в массовом порядке, в основном заочно.)

Какой-то деятель из ведомства энкавдэшников зачитал мне в коридоре тюрьмы узкую бумажку, постановление Тройки: «Виновным себя не признал, но изобличен в ходе следствия».

Не помню, каким транспортом доставили нас, несколько десятков заключенных новгородцев, в Ленинград, в пересыльную тюрьму на Константиноградской улице. Здесь в зале бывшей почтовой экспедиции томились уже более двухсот приговоренных к долгому пребыванию и убийственно тяжкому труду в ежовских лагерях. Казалось, так долго продолжаться не может, Сталину сообщат, Сталин поймет, остановит поток несправедливости. Нет. Наш бивуак то уменьшался за счет уходящего этапа, то вновь гудел от многолюдства прибывавших из тюрем ленинградской области.

Сорок пять дней — новгородский тюремный счет повторился почему-то — ожидал я отправки в лагерь. Жена, приехав

в Ленинград, свидания не получила, сумела только передать посылку с теплой одеждой.

В тот же день через решетку огромных дверей нашей камеры я увидел в коридоре автора книги «Колхоз рождается в муках» новгородца Ивана Михайлова. Мертвенно бледный, с заплочным мешком на лямках, он понуро стоял среди вызванных на этап.

Новый, 1938 год я встретил на нарах в соседстве с тремя глухонемыми. Осуждены они были, как это не нелепо звучит, за антисоветскую агитацию. Они продавали в дачных поездах художественные открытки, из них несколько оказалось с изображением осужденных бывших членов правительства.

Антисоветская агитация понималась в то время широко. Находили крамолу даже на этикетках спичечных коробков — с острой тенью от горящей спички они напоминали будто бы острую бородку Троцкого.

Не бывает худа без добра — в огромной камере пересылки, окна которой среди зимы были настежь раскрыты, меня перестала трепать малярия.

— Этапа боится,— пошутил мой сосед, рабочий Путиловского завода Стальфот, арестованный за «шпионскую» свою фамилию,— его прадед был обрусевшим немцем.

И вот этап. Несколько вагонов по сорок человек в каждом, да четверо конвойных. В нашем вагоне все на букву «с»: Савин, Семенов, Сидоров, Соколов, Соловьев, Старк, Стальфот... Конвойные позвякивают наручниками на всякий случай. Ночью бегают по крыше вагона с деревянными колотушками, проверяют, не прорезали ли мы кровлю.

В конце вагона оборудованы нары. Их с ходу заняли уголовники. Мы «контрики» возле буржуйки, топящейся углем, сидим на своих мешках, торбах, чемоданишках. Дремлем. Те, что на нарах, спят вольготно. Ночью проехали Москву. Остановился поезд где-то на запасных путях.

Утром раздвинулись вагонные ворота. Конвойные подали хлеб, селедку, ведро воды.

— Куда везете нас? — спрашиваем.

— Куда, куда. На Кудыкину гору,— был ответ.

Ворота вагона затворились. Около полудня состав тронулся дальше. Мела февральская метель, осыпая жестким снегом стены нашего ковчега.

— А все-таки, куда гады везут нас? В Караганду? На Колыму? Не похоже. Может быть, в Сибирь, на Урал?

Сколько ни гадали, ни пререкались, никто не мог определить путь следования нашего ленинградского этапа. На вторые

сутки уголовники ограбили всех, у кого было в чемоданишке или в мешке что-либо съестное.

Обирать нас уголовники почитали своим правом. Больше того: они видели в нас действительно врагов народа, мы же, по их понятиям, были виноваты и в том, что их, воров, жуликов и хулиганов, замела метла изоляции.

В ночь на третьи сутки раздалась команда:

— Слезай, приехали! Давай, давай поживее!

Мы спрыгивали с вещами прямо в сугробы. Построили нас парами. Предупредили: шаг влево, шаг вправо считается побегом, стреляем без предупреждения.

При свете фонарей «летучая мышь» конвой повел нас по лесной, завейной метелью дороге. Старики отставали: тогда конвоиры останавливали впереди идущих. Так брели не меньше часу в надежде на теплый барак. Я был в пальто, в теплой шапке, в валенках. Одолеп переход сравнительно легко. Другие озябли. Ввели нас в нетопленный барак, где не было ни нар, ни даже скамеек. Сказали: «Здесь распределитель. После карантина и санобработки рассредоточат по лагпунктам».

Барак длинный, длинный. В одном конце подобие эстрады, задник оштукатурен, на нем красной краской четко выведен сталинский лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей!»

Под лозунгом, во всю ширину стены многокрасочное панно: арбузы, дыни, яблоки, виноград. Роскошная ваза с цветами посредине. Далее намалеваны окорока, колбаса, булки, пироги! А мы — голодные. Глядим с жадностью и возмущением на это изобилие.

Горьковская область, Семеновский район. Станция Сухо-Безводное. Унжлаг НКВД. Лагпункт 9.

Таким был мой первоначальный адрес. С годами я побывал на всех лагпунктах, а их насчитывалось больше двадцати, в каждом до тысячи заключенных. Когда списочный состав становился меньше, контингент пополнялся за счет вновь прибывающих этапов.

Февраль тридцать восьмого года. Лесоповал.

Где-то здесь, за лесами, за широкими долами ютится волшебное озеро Светояр с утонувшим в нем Китеж-градом. Где-то вблизи город ложкарей Семенов, родина несчастного поэта Бориса Корнилова, репрессированного год назад.

Лютовал февраль. Лютовал начальник нашей девятки Пугач, бывший истязатель заключенных Соловецких лагерей, не расстававшийся и здесь с палкой. Следом бегал с фанеркой и дры-

ном в руках нарядчик Женька Житиков. Отправляли на лесоповал кое-как одетых людей ранним, морозным утром. Матерились. Били отказывающихся идти в лес в кавказских чукьяках, обмотанных тряпьем.

Подбежав на кривых ногах к доктору Роганькову, свирепый Пугач орал, мешая украинскую мову с русской речью: «Ты, ликарь, сколько зеков признал хворыми сегодня? А! Оставил в зоне тридцать двоих?! Ты маешь десять рокив, схватишь еще столько ж за свое милосердство, контра!» Роганьков, униженный и оскорбленный, и все же не теряющий своего достоинства, отвечал: «Я, гражданин начальник, врач. Если завтра больных будет в два раза больше, тоже освобожу всех». Пугач, грозя палкой, отступал. Не ровен час, вдруг самому придется обращаться к этому же врачу Роганькову.

Подконвойно выходим за ворота, строимся по четверо в ряд. Впереди женщины. Идем на работу в лес, за три километра от вахты. Женька Житиков, сделав отметку на нарядческой фанерке, уходит в свою кабинку, дневальный несет ему из столовой завтрак. Пугач, позавтракав в столовке охраны, появляется через час в оцепленном охраной квадрате хвойного бора. Заматерелый соловецкий зверюга с ходу набрасывается на стоящих у костра: «А, контра поганая! Вас что, загорать привезли сюда? Кубы, кубики давайте мне! Норму я, что ли, давать за вас буду, суки, гады, сволочи!»

Зеки разбегаются. Стучат топоры, повизгивают ручные лучковые пилы. Стелется дым от сжигаемых сучьев. С глухим стоном валятся вековые сосны, седая ель, голые березы. Я кряжую спиленную осину на дрова.

Человеку, истомленному тюрьмой, запивающему жидкой похлебкой хлебную пайку, ни за что не выполнить на лесоповале норму, рассчитанную на сытого, дюжего, опытного лесоруба. Таких мастеров среди нас не видно. Норовим закладывать в дровяной штабель побольше горбатых поленьев, чтобы четыре кубометра казались за пять. Называлось это «заряжать туфту». Не выполнившего норму заготовки дров или деловой древесины ждала тощая хлебная пайка. Бригадир редко удавалось вытянуть бригаду на семьсот граммов. Ленинградцы-блокадники, пожалуй, скажут, что семьсот, даже пятьсот граммов не двести блокадных, жить можно. Нет. Ежедневная, изматывающая работа в лесу в стужу так же убийственна.

Жили мы — сто полумертвых душ — в брезентовой палатке, обогреваемой двумя железными печками. После ужина валились на голые нары, не раздеваясь, не разуваясь. На себе бушлат,

под головой фуфайка, если кто не променял ее на хлеб. Печки наши гасли среди ночи. Шапки примерзали к брезенту.

Утром проснешься, рядом покойник, а то и два.

Жизнеспособнее всех оказались уркаганы. Они заняли отепленную половину строящегося барака, работали меньше нас, питались лучше нас. Их бригада выходила в лес, сваливала несколько деревьев и развлекалась у костра. Пугача они не ставили ни во что, зубоскалили: «Ты, начальник, нам лучше каши не доложь, а от костра нас не тревожь».

Пугач побаивался их. Хлеб и обед выписывал им как выполняющим нормы, иначе не станут вовсе выходить на делянку.

Бежали дни. Потеплело. Прибыл откуда-то этап, новичков всунули в палатку, нас перевели в барак.

Летом произошло невероятное в ежовщину событие. Уволили Пугача, как нам тогда сказали, за бесчеловечное отношение к заключенным. Невероятно, но, свидетельствую: факт! Нарядчика Житикова послали в лес на общие работы, даже бригадирство не доверили.

Работая пилой и топором, я размышлял: на чем держится система ГУЛАГа, почему выгодно иметь лагеря, подобные нашему? Потому, что человек, прежде чем перестанет существовать на сей земле, заготовит сколько-то древесины, намоет сколько-то граммов золота?

Дровяные поезда-«вертушки» Горький — Москва оборачивались за двое суток. Мы отгружали топливо столице, еще изобиловавшей русскими печками. С наших делянок отправлялось также сырье бумажным фабрикам, крепеж угольным шахтам. Самая дешевая рабочая сила — мы. Самая организованная рабочая рать — мы. А двадцать тысяч заключенных — это двадцать тысяч кубометров! Дровяное море! Бесплатно, за кусок хлеба, за миску баланды.

Зимой тридцать восьмого я проходил зоной четырнадцатого лагпункта. Увидел необычное: охранники сбрасывают с фронтона административного здания портрет «горячо любимого», железного наркома Ежова. Портрет валится в сугроб, его топчут на виду у заключенных, при этом кричат: «Скоро домой, работяги!» Кто-то презрительно отвечает: «Параша!»

На фронтон вознесся лунный — в пенсне — лик нового наркома внутренних дел Лаврентия Берии, справедливого, по слухам, милосердного. Слух исходил от высшего лагерного начальства.

С начала войны не вдруг, но появились на наших лагпунктах теплицы для выращивания зелени, небольшие огороды — тоже

подкормка, спасение от цинги. Вообще начальство вынуждено было поослабить кое-что в режиме. В помещении культурно-воспитательной части появлялась семеновская районная газета, брошюры. Аркадий Малков, бывший циркач, отлично делал многокрасочную стенную газету. Я помогал ему, для этого на день-два меня освобождали от лесоповала. Субботними вечерами столовая превращалась в зрительный зал — шли концерты участников художественной самодеятельности.

Не чинилось запрета на письма родственникам, на получение посылок. И что дороже всего, зекам разрешали за высокие трудовые показатели и примерное поведение в быту свидания с родственниками. Один раз ко мне приезжала на свидание жена.

Двое суток провели мы с ней в домике свиданий, пристроенном к вахте, где дежурили охранники. Уехала моя Мария Яковлевна, увозя пачку писем заключенных к их родным в Ленинград, в Калинин, в Москву, в Воронеж.

Миф о милосердном наркоме развеялся, когда начали привозить в лагерь репрессированных командиров и политработников Красной Армии. Даже таких, которых лично знал и представлял в недавнее время к наградам К. Е. Ворошилов.

Один случай нас всех поразил. Вывели нашу бригаду на ремонт железнодорожной ветки. Полустанок назывался Кайск. Совковыми лопатами кидаем гравий, заполняя образовавшиеся ямы. Проходят мимо женщины из ближней деревни, слышим, говорят:

— Счастливые люди!

— Это вы про нас?

— Про кого же? Кормят вас в норму. Спите под кровом. Считают, охраняют, сохраняют жизнь. А наши-то сыновья, мужья на фронтах бредут под пулями, под смертными. Вон в город Семенов поезд раненых прибыл. Есть которые без рук, без ног.

— А я уж похоронку на сынка получила,— сказала другая женщина.

Шел второй месяц Великой Отечественной войны. Не думали эти солдатики о том, что при иных условиях мы были бы на месте их мужей, их сыновей.

Война отняла последние надежды на наше освобождение. Пересмотры дел прокуратура прекратила. Лагерный режим ужесточился: отменили свидания, ограничили переписку. Перестали заключенные получать посылки. Да кто и откуда посылал бы их? Ленинград в блокаде, Новгород, Старая Русса, Чудово сожжены, Калинин, Псков оккупированы фашистами. Где наши родные, что с ними? Только в начале сорок пятого года я полу-

чил справку адресного бюро: жена и дочь эвакуированы в Среднюю Азию.

Масштаб репрессий по РСФСР сократился, зато валом повалили осужденные Тройками и Особыми Совещаниями из западных районов Украины и Белоруссии.

К нашим горестям и бедам прибавились отказы жен от своих мужей — «врагов народа». Это на первых порах. Позже — по другой причине. Обвинять молодых изменниц не приходилось — чья натура выдержит вынужденное десятилетнее вдовство или одиночество?

Действовала у нас, передвигаясь с участка на участок, агитбригада, к работе которой привлекли и меня. Постепенно состав бригады пополняли чтецы, музыканты, артисты драмы и балета, в основном профессионалы. Недостатка в этих кадрах в пору массовых репрессий не было.

Заслуженный деятель искусств Татарской АССР Омар Галимович Девишев, ученик К. С. Станиславского, был режиссером-постановщиком. Ему доверили стать нашим руководителем, вручив вырезки из газеты «Правда» с опубликованной пьесой К. Симонова «Русские люди». Композитор И. Габер из Чувашской консерватории, включенный в наш коллектив, музыкально оформлял все наши спектакли и подготавливал участников концертов.

Были у нас превосходные певцы: тенор К. Штурм, бас В. Базылев, баритон Г. Ованесян, рижская солистка Э. Рейнап, ленинградка Т. Артамонова, москвички А. Шилина, К. Крылова, драматические артисты: В. Курбатов, И. Мандрыкин, Б. Залетный, Л. Клорштейн, В. Романова, З. Соколова, музыканты: А. Мисаян, И. Мерлин, А. Данилин. Да простят меня другие, кого не назвал здесь, в том виновата потускневшая память. Названные не все дожили до своего освобождения, а возвратившиеся не все обрели вновь свои ампулы.

Агитбригада, сохранив свое название, негласно превратилась в лагерный музыкально-драматический театр, который в годы Великой Отечественной войны давал концерты и спектакли не только для заключенных, но и для вольнонаемных. Мы показали на своем маршруте «Русские люди» и «Жди меня» К. Симонова, «Бесприданницу», «Слугу двух господ», музыкальные комедии «Роз-Мари», «Веселую вдову», «Марицу»...

Москва недалеко от Горького, поэтому управление нашего лагеря нередко навещали высокие чины из ГУЛАГа. Приходили в Дом культуры посмотреть наш концерт или спектакль.

Предстояло нам показать большую концертную программу

в честь двадцать пятой годовщины Октября. Готовили мы ее долго. В это время появился в печати Гимн Советского Союза.

Перед самым началом концерта за сценой кто-то из сотрудников управления предупредил: «Будет в зале высокое начальство из Москвы. И наше тоже. Это в первых рядах. Позади родственники начальства и охраны. Приготовьтесь к тому, что аплодисментов не будет. Не полагается». Ну что же, не будет, так не будет. Мы заключенные, враги народа, наша доля такая.

Хор на сцене. Все в новой униформе: синие шевиотовые брюки и юбки, куртки, блузки с голубыми лацканами, рубашки с галстуками-бабочками. Даю знак хору держаться браво. Хор держится с достоинством. От начала гимна до конца ни одного неясно произнесенного слова, ни одной фальшивой ноты! Последний аккорд музыки, и по залу — от задних дверей к сцене — прокатился вал аплодисментов. В этот час зрителям дела нет до навешенных нам статей и сроков, они видят в нас не заключенных, не врагов народа, а людей, несущих им свет, радость душевную...



**Софья
Степановна
СОЛУНОВА**

род. 1903

РАССКАЖУ О СЕБЕ...

Я — коренная петербурженка, родилась в сентябре 1903 года в семье служащего — выходца из крестьян. Поступила в гимназию, которую впоследствии переименовали в единую трудовую школу. В гимназии прекрасно преподавали иностранные языки, так что я с детства изучила немецкий, английский и особенно французский языки. Почти три года проучилась в Университете на этимолого-лингвистическом отделении, но на третьем курсе заболела туберкулезом и вынуждена была оставить учебу.

Диплом с отличием я получила много лет спустя — в 1954 году, когда мне было уже пятьдесят лет. В те годы местом моего жительства были маленькие города и поселки. В одном из сел — Алеховщине под Лудейным полем — я учительствовала.

Первое мое стихотворение было опубликовано в журнале «Арс» в 1913 году — мне тогда было десять лет. Затем появились стихи в журнале «Юный пролетарий», но это сплошь было подражанием Лермонтову.

Потом я вошла в литературное объединение при редакции журнала «Работница и крестьянка», где познакомилась с Ольгой Берггольц. Я очень любила ее стихи и даже в 1937 году, когда меня арестовали, захватила с собой книгу ее стихов.

С моим будущим мужем, Яковом Полем, я познакомилась в Ленинграде в 1926 году. И через два года мы поженились.

Многое из биографии моего мужа остается для меня тайной и сейчас.

Яков говорил, что он сирота, воспитывала его медсестра, с которой они разговаривали по-немецки. Яков получил блестящее военное образование. В 1928 году его назначили начальником инженерных войск Ленинградского военного округа. Затем перевели в Москву преподавать в Военно-инженерной академии им. В. Куйбышева. А в 1937 году он занимал должность начальника отдела военной разведки. Его должны были назначить военным атташе в Париже, но вместо столицы Франции он оказался в Лефортово, и через несколько месяцев после ареста, в апреле 1938 года его расстреляли. Но я узнала об этом через несколько десятков лет.

Я и сама находилась в то время в лагере как жена изменника Родины. Когда в 1954-м я вернулся в Ленинград, то все вглядывалась в лица прохожих, надеясь на чудо. И перестала ждать Якова лишь недавно, когда получила документ, подтверждающий расстрел. А где могила мужа — осталось неизвестным.

После того как забрали Якова, я, по наивности, ходила к следователю доказывать, что муж невиновен. Еще хорошо, что я тогда догадалась отправить свою дочь Светлану в Ленинград к ее бабушке — моему отцу. Светлане было тогда восемь лет. А увиделись мы с ней на девятый год моего лагерного житья, когда я уже числилась вольнонаемной. Семнадцатилетнюю Свету привез мой отец.

А в ноябре 1937-го, когда меня арестовали, привезли в Бутырку, где я провела семь месяцев. Затем — долгие девять лет лагерей (восемь из них заключенной, один — вольнонаемной). Узнала я, что такое система лагерей КарЛАГ (район Караганды), «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников Родины). В этих лагерях были родственницы выдающихся деятелей того времени: сестры Тухачевского, Блюхера, теща композитора Баснера, мать Майи Плисецкой.

Работать приходилось на разных работах: на сельхозработах, на жатве камыша (его собирали в огромных количествах для набивки матрасов), на вышивальной фабрике, долгое время была ветсанитаром, пришлось освоить профессию чабана, пасти отару овец.

И все же надеялась, что скоро весь это кошмар кончится. Как и многие, наивно верила, что руководство страны обмануто, страна поймет — мы честные люди, любящие Родину. Сама я по характеру человек спокойный, уравновешенный. Хотя один раз я сорвалась, пыталась свести счеты с жизнью.

Тогда я работала на ферме, ухаживала за овцами. На ферму прислали нового начальника — бывшего урку, уголовника. Он ненавидел политических заключенных и однажды довел меня до тяжелого нервного припадка. Вот тогда и решила уйти из жизни, но так, чтобы все вышло незаметно.

В молодости я перенесла туберкулез, и имела слабые легкие. Поэтому решила заболеть и умереть как бы вполне естественно. Три ночи подряд выходила из барака (там можно было выйти: жили мы в глуши, и охраняли нас меньше), снимала бушлат и ложилась в одной рубашке на снег. На снегу лежала около часа. Думала, что непременно умру, но за три ночи смерть меня не взяла, и я опять захотела жить. А в скором времени меня перевели на другую ферму, где все оказалось не таким ужасным. По крайней мере начальник лагеря был вежлив, всегда обращался к нам на «вы». А вот начальник ветеринарной части, наоборот, прослыл злобным и мстительным человеком. Он знал, что я не переносу мат, поэтому в моем присутствии нарочно матерился, приговаривая: «Тебе твоего Ленинграда в жизни больше не увидеть!»

Но, к счастью, его пророчества не сбылись. Я Ленинград увидела, до сих пор живу и радуюсь. А вот он умер давно, еще в лагерные времена.

Вернувшись в 1954 году в Ленинград, я устроилась преподавателем французского и английского языков в 222-ю школу. В 1956 году меня полностью реабилитировали. Я ушла на пенсию по состоянию здоровья, и тогда начала серьезно заниматься переводами, сочиняла и собственные произведения. Самое последнее стихотворение было написано в 1996 году, оно грустное, может быть, прощальное: «Читает жизнь последние страницы...»

Сейчас живем вместе с дочерью.

Камыши

Мы жнем камыш, как жнут хлеба в июле.
Кругом снопы и солнечная тишь.
Но берега в сугробах утонули.
Мы жнем камыш.

Звонят серпы над хрупкими стеблями.
Слова простые редки и скупы.
Зима и солнце в заговоре с ними.
Звонят серпы.

Пушистый снег пока нам греет плечи,
Как лучший мех.
Так пусть летит к нам весело навстречу
Пушистый снег.

Мы будем жить. Растают льды в апреле.
Весна, ликуя, встанет у межи.
В глаза беды бесстрашно мы смотрели.
Мы будем жить.

Пусть край суров, но небо примеряет
Все лучшие шелка невиданных цветов.
Нас каждый новый день надеждою встречает.
Пусть край суров.

И тут поют, кружась над степью, птицы
И гнезда в камышах весною также вьют.
Они еще не раз над нами будут виться,
Не раз споют.

Пока ветра лениво прикорнули
У дальних крыш.
Мы жнем камыш, как жнут хлеба в июле.
Мы жнем камыш.

1939. Акмолинский лагерь



**Иван
Ильич
УКСУСОВ**

род. 1905

Архивный фонд УФСБ РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Уксусов Иван Ильич, 1905 года рождения*, уроженец Ленинграда, писатель-литератор, член профсоюза издательских работников.

Арестован 4 апреля 1935 года УНКВД по Ленинградской области. Обвинялся в проведении «антисоветской агитации и пропаганде идей фашизма», т. е. в пр. пр. ст. 58-10 УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР от 25 июля 1935 года Уксусов И. И. за антисоветскую деятельность был осужден к 3 годам ссылки в Омскую область.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 23 мая 1961 года Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 25 июля 1935 года в отношении Уксусова И. И. отменено, а дело за отсутствием в действиях осужденного состава преступления производством в уголовном порядке прекращено.

Уксусов И. И. реабилитирован.

* Иван Ильич Уксусов умер в 1991 году.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Укусов Иван Ильич (19.01.1905, Петербург) — прозаик. Окончил профшколу на Украине. С детских лет работал, был грузчиком, коногоном и забойщиком на руднике «Красный Октябрь», слесарем на Енакиевском заводе (Донбасс) и на прядильно-ткацкой фабрике «Октябрьская» в Ленинграде. Печататься начал в 1930, когда в журнале «Звезда» была опубликована его повесть «Сестры». В 1941—1942 — член писательской группы противовоздушной обороны. Участник Великой Отечественной войны, был рядовым, награжден медалями. После войны опубликовал в газете «Смена» роман «Лицом к пламени» (1946). Роман «Голодная степь» удостоен поощрительной премии Всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе (1978).

Двадцатый век: Роман. Кн. 1. Л., 1930 и др. изд.; Кн. 1—2. Л., 1933; Сестры: Повесть. Л., 1930; После войны: Роман. Л., 1954; Ленинградская повесть. Л., 1957 и 1965; Голодная степь: Роман. Л., 1977 и 1979.

Иван Укусов

СВОБОДА В ПЛЕНУ

В 1930 году Николай Тихонов опубликовал в четвертом номере журнала «Звезда», открывавшегося портретом Владимира Маяковского в траурной рамке, мою повесть «Сестры», а в девятом, десятом и одиннадцатом номерах за тот же год — роман «Двадцатый век».

Меня избрали членом правления и президиума РАППа. Организацией в то время руководил Леопольд Авербах, горячий полемист, он же редактор журнала «На литературном посту», поэтому нас, рапповцев, иногда называли и «напостовцами». Авербах бросался с критикой на каждого писателя, который позволял себе хоть сколько-нибудь неуважительно отозваться о РАППе, он считал РАПП литературной организацией рабочего класса, а значит, организацией революционной литературы.

В том же тридцатом году поздней осенью в Москву съехались на международную конференцию писатели из двадцати трех стран, не менее ста человек, часть из них с женами. Затем все, сопровождаемые советскими писателями, но главным образом рапповцами, поехали спецпоездом — два международных вагона, три мягких и вагон-ресторан — в Харьков, тогдашнюю столицу Украины.

От ленинградской писательской организации на конференцию поехали Фадеев и я. Каким образом я по возрасту, в сущности, еще мальчишка? Фадеев, по его словам, составил списочек, упомянув в нем Б. Лавренева, А. Толстого, М. Зошенко, К. Федина, О. Форш, и поехал с ним в Смольный к С. М. Кирову посоветоваться, на каком имени остановиться.

Киров, бегло взглянув на список, отодвинул его.

— Ты возьми с собой этого... ну этого, как его... что написал роман о рабочем классе! И поезжай с ним.

— Его роман еще печатать не закончили,— возразил Фадеев.

— Закончат, если печатают,— сказал Киров.

Первый и главный доклад на конференции, одобренный Центральным Комитетом, сделал Авербах, через каждые пять минут упоминая любимого народом, гениального продолжателя дела Ленина товарища Сталина.

Через несколько дней правительство Украины пригласило делегатов на банкет. В официальной части снова выступил Авербах, провозгласивший здравицу в честь великого советского народа и его вождя товарища Сталина. Зал содрогнулся от огульных аплодисментов.

Зазвучали бокалы, смех, шутки, тосты. В разгар шума поднялся Мартин Андерсен-Нексе с бокалом в руке, попросив минутку тишины, и в свойственном ему дружески-ироническом тоне произнес:

— Господа! Я поднимаю тост за самого молодого участника нашей конференции, за Ивана Уксусова. Вот, господа, как надо писать: первый роман — и уже о двадцатом веке!

Мне тотчас захотелось провалиться сквозь землю. Я даже не сообразил встать, поклониться за оказанную честь. Делегаты поднялись с мест со смехом, протягивая в мою сторону бокалы, что-то восклицали на непонятных мне языках. Рыжий толстый Нексе хохотал громче всех. Он протянул мне том своих избранных произведений с автографом, пожелал успехов в работе. В этот вечер на банкете и в последующие дни работы конференции мне подарили пятьдесят восемь книг с автографами на сорока трех языках. У меня было такое состояние, будто я лишь тем и занимался, что благодарил иностранцев за подаренные книги.

Когда через девять дней мы возвращались в Москву тем же спецпоездом, в одном купе были: Фадеев, Ф. Панферов, американский поэт и драматург Майкл Голд и я. Фадеев сказал:

— Ваня! Я не завистливый человек, но равнодушно смотреть на твое сокровище не могу. Ты везешь домой всю мировую революционную литературу.

По всей вероятности, благодаря тосту Нексе и упоминанию о романе Авербахом и Фадеевым, сделавшим содоклад, «Двадцатый век» в короткий срок был переведен в Испании, Америке, Японии, Германии. Я много об этом думал, не веря себе, что написал такой хороший роман. Конечно, я весьма сомневался, что это так. Окончательно сообразить, в чем тут дело, мне помогло письмо, пришедшее из Америки от Майкла Голда. Он писал: «Я думаю, Иван, твоя книга неплохо станет делать свое дело в Америке. Высылаю тебе сто долларов за нее, больше не смогу». Этих денег я не видел, мне вручили боны для покупки продуктов в торгсине, что жена и сделала, кстати сказать, весьма охотно: перед магазинами стояли длинные очереди за свеклой и картошкой.

Письмо Голда заставило вспомнить слова Фадеева, сказанные в содокладе: «Роман Уксусова показывает нам, как металлурги и шахтеры Донбасса превратили деникинский тыл в красный фронт».

В 1933 году пришло письмо в РАПП с оказией из Берлина от Анны Зегерс, тоже делегата конференции. Она писала о коричневорубашечниках. Пятого мая на Александерплац они устроили костер, на котором несколько часов жгли книги, их время от времени подвозили на старой грузовой автомашине. В огне погибли труды Маркса, Энгельса, классиков немецкой художественной литературы, книги современников, среди них и масса переводной литературы. Из советских книг погибли в огне том докладов товарища Сталина, а из художественной литературы «Неделя» Юрия Либединского, «Я жгу Париж» Бруно Ясенского и мой «Двадцатый век».

5 апреля 1935 года я был арестован в час ночи двумя вошедшими в мою квартиру молодыми людьми в длинных черных кожаных пальто. Встав из-за письменного стола, где в это время обычно сгорал в табачном дыму, и ознакомившись с ордером на арест, я тут же решил никаких вопросов не задавать, поняв: их дело меня взять и увезти, а где-то там мною займутся другие. К тому же не давала говорить все нарастающая тревога. Я сидел на диване, на котором часто, если фраза не давалась, лежал, закинув руки за голову. Рядом сидела с побелевшим лицом жена.

Обыск продолжался часа полтора. Нагрузившись иностранными книгами, чекисты предложили мне взять с собой подушку и одеяло. Жена подушку завернула в одеяло, забыв в волнении его концы завязать узлом, поэтому, когда я спускался с шестого этажа по лестнице, прижимая к себе эту мягкую неудобную

ношу, концы красного одеяла опустились, я наступал на них и спотыкался. Один раз упал, вызвав веселое оживление спутников. Это красное одеяло... Я многое видел и пережил. Пятьдесят лет прошло, а красные концы падающего к ногам одеяла помню до сих пор.

Меня привезли в черном фургоне во двор высокого дома на Литейном проспекте, сразу узнанного мною — я часто ходил мимо него в Союз писателей. Привели в просторную, совершенно голую комнату, в ней обыскали, отобрали часы, паспорт, папиросы, деньги, спички, после чего повели полуподвальным коридором, где отвратительно пахло хлорной известью. Наконец длинный коридор закончился обширным, слабо освещенным пространством, от него уходила вверх подвесная железная винтовая лестница к длинному ряду узких закрытых дверей. Мы стали подниматься по этой лестнице. На втором этаже нас встретил тюремщик со связкой больших ключей в руке. Он медленно и безразлично подошел ко мне, открыл одну из камер с медным номером, затем пальцами, эдак деликатно коснулся моей поясицы, и я вошел. Дверь за мной громыхнула, словно выстрелила пушка.

И глубокая тишина окружила меня. Еще и шагу не ступив от порога, я стал осматриваться. В стену вделан маленький фонарик, похожий на зажженную в крестьянской избе лампадку. Он еле светил, однако вполне можно было различить блестяще натертый мастикой пол, тяжело пахнущую низкую деревянную кадку в углу, закрытую крышкой, круглое отверстие в двери,— ага, это тоже знакомо по книгам,— «глазок» и вделанные в стену железный столик, вероятно, откидной, и такую же откидную железную табуретку, койку, накрытую серым солдатским одеялом, как затем оказалось, очень волглым, и окно почти у потолка, на три четверти закрытое железным листом.

Наконец-то положив на койку одеяло и подушку, я ощутил неумное желание закурить. Я злой курильщик. Особенно часто курю именно в это время, потому что пишу по ночам. Зачем в тюрьме отбирают папиросы, чтобы больше мучился арестованный?.. Варвары!

Я понимал: надо думать, думать, искать причину своего ареста, ведь завтра, вероятно, мне скажут, за что, а что я отвечу? Но ответа не находил, как не находил и своей вины. В голове были лишь шум от пережитого волнения и какая-то тяжелая пустота.

Способность последовательно мыслить вернулась ко мне, едва я стал прохаживаться — шесть шагов от окна к двери, шесть — в противоположном направлении. Значит, я буду хо-

дить, до одурения, но причину своего ареста все-таки найду, непременно найду. И, чудо, вскоре сознание стало проясняться... Пять месяцев прошло после смерти Сергея Мироновича, а за каждым, кто видел Кирова или разговаривал с ним, чекисты гоняются по всему Ленинграду, словно волки за зайцами. А я видел его, разговаривал с ним. Может быть, сказать об этом тому, кто вызовет меня объяснять, за что я арестован. И сейчас же екнуло в душе: не смей... Ни звука об этом! Могут и тебя привязать к убийству Кирова.

Часов в десять-одиннадцать загремел ключ в двери, явился за мной стражник и повел навстречу источаемой хлористой известью вони. В какой-то комнате, оставив меня, он ушел. Кабинет ли это? Стоял лишь стол с жестким креслом с одной стороны, со стулом с другой. На столе графин с водой, на тарелке перевернутый стакан. Я напился и стал ждать дальнейшего. Я старался придать себе независимый вид, но понимал, как плохо это мне удастся.

Ждать пришлось недолго. Вошел черноволосый, черноглазый среднего возраста человек, просто сказавший от порога:

— Здравствуйте, Уксусов!

Я холодно ответил ему:

— Здравствуйте.

Он сел в кресло, молча достал из стола лист с каким-то блеклым грифом на нем. Представился:

— Я следователь Федоров. Ничего против не имеете, если ваше дело поведу я?

— Вы прежде объясните, какое дело.

— Вот тогда, если вы согласны, чтобы я его вел, мы и потолкуем.

— Мне все равно.

— Тогда распишитесь вот здесь.

Я расписался. Он молчал, изучающе поглядывая на меня, затем медленным движением убрал в стол подписанный мною лист.

— Вы не догадываетесь, за что вас арестовали?

— Догадываюсь примерно... За какой-нибудь, может быть, анекдот...

— Что вы! Арестовать достаточно проявившего себя в литературе писателя за такую мелочь... Вы недооцениваете органы, Уксусов. Впрочем, давайте с мелочи и начнем, если вы решили мелочиться. Позапрошлой ночью вам под дверь кто-то подsunул иностранный журнал с антисоветским содержанием, так?

— Да, появился у нас на полу... Но так как ни я, ни жена иностранных языков не знаем, я сказал ей, что этот подsunутый

журнальчик мне не нравится, пусть она сожжет его, и вскоре ушел по своим литературным делам в издательство, а она журнал сожгла.

— А будь вы, писатель, настоящим советским человеком, вы бегом бы устремились сюда, в органы. Но вы этого не сделали, и мы понимаем, почему вы этого не сделали.

— Да, во-первых, не мог прочесть, я же сказал. Во-вторых, мне не понравился он, почему-то подброшенный ночью в мою квартиру. Даже появилась мысль, не ошибся ли почтальон. В-третьих, наконец, у меня идет в издательстве «Молодая гвардия» повесть, дело куда для меня более серьезное, чем этот журнальчик.

— У меня нет оснований верить вам. Скажите мне прямо, не виляя хвостом, шпионом какой страны вы являетесь, а может, и нескольких?

Я вначале от неожиданности молчал, будто отнялся язык, потом что-то во мне взорвалось:

— Чушь собачья, чушь, чушь! Бред...— заорал я.

— А книги на иностранных языках с автографами, иные из них явно на что-то намекающие, тоже чушь собачья? — с легкой, спокойной улыбкой парировал следователь.— И не спешите сказать о своем участии на Международном съезде писателей, что Нексе поднял за вас тост... Знаем! Но, повторяю, иные автографы с недоговоренностями, намекающими, что вы-то знаете, как и что тут расшифровать. У нас хорошие переводчики, но и они всей сути этих намеков понять не смогли. Вот мы и просим вас, просим, Уксусов, поймите, просим!

— Да ничем я вам помочь не могу!

— А мы представляем себе: под видом писателя на съезд обязательно приехал иностранный шпион, разведчик, и вы с ним встретились.

— Ни одного шпиона я никогда в глаза не видел!

— Значит, вы полагаете: никаких шпионов там не было?

— Откуда мне знать?! Может, и были, но я-то этого не знал и не знаю!

— Говорите спокойнее,— поморщился Федоров.

Я подумал: видимо, я зло, нетерпеливо смотрю на него, и, верно, мне следует держаться с ним спокойнее... И, может быть, были там какие-то шпионы... Зачем мне отрицать то, что мне неизвестно? И я проговорил спокойнее:

— Конечно, я думал об этих надписях на книгах. Наконец, сами иностранцы помогали мне понять их. Крепким рукопожатием, улыбками, уверенным голосом.

— Что же понимали в этом?

— Ну, поскольку Авербах в докладе, а Фадеев в содокладе ясно сказали, что, дескать, Уксусов показал нам, как металлурги и шахтеры Донбасса белый деникинский тыл превратили в красный фронт... Я понимал по этим крепким рукопожатиям иностранцев, что и они постараются также бороться в своих тылах. А что же еще я мог подумать?

— Охотно верю вам, Уксусов, что сорок три иностранных языка вы не знаете... Но я, например, вполне допускаю мысль, что среди настоящих писателей к нам под видом писателя приехал также иностранный разведчик, шпион и встретился с вами... Чего вы, может быть, и не поняли тогда, но теперь-то, когда мы просим вас помочь нам разоблачить его...

Я молчал.

Федоров встал...

— Возвращайтесь в камеру и со всеми подробностями опишите жизнь отца и матери: где, чем они занимались раньше, чем занимаются теперь. Но главным образом все, все, вы слышите, о себе пишите со дня рождения и вот до этого часа. Буквально все,— еще раз повторил он и сделал паузу.— Не вздумайте о чем-то умолчать, как умолчали о Кирове. О нем мы еще с вами поговорим... Все пробелы я увижу и в этом случае заставлю вас переписывать все написанное сто раз... до обалдения. Как скоро вы можете это сделать?

— Если дадите папирос, напишу быстро.

— Папиросы давать арестованным не положено.

— В таком случае, дайте хоть одну, чтобы помогла сосредоточиться.

— Я вам сказал...

— А вы сами курите?

— Я не курю.— Он нажал кнопку.— Ступайте, бумага в вашей камере. Там же ручка, наполненная чернилами. Пишите сегодня, завтра, вспоминайте все с подробностями. Я вас вызову.

— Напишу — и отпустите?

Федоров вдруг засмеялся... И мне стало страшно.

Действительно, едва дверь грохнула за мной, я увидел откинутый железный стол, на нем лежала стопа серой бумаги. Я опять какое-то время шагал от окна к двери, осмысливая встречу со следователем, все снова и снова восстанавливая ее в памяти, и, хотя я понимал, что утверждение о моей связи со шпионами абсурдно и расплывается, как утренний туман, этот оптимизм мне помогал мало.

Я лег на кровать и крепко уснул — потребовала своего прошедшая без сна ночь.

Когда я проснулся, был вечер, лампочка на стене еле теплилась. Как же писать, если и собственные пальцы еле видны? Вдобавок на стопе бумаги стояла миска с баландой, рядом лежал кусок хлеба. Почувствовав голод, я взялся за еду и пришел к выводу, что баланду есть можно. Что угодно думай об одиночке, но проспект — от стены к двери — находка, можно ходить, вскинув руки на затылок, можно, сцепив их на поясице. Шагая, вспоминал жизнь отца и матери, вспоминал свою.

Весь следующий день я писал.

Разошелся, накатал восемнадцать страниц. На другое утро зашел стражник спросить, есть ли листы для следователя. Я отдал их и спустя два-три часа был вызван к нему. Мне достаточно было увидеть его физиономию, чтобы понять: он недоволен мною.

— Почему я ничего не узнал о писателях? Или вы никого не видели на конференции и ни с кем не познакомились там?

— Ленинградских знаю всех, все знают меня, поэтому о них писать не считал нужным. Из иностранцев узнал более-менее подробно только американца Майкла Голда, ехал с ним в одном купе из Харькова до Москвы. Американец — коммунист, но я вам говорил о нем.

— Меня интересуют ваши друзья-иностранцы, — Федоров что-то записал и снова поднял голову. — Вспоминайте всех подаривших вам книги и обязательно национальность каждого.

— Хорошо, пишите, только не надо торопить меня... Сразу не вспомнишь! Марио Граф, немецкий поэт, произнес большую речь на конференции, больше ничего о нем не знаю. (После войны и образования Германской Демократической Республики Граф был назначен министром культуры.) Анна Зегерс, тоже немка, тоже подписала свою книгу... — я на минуту задумался, будто что-то еще силясь вспомнить о ней, да и вспомнил, конечно, о присланном ею с оказией из Берлина письме в РАПП... В нем говорилось о сжигаемых на костре книгах.

— Что-то еще хотите о ней сказать? — внимательно смотрел на меня следователь. — Она член нашей партии?

— Не знаю. — Но знал я, что она активная подпольщица-коммунистка.

— Анри Барюс был на конференции?

— Его не было, но разговор о его недавнем пребывании в Москве был, сказанная там Барбюсом фраза стала на конференции крылатой: «Сталин — это Ленин сегодня».

— И как же к ней относились иностранцы?

— Очень хорошо.— Я не мог побороть в себе чувства недоверия к Федорову — казалось, передо мной сидит враг коммунистов.— Продолжать?

— А зачем же я вас вызвал сюда? Compliments говорить вашему «Двадцатому веку»? — язвительно спросил он, и я понял: это допрос!

— Эми Сяо, китаец...

— Минуту! Что этот написал вам на своей книге?

— Я иероглифов не изучал. Да они известны вам, и книги — у вас. Или переводчики у вас плохие?

— Отвечайте по существу, Уксусов, по существу!

— И пугать меня не надо. Не совершил я никакого преступления!

— А это мы еще посмотрим!..

— Посмотрю и я... какое у нас правосудие!

— Увидите сегодня... Дальше! Почему Мате Залка, наш писатель, надписал вам свою повесть «Шоколад» по-венгерски?

— Потому что венгр! Я тоже спросил: почему по-венгерски, Мате? Он ответил: «Чтобы ты, Ваня, всякий раз, когда раскроешь «Шоколад», думал: а что же такое написал мне Залка?»

— Вы часто с ним встречались?

— Приходилось.

— Часто? Вспоминайте подробности...

— В Ленинграде один раз, в буфете, за обедом.

— Что он вам говорил?

— Да за обедом. Уже не помню.

— А вы вспомните. Это важно. Например, женщина у него была? Любовница?

— Не знаю.

— Ну, если вы часто бывали вместе...

— Я этого не говорил. Раз-другой встречались в Москве...

На каких-то собраниях.

— Разговаривали?

— Не помню. Может быть.

— И что же, ни разу не пришлось с ним побеседовать в Харькове о политике, о фашизме?

— Не приходилось.

— А заявили, что отношения у вас с ним дружеские. А друзья о чем ни говорят! И тем более о политике. Или вы полагаете, что я вашего брата писателей не знаю?

— Единственно, что я могу вам твердо сказать, он всегда куда-то спешил и всегда смеялся.

— Две книги вам подарили итальянцы. Что они написали?

— Не знаю до сих пор, кто они и что написали.

— Может быть, вы знали, но забыли?

— Не знал.

— Может быть,— угрожающе становился его голос,— вам следует поработать над памятью... имея в виду, что в Италии фашисты?

— Меня политика не интересует. Смысл надписи на книгах я пытался узнать у переводчиков, но попытка результатов не дала. Надеюсь, вы мне вернете книги?

— А зачем они вам?

— А хотя бы затем, что они подарены мне...

— Я не думаю, что они вам понадобятся.

— Что это значит?

— Вы советский человек и живете по советским законам, следовательно, государство может с вами сделать все, что сочтет нужным.

Федоров встал, я тоже.

— На сегодня хватит... Распишитесь под своими показаниями.

Я расписался и сказал:

— Все-таки, почему же они не понадобятся мне? Что вы хотите этим сказать?

— Повторяю: это покажет следствие. Кстати, советую охотнее отвечать на мои вопросы, вообще больше соглашаться, а не возражать, и ваше пребывание в тюрьме вам не покажется таким тяжелым. В частности, я разрешу вашей жене приносить вам передачи, она вчера уже приходила, и ежедневно будете выходить на прогулку.

И эта встреча со следователем не прояснила моего ближайшего будущего. Ничего определенного не дала, я не знал, за что арестован. И зачем же в таком случае длинно писал родословную, если она не помогла, как я ожидал?

— Передачи и прогулки не изменят моих ответов вам. Я ничего антигосударственного не совершил и ничего не подпишу.

Федоров сделал вид, что смеется.

— Тем хуже будет для вас!

— Вы мне угрожаете?

— Кстати, Уксусов, частный вопрос... почему вы, работавший в Енакиеве и Ленинграде, а еще раньше шахтером на руднике, не вступаете в партию, так сказать, не следуете примеру лучших людей своего класса?

— Пока в партии есть такие неопределенные, похожие на вас люди, не желающие понимать простые слова, я в партию не пойду!

— Вот вы и ответили на мой вопрос о том, кто вы есть... Если на коммуниста, выполняющего сложнейшую партийную работу, смотрите, как на врага... Ведь смотрите на меня так, признайтесь?

Я проглотил слюну...

— Ступайте в камеру... Я вас вызову, когда надо будет.

— Станете и дальше искать, шпионом какой страны являюсь?

Он нажал кнопку звонка и тотчас вошел стражник. Федоров слегка приподнял руку, сделал ему какой-то знак, напоминающий крест. Стражник приказал мне заложить руки за спину и идти вперед, и там, где коридор пахнет хлорной известью, внезапно нанес мне сильнейший удар по зубам. Меня сильно шатнуло в сторону. Привалился к стене. Два зуба упали мне под ноги, а еще два застряли в горле и я задыхался от усилий выплюнуть их, да и мешала хлынувшая изо рта кровь.

Когда я все-таки выплюнул их и туман в глазах несколько рассеялся, я увидел стоявшего передо мной стражника. Он курил папиросу и медленно снимал с правой руки четыре отлитых из чугуна, немного загнутых к ладони черных пальца: кастет.

— Контра... гад... сволочь,— нехотя, будто только по обязанности, произнес он.

Лишь через три недели открылась дверь в мою камеру, и первое, в чем мне остро захотелось убедиться, тот ли это стражник, что выбил мне четыре зуба. Но проводить к следователю пришел другой.

Федоров встретил меня взглядом, спрашивавшим, поумнел ли я за эти дни и, если поумнел, намерен ли поздороваться с ним.

Я молча прошел к стулу и сел, не опуская своего взгляда, чтобы эта гадина с блестящими, черными, как у крысы, глазами, видел мое откровенное презрение к нему.

В правом углу комнаты сидел человек в сером костюме, держа руки в карманах. Я ждал продолжения разговора о книгах с автографами, ждал с твердым намерением сказать одну приготовленную фразу: мне подарили более пятидесяти книг, так может ли память удержать все автографы, тем более написанные на разных языках?

Но я ошибся. Разговора об иностранных языках больше не было.

— Вы знаете Дмитрия Острова? — спросил Федоров.

— Кто его не знает! Он друг всем писателям, в том числе и мне.

— Не спешите...— следовательно записывал.— Рассказывайте о нем все, что знаете.

«Стоп,— подумал я.— Он-то, Митя, зачем им понадобился?»

— Ему книги не дарили. Пьет, любит женщин, еще больше они его. Пишет мало. Я давно привязался к нему. Может быть, потому, что брата моего тоже зовут Дмитрием? Можете не писать. Характеристик на товарищей давать не буду. И ни одного листа не подпишу, что бы вы ни написали.

— Подпишите,— медленно сказал Федоров и откинулся на спинку кресла.

— Не подпишу! И повторять об этом не стану, потому что чист перед партией, как капля росы.

— Вы достаточно серьезно понимаете, на что себя обрекаете, заявляя вот это?

— Вы уже обрели... И думаю, достаточно серьезно. Выбили зубы, не даете передач от жены, лишили прогулок. Или этого недостаточно? И за какую вину я арестован? Вы скажете мне прямо, откровенно?

Вмешался человек в сером костюме, сидевший в углу комнаты на стуле.

— Это правда, что вы долго работали шахтером?

— Это легко проверить. И не очень долго, если это вас интересует. Работал недолго... Три года и восемь месяцев.

— Почему ушли с рудника?

— Повредил в уступе глаз. Ушел с сожалением.

— Почему с сожалением?

— Замечательные там мужики и хорошие у них заработки.

— Шахтеры тоже хорошего о вас мнения.

— Откуда вы знаете?

Человек не ответил. У Федорова перекошилось лицо — ему, видно, мой краткий разговор с этим человеком не понравился.

— Хватит врать, Уксусов. Слушал вас, и мне хотелось влить вам пулю в лоб. Вы не только скрыли свое знакомство с Кировым, вы в этой своей писанине не сообщили следствию главного своего преступления. Почему умолчали о Павле Владимирове и своем контрреволюционном разговоре с ним?

Вероятно, я от страха и удивления на какие-то секунды лишился дара речи: Люфанов, Евгений Дмитриевич Люфанов, так вот кто стукач, вот кто низкая, трижды подлая душонка! В нашей ленинградской писательской организации с ним никто не общался, если не сказать — никто его не любил, да и уважать-то было его не за что. Он только готовил к печати свою первую повесть, а пока, не имея средств к существованию, обедать и ужи-

нать приходил то ко мне, то к Дмитрию Острову, но чаще ко мне. Жена резко возражала против этих посещений Люфанова, спрашивая у меня, до каких пор она должна кормить чужого человека, а главное, стеснять себя? Она требовала, чтобы я отказал Люфанову питаться у нас, говорила, что он похож на бездомного, а не на писателя, что его никто не принимает из писателей, да и не писатель он пока. Я возражал: надо помочь талантливому человеку, он в тяжелом материальном положении, а у меня вышел четвертым изданием «Двадцатый век». Потерпи немного, он будет так тебе благодарен за помощь, вот увидишь. Но она не сдавалась: «Я брезгливый человек, а у него все лицо в прыщах и, по-моему, он не каждый день моет руки». Когда вышла из печати его книжка «Повесть о барашевских днях», он продолжал питаться у нас, как будто это так и надо. Жену охватила ярость: «Теперь он при деньгах. Пожалей, ради бога, меня, не могу я видеть его осыпанное прыщами лицо. Он и бриться не может из-за них!»

Живя в новостройке на канале Грибоедова, я иногда уходил отдыхать в Эрмитаж. У одной из картин меня робко тронул за плечо начинающий драматург Павел Владимиров. Я его почти не знал. Направляясь домой по Невскому, мы, под впечатлением картин в Эрмитаже, заговорили о Петре, о строительстве Петербурга, и я остановился у бывшего Полицейского моста, поинтересовался, знает ли Владимиров дворец, в котором умерла дочь Петра, императрица Елизавета Петровна. Он ответил, что не знает. Я показал ему на дом, где она умерла, прибавив, что у ее смертного одра стояли старые князья, ее вельможи, помогавшие ей управлять государством, и плакали. Со смертью Елизаветы рушилась Петрова династия. Трон же окружили немцы, и они, вельможи, не видели возможности избавиться от их нашествия на нашу землю.

И тут Владимиров прервал меня:

— А когда умрет Сталин, плакать никто не будет!

Это было неожиданно, показалось — несправедливо, и я резко обернулся к нему и сказал:

— Ты что — с ума сошел?!

Он не ответил, стоял и ухмылялся несколько виновато, из чего я заключил, что сказал он это без злого умысла, просто ляпнул.

Придя домой, где за столом уже сидел Люфанов, голодными глазами озирая приготовляемое к обеду женой, я рассказал жене и ему о только что происшедшем своем разговоре с Павлом Владимировым. И на другой день ночью был арестован.

— И долго вы будете молчать, пролетарский писатель? Или и дальше станете отрицать свое антисоветское, контрреволюционное отношение к советской власти?

— Я не вижу никакой своей контрреволюционности. Эта прыщеватая сволочь, Люфанов, вероятно, что-то извратил вам.

— Люфанов тут ни при чем! — воскликнул Федоров.

Я посмотрел на человека в углу. Он, глядя на Федорова, одобрительно кивнул ему.

— Как же Люфанов ни при чем, если я ему и своей жене говорил эту фразу через полчаса, как услышал ее?

— Хорошо, допустим, вы не лжете в данную минуту. А почему немедленно, услышав это, не поспешили к нам в органы?

Я вполне уже овладел своим смущением и ответил твердо:

— Ничего контрреволюционного в его словах я не усмотрел, а значит и бежать к вам оснований не было. Человек, иногда это с каждым случается, сболтнул.

— Другое будет вернее, Уксусов. Вам по душе мерзкие слова о товарище Сталине. Истинный советский человек, коммунист или беспартийный — все равно, сделал бы другой вывод.

— Вы арестованы за недоносительство, — вдруг из угла сказал сидевший там.

— Я требую очной ставки с Люфановым, — сказал я.

— Вы ее получите, когда сочтем нужным мы. Подпишите допрос, но прежде прочтите, и можете идти. — Федоров поднялся, положив руку на кнопку звонка.

— Подписывать ничего не стану, я же вам это сказал в прошлую встречу.

По пути в камеру я мог думать лишь о Люфанове, о глубине человеческого падения, если к такой гниде применимо слово человек, — ни одно домашнее животное, ни один хищный зверь не вцепится в горло тому, кто его кормит... Человек это может сделать! Люфанов может. Писатель. И ты, Уксусов, болван, ты забыл, что Киров убит в нашем городе, что людей хватают. А если Владимиров откажется от своих слов, что может быть тебе?

Чудовищной силы удар опять кинул меня к стене. Опять внезапно. Осколками зубов на этот раз был забит весь рот, я не мог дышать, и опять густой туман закрыл от меня стражника. Я сполз на цементный пол.

— Признавайся, гад, что был знаком со шпионами, иначе не оставим тебе ни одного зуба! Ты все равно признаешься!

Я смутно, очень смутно подумал: «Гад — это ты, парень...»

Он помог мне подниматься по лестнице, сам я, вероятно, не осилил бы ее.

Прошло еще две недели, у меня стали вырастать отвратительные рыжеватые усы и борода, но это полбеды. Меня по-прежнему лишали прогулки — тоже терпимо. Я ежедневно выхаживал по камере несколько километров, и это помогало, меньше обуревало желание курить. Моей полной бедой были осколки зубов.

Ведь их не вырвали вместе с корнями, и рот был полон остриями, глядевшими в стороны, позволявшими лишь высасывать из баланды жижу.

Меня снова вызвал следователь. Распухшие губы уже несколько пришли в норму, все же говорить членораздельно мне было трудно. В кабинете я молча прошел к своему стулу, сел, мрачно взглядывая на Федорова, он — внимательно на меня, как бы определяя, достаточно ли хорошо поработал над моей физиономией его подручный. Затем достал из стола черный плоский пистолет, показал его мне.

— Ну вот что, Уксусов. Мое терпение кончилось. Сейчас я дам вам очную ставку с Люфановым,— и кивнул на стул, стоящий напротив того, на котором сидел я и которого при входе не заметил.— Если вы сделаете хоть одно движение в его сторону, я пристрелю вас, как собаку. Имейте это в виду!

Я хотел ответить и не смог, до того внезапная дрожь потрясла меня, на скулах заиграли желваки. Федоров положил пистолет в стол, помедлил, кажется, не зная, что мне сказать еще. Затем нажал звонок.

Уверенными шагами, как привычно входят в собственную квартиру, вошел Люфанов и, еще не дойдя до меня, сказал простецким тоном:

— Здравствуй, Иван!

Он хотел сесть на стул напротив и уже опускал зад. Я с силой врезал ему кулаком по прыщеватой роже — ее исказили страх и боль, очки слетели. Я замахнулся еще, но меня схватил за руку Федоров, что-то закричав, другой рукой попытался выдернуть ящик стола — схватить, видимо, пистолет; тогда я левой рукой вцепился в графин с водой, занес его над головой Люфанова, но ослабленный удар,— Федоров вцепился мне в руку,— пришлось по плечу Люфанова. Графин не разбился, только вода плюхнула и на него, и на меня.

Федоров, закрывая собою Люфанова, размахивал кулаком у моего носа:

— Я тебя застрелю, сволочь... Ты что себе позволяешь?!

— Стреляй, сам сволочь,— я распахнул рубашку.— Ну... Думаешь, испугал меня? Стрелять надо вот в этого паразита, пока он еще не пролил чужой крови и слез.

Федоров бросил меня на стул. Люфанов, прижимая к лицу платок, склонился, искал очки. Затем молча сел, отодвинув от меня свой стул.

Был бледен и Федоров, не выпускавший из руки нагана, по всей вероятности, не заряженного.

— Подпиши, гадина, что очная ставка состоялась, и отправляйся в камеру!

— Подписывать ничего не стану, сколько тебе говорить?! — И я ему врезал «ты». — Пусть эта грязная собака и дальше подписывает тебе все, что ты прикажешь ему. От меня отстань!

И я замечаю, как меняется тон Федорова.

— Но почему не подпишешь, Уксусов? Что очная ставка с Евгением Люфановым состоялась, и отправляйся в камеру...

— Я тебе сказал... Ничего никогда не подпишу! Никогда! — И я пошел к двери и неожиданно увидел в окно родной Литейный проспект, по нему деловито бежали машины, легковые, грузовые, автобусы — жизнь продолжалась, все было обычным в ней, только я чувствовал себя каким-то иным, необычным, до конца еще не понявшим: со мной это говорят или не со мной.

Ко мне бегом приблизились два стражника, скрутили руки за спиной, бегом погнали к лифту, из него в полуподвальный коридор и стали бить каждый чугунной перчаткой и сапогами. Очнулся в камере на полу в луже крови... И в ней лежали девять зубов. С усилием встав на колени, я кое-как перекатился на свое одеяло и опять потерял сознание.

И снова прошло около двух недель, невозмутимая тишина стояла в камере. Чего ждал Федоров? Когда вполне приду в себя, чтобы с новой силой уродовать «пролетарского писателя»? Спокойно пришла мысль: если Федоров еще раз достанет пистолет, вырвать его, застрелить своего мучителя и застрелиться самому. Ни физической боли — терпеть ее дальше просто не было никакой возможности, — ни отвратительного душевного состояния выносить я больше не мог. Да, всему бывает конец, так что...

Дверь снова отворил стражник. Вероятно, я очень злобно смотрел на него — тот или нет?

Стражник приказал: «К следователю!»

Когда я оказался у него в кабинете, то увидел два стула перед столом, затем различил, что на одном сидит с такой же рыжей бородой Павел Владимиров, я смешался... Как вести себя? Он поднялся мне навстречу с горькой и одновременно обрадованной улыбкой, мой литературный ученик, хотя и мало знакомый мне.

— Здравствуйте, Иван Ильич!

И я понял, почувствовал в нем Человека. Я прижал его голову к своей груди.

— Здравствуй, Павел!

— Записывайте! — обернулся Владимиров к следователю.— Иван Ильич показал мне на Невском проспекте дворец императрицы Елизаветы Петровны, прибавив, что здесь она умерла, дочь Петра. У ее смертного одра стояли старые князья, верные помощники по управлению государством, и плакали. Тревожились о том, что трон окружили немцы и они, старые дворяне, не видели возможности избавиться от них. И тут я сказал: а когда умрет Сталин, плакать никто не будет. Ивану Ильичу мои слова показались, вероятно, несправедливыми, он резко обернулся ко мне и сказал:

— Ты что — с ума сошел?!

Кажется, у меня дрогнули губы. Какая радость человеку в моем положении увидеть подлинное мужество и благородство! На прощание мы по-братски крепко обнялись. Однако подписать протокол и этой очной ставки я отказался.— Пошел ты...— сказал я Федорову.

На другое утро, продержав в одиночном заключении шестьдесят два дня без права на прогулку, меня перевели в общую, довольно большую камеру, как потом выяснилось, в ней находилось около двадцати человек. Каждого переводимого из одиночки узнавали по цвету изможденного лица, мутным глазам, невероятной волосатости. И сейчас же раздавались голоса:

— Есть хочешь?

— Папиросу дать?

— Папиросу, пожалуйста...

— Держи еще!..

Я выкурил первую и не ощутил вкуса табака, но лишь от первой прижег вторую, закружилась голова, даже слегка подкосились ноги. Не переставая дымить, присел на чью-то нару. Говорить не мог, хотя вопросы сыпались на меня. В полный голос я заговорил, когда внезапно подошел Дмитрий Остров,— он спал и только что проснулся.

— Иван...

— Митя...

— Так и ты здесь?

— Здесь!

— Тебя-то за что? По ресторанам не ходил, вина не пил, анекдотов не слыхал и не рассказывал...

Затем мы установили, что настучал на нас обоих Люфанов, на каждого собрав как бы антисоветский материал. Остров горько скривился:

— Кого кормили-поили, Иван, с ума сойти!

— Если буду жив, я его убью.

— Ты посиди здесь месяц-другой, как я сижу, то еще услышишь, сам себе не поверишь. Ни за что берут людей! Меня хоть за анекдоты, и я пью, а большинство за что? Совершенно ни за что. И знаешь, видных членов партии берут, настоящих коммунистов! С ума сойти!

На другой день я получил от жены передачу и несколько слов в записке. Она писала: «Люфанов перестал заходить, а увидев меня, переходит на другую сторону, из чего я сделала горькие выводы». На обрывке замасленной бумаги, в которую были завернуты котлеты, я написал ей: «Экономь деньги, неизвестно, как придется теперь тебе жить. Береги дочь. О получении приговора постараюсь тебе сообщить».

Она каждый день приносила передачу, я же ничего жевать не мог, продолжал высасывать из баланды жижу, а хлеб скатывать шариками и глотать их. Передачу отдавал студенту-белорусу,— приехал парень в Ленинград учиться, и тут его взяли. Родных никого, жил лишь тем, кто что даст.

В начале августа мне вручили квадратик серой бумаги с машинописным текстом: «Решением Тройки Уксусов Иван Ильич присуждается по статье 58-10-11 к административной высылке в Омскую область сроком на три года». Такого же формата бумажку вручили одновременно со мной Острову, его присудили к пяти годам административной ссылки.

— За что тебе пять, Митя? — удивился я.

— А за что тебе выбили зубы и поломали ребра? — ответил он.— Мало ли, с кем я иной раз выпивал, мало ли кому рассказал анекдот! И за это всыпали пять лет. Ничего, как-нибудь выкрутимся, ведь многие писатели прошли через ссылку и каторгу.

— А не за то ли ты получил пять лет, что у тебя все в порядке с зубами? Что получал передачи и ежедневные прогулки, а?..

— Неужели ты ничего не подписал?

Я кивнул.

— Мой характер не вынес бы этого. Знаешь что? Я так решил: вот посмотрю еще, что делается в Сибири, а потом всю эту кровавую гадость изложу в письме, письмо в бутылку, и глубоко ее закопаю. Может быть, кто откопает ее лет через сто и прочтет.

Нас и многих других, кто уже получил приговор, перевели из тюрьмы на улице Каляева в тюрьму «Кресты», оттуда отпра-

вили в черных закрытых машинах на Московский вокзал, где и приказали погрузиться в зарешеченные красные товарные вагоны, и лишь здесь, за полчаса до отправки поезда, позволили некоторым родственникам проститься с осужденными.

Удостоилась такой чести и моя жена Евгения. У вагона стояло человек пятнадцать жен, матерей, невест. Все что-то говорили, поднимая к решеткам головы: трудно было услышать в гомоне желанные слова, но еще труднее было понять их. Жена не сразу узнала меня с разбитыми губами, с бородой и усами цвета соломы, — она улыбалась, а в глазах было отчаяние. Я успокаивал ее, прикрывая рот ладонью: «Три года небольшой срок, надо мужаться, ведь я буду жить на свободе, меня не в лагерь, нет, ты успокойся! Поступлю работать, стану помогать тебе. Ну-ну, перестань, мы с тобой енакиевцы!.. Донбассовцы! Может быть, приедешь погостить, — поспешно говорил я. — Жди письма, ты его сразу получишь, напишу его прежде, чем огляжусь».

Она вытерла глаза, слова как будто вырывались из нее:

— Сколько я тебя просила, просила, умоляла, ругалась с тобой — прогони от нас эту подлую гадину! Сколько?.. Почему я чувствовала приближающуюся опасность, а не ты, писатель? Мне уже говорят, что не сегодня-завтра меня выгонят из квартиры, если не из Ленинграда. Есть уже твои приятели, кричат сейчас в Союзе писателей: жена врага народа живет в трехкомнатной квартире, а я, член партии, в коммуналке с семьей! Что же нам придется пережить, Ваня, родной, скажи? Если переживем...

Поезд тронулся. Я закричал жене:

— Прости меня! Прости!..

Повезли нас, ленинградцев, в пяти вагонах. В том, где находился я, было тридцать семь человек. Поначалу люди держались отчужденно, боялись. Каждый считал соседа врагом народа, себя — обвиненным без вины наглым следователем, жаждал скорее приехать к месту назначения, оттуда немедленно писать в ЦК партии, а то и самому товарищу Сталину о своей невинности и грубом произволе следователя.

До Свердловска ехали четверо суток. И теперь уже почти все разговаривали друг с другом, каждый рассказывал соседу свое дело, искал сочувствия, хотел услышать искорку надежды. Были и молчуны. Были и любопытные люди: свободно, убежденно, хотя и негромко выражали недовольство политикой Сталина и Ягоды. Из их отдельных слов явствовало: в прошлом это были меньшевики, эсеры, троцкисты — короче, политики, давно уже не разделявшие идеалов коммунистической партии. Многие

мне показала эта длинная дорога до Свердловска: болезненное нытье одних, более или менее решительное настроение других. Если можно сказать обобщенно, это были люди, влюбленные в Февральскую революцию, видевшие в ней много светлого, а в Октябрьской революции много мрачного.

Вот когда я по-настоящему понял, что произошло у нас в Ленинграде. Убили Кирова! Идет «кировский набор», но он не кончится так скоро, как полагают наивные люди. Он только начинается...

В Свердловске собралось девять эшелонов с репрессированными, и эти девять эшелонов будто стукнули меня по голове молотком. Я не сразу смог поверить такому количеству ссылаемых. Мне казалось — верить слухам не следует. Но затем последовало убедительное им подтверждение. Со всех сторон огромного Советского Союза репрессированных везли сюда, в Свердловск, а отсюда уже — в Сибирь. Тюмень, еле успевавшая принимать составы с народнохозяйственными грузами, поезда с репрессированными придерживала в Свердловске, чтобы затем сразу открыть им всем дорогу.

Нам скомандовали выпрыгнуть из вагона и стать на колени. Мы выпрыгнули и стали на колени. Сопровождавший нас караул пересчитал нас «по головам» и стал наблюдать, как рядом из вагона выпрыгивают другие «контрики» и тоже покорно встают на колени.

Сеялся мелкий холодноватый дождик: коленки у всех промокли. По климатическим условиям свердловчане конец августа считают уже началом осени. Наконец осужденных построили в большую колонну и повели в Свердловскую областную тюрьму. В ее ворота входили по одному человеку, каждый держал в руках «личное дело» — предъявить его двум проверяющим в воротах: те, взглянув на человека и его фотокарточку, впускали в тюрьму, будто проверяли билеты при входе в кинотеатр.

У меня личного дела не оказалось.

— Это почему же у вас нет личного дела? — грозно спросил пропускающий.

— Этого я не знаю.

— Встаньте в сторону, гражданин. Выясним! — зверским тоном заключил он.

Меня держали у ворот, приставив ко мне стражника, добрый час, но я даже дождь перестал ощущать, захваченный интересным предположением. Отсутствие у меня «личного дела» не ведет ли к выводу, что у меня и вообще никакого дела нет, ведь я ничего, кроме перечня иностранных книг, не подписал. Но

если невиновен и именно поэтому у меня нет «личного дела», то почему же меня не освободили, а куда-то везут? В этих предположениях я чувствовал что-то обнадеживающее, и настроение поднялось.

Пришедшие колонной, промокшие до костей, жаждали скорей войти в тюрьму, под крышу, там согреться, но, как говорят, увы... Все камеры и даже коридоры в большой областной тюрьме были набиты осужденными, да еще человек сто стояли под дождем на дворе, к ним приказали присоединиться и мне.

Люди спасались кто как мог. Одни бегали, хлопая себя ладонями по бедрам, по груди, другие боролись, третьи танцевали, четвертые занимались бегом на месте. Но силам людским есть предел. В полночь люди лежали на этом асфальтированном дворе, под ними ручейками текла вода, сверху накрывал, как одеялом, но отнюдь не теплым, дождь.

Пожилой человек лежал рядом со мною, затем он сел, вздрагивая плечами, достал папиросы, закурил, — и сейчас же достал свои я, спрятанные от дождя под нижнее белье, чтобы грело их тело. Сосед зажег спичку под полкой пиджака, я тоже прикурил от нее, и мы разговорились. Начал я, потому что зажженная спичка показала мне лицо в синих крапинках: верный признак, что сидел рядом со мной шахтер, не один-то год проработавший забойщиком.

— С Донбасса? — спрашиваю.

— С Донецка.

— С Юзовки, значит...

— Или бывали там? Юзовкой ее давно не называют.

— Я вырос в Енакиеве, там и работал на «Красном Октябре», теперь живу в Ленинграде.

Поднимается еще один, помоложе первого. Сразу с вопросом ко мне:

— Разве и в Ленинграде уголь рубают?

— Нет. Теперь я уже не шахтер. Я — писатель.

Через несколько минут вокруг меня сидело человек десять, а всего шахтеров и металлургов, как оказалось, привезли человек около ста. Часть из Донецка, часть из Горловки. Мое признание, что я писатель, заставило их поначалу настороженно разговаривать со мной, затем благодаря наводящим вопросам ко мне и моим ответам настороженность исчезла, родилось единое, свойственное людям, попавшим в одну беду.

— Вот ты скажи, парень, ежели писатель, должен знать... Это правильно, что я тую революцию на коне делал, гнал марковцев и денкинцев аж до Черного моря... Награды имею. Пос-

ле войны сделали меня красным директором шахты, и уголек она гнала на-гора дай бог каждому. И вдруг арестовывают... Бывший меньшевик!

Голоса вокруг меня не утихали.

— Мужики, а я так думаю: чего Сталину русских крестьян жалеть. Он же мстит нашим русским за покорение Грузии, вот те бог! Факт. Не прошло и ста лет, как Россия полностью Кавказ и Грузию покорила, не прошло еще, всего и делов... А люди свои национальные обиды помнят.

— Я не согласен с вами, товарищ,— вмешиваюсь я, совершенно убежденный в интернациональном характере Сталина.

Кто-то ехидно, тихонько засмеялся:

— Вот и кажете себя писакой, что аллилуйю пели товарищу Сталину днем и ночью, а мы, простые люди, про себя дома иначе говорили, потому как голова не у всех одинаковая.

— За то, что я пел ему аллилуйю, мне следовательно и его подручные выбили двадцать четыре зуба.

— Да верно ли ты говоришь?

— А ты слышишь, как я разговариваю?

— А за что?..— Я молчал.— Ну, скажи!..— Я молчал.— Пытали?

— Били. Последний раз — двое, лежачего, сапогами. Не верю до сих пор, что ребра целы.

— Да за что, за что, ты говори,— раздались одновременно разные голоса, вдруг очень смягчившиеся.

— За недонос,— сказал я.

Меня не очень-то поняли.

— Не захотел настучать на товарища, так за это,— пояснил я.

— Неужели за это?

— А разве и этого мало? Один человек в общей камере, говоря о своем следователе, передал его слова: каждый коммунист обязан стучать в органы, даже на жену и сына, если они несут зло для советского строя.

Я уже не слушал, устал, люди же продолжали говорить.

— Я пятнадцать лет получил за анекдот: «Ленин Сталина спросил, чем людей ты накормил? А Сталин сказал: землей, которую вы отдали им».

— Я в раздевалке гвоздь забил, чтобы вешать на него домашнюю одежду. А по ту сторону дощатой стены красный уголок, лежали на столе газеты, на стене висел портрет товарища Сталина. Гвоздь, зараза, пробил ему лоб — длинный был... Отработал я смену, выхожу из клетки, а мне один говорит: зайди, Петька, в красный уголок, тебя ждут. Ну, захожю. Глядь,

а гвоздь, зараза, на целую четверть торчит из лба товарища Сталина. Люди незнакомые. Умывайтесь, говорят. А баба, что газеты в уголке раздавала, в слезы. Прости, говорит, Петя, меня, глупую, это я, испугамши, позвонила, что кто-то лоб гвоздем товарищу Сталину расшиб... Ну, значит, переоделся я, посадили меня в легковую машину и повезли. Так-то...

— И сколько же вы получили? — спросил я.

— Двадцать пять...

Через несколько дней осужденных стали выводить из тюрьмы, строить по семь человек в ряд, в колонну. Первыми поставили тех, кто жил на дворе, заводчан и шахтеров Донбасса, потом нас, ленинградцев.

Провели нас со стражей по бокам по центральному проспекту Свердловска, все городское движение было либо переведено на другие городские линии, либо остановлено. Колонна не менее полукилометра длиною, замыкали ее две автомашины с больными. Я шагал, таща за спиной мокрую подушку, крепко завязанную концами мокрого красного одеяла. Тащил их, правду сказать, с трудом. Шагал со сжигающими меня раздумьями: неужели это все враги народа? Откуда их столько? Кто сошел с ума, правительство или мы, люди? Интересно, сказал бы теперь Анри Барбюс, что «Сталин — это Ленин сегодня»?..

Уже после войны, увидев в кино колонну пленных немцев во главе с Паулюсом, я вспомнил Свердловск. Нас гнали тогда точно так же, по семеро в ряд, но наша колонна была длиннее немецкой.

Несколько эшелонов, тесно набитых осужденными, друг за другом понеслись в Сибирь, не останавливаясь на небольших станциях. В Омске вывели из вагонов небольшую группу, в ней был и я. И опять — в тюрьму. Ночью лежать там было совсем невозможно — тело осыпали клопы. Я просидел всю ночь, а днем меня вызвали и сказали, что я могу по своему желанию выбрать один из трех городов для отбывания срока ссылки: здесь, в Омске, в Тюмени или в Тобольске. Я выбрал Тобольск и через час оказался на улице со своей странной ношей за плечами, на что встречные люди обращали внимание. Иль весь мой вид с очень впалыми щеками, ужасными усами и бородой заставляли их пристально вглядываться в меня?

Первое, что я сделал, купил белый батон, отломал кусок и взял в рот, но есть не мог — остатки зубов вонзились в щеки, в язык. Вошел в магазин металлических изделий, купил напильник с крупной насечкой, похожий на рашпиль, — с мелкой не на-

шло. Увидев малолюдный в этот утренний час садик, сел на отдаленную скамью и взялся за работу, медленно заправив рашпиль в рот. Я намеревался драть им эти пики, иглы, забыв, что корни зубов остались. Едва же тронул рашпилем острия — застонал от боли. Литературный образ «плакать кровавыми слезами» я, пожалуй, теперь знаю... Да и в Тобольске еще множество дней пришлось засовывать в рот напильник и работать по десять-пятнадцать минут в день, больше невозможно было терпеть.

Зашел в парикмахерскую, с трудом втащив в узкую дверь мокрые одеяло и подушку. Человек в белом халате кинулся ко мне:

— Проваливай, проваливай!..

Я вышел, виновато буркнув, что я из тюрьмы. Не сделал и двадцати шагов, услышал:

— Товарищ, остановитесь, остановитесь! — пожилая, тоже в белом халате, женщина. — Пойдемте, пожалуйста.. — В парикмахерской она заговорила опять: — Вещи положим вот сюда... Вот сюда... А это мое кресло... Садитесь, пожалуйста.

Она обрабатывала мою голову около часа, затем сказала, улыбнувшись:

— Вот теперь вы молодец! И сразу видно, что вы еще очень молодой.

Я прильнул к ее руке и дольше, чем следует, целовал ее. Положив на стол деньги, вышел, не решаясь еще раз взглянуть на себя в зеркало.

В столовую я вошел новый, другой, даже изящный, хотя внимания на меня никто не обращал. Взял порцию каши-пшенички и два стакана чая. Один выпил, другой вылил в кашу и подумал, что жить можно. Спустя два часа я опять был здесь и снова ел разведенную чаем кашу.

Вечером, как и было приказано в ЧК, сел на пароход плыть по Иртышу в Тобольск — железной дороги в то время там не было. Я не один направлялся туда, о чем узнал от стражника, сопровождавшего меня и красивую синеглазую женщину, удивившую меня: на политического деятеля она похожа не была. Так за что же ее? Стражник старый, вероятно, уже на пенсии, хмуро сказал, что лучше бы нам держаться вместе, не прибавив, что в этом случае ему легче будет наблюдать за нами. Так, независимо от нашего желания, мы должны были познакомиться.

Она тоже ленинградка, в Омск ехала пассажирским поездом, теперь по Иртышу плыла в Тобольск отбыть пятилетний срок. Уже наученный недоверием, мелькнувшим в глазах шахтеров, лишь я назвался писателем, я своей спутнице сказал, что я слесарь, упомянул даже Октябрьскую прядильно-ткацкую фабрику,

где действительно работал слесарем до конца двадцать восьмого года. Она представилась, протянув руку:

— Екатерина, можно проще...

Я не скрывал своего интереса к ее судьбе, она отвечала охотно. Закончила текстильный институт, но необычно, несколько раз подчеркнув, что мать ее работает ткачихой, а отца она никогда не видела. Работать пошла в цех матери, сказав себе: десятилетка есть, институт закончу без отрыва от производства, в вечернюю смену. И закончила, сдержав обещание, но чего ей это стоило! Пять лет, лучшие годы, проходила в одном пальто, в одних, зимой и летом, туфлях. На фабрике платили мало, мать не помогала, любила выпить. За пять лет лишь дважды Екатерина посетила кинотеатр. Ни с одной девушкой ни на работе, ни в институте не дружила во избежание соблазнов.

Закончив институт, получая уже жалование инженера, почти все деньги тратила на модную одежду и обувь, продолжая экономить на питании. За три года приобрела гардероб и вышла замуж за второго секретаря райкома партии, отличного, доброго парня. Вдруг его арестовывают, затем ее вызывают в райком, где он работал, говорят, что он враг народа, и рекомендуют развестись. В Большом доме ей вручают бумагу, в которой сказано, что она жена врага народа и ссылается в город Тобольск на пять лет.

Я не находил слов утешения и мрачно молчал. Она слабо улыбнулась:

— Пойдемте, слесарь, в буфет, ради печального знакомства выпьем по рюмке коньяку.

Тобольск, маленький городок с маленькими домиками и деревянными тротуарами, лежал на стыке двух рек, могучего Иртыша и небольшого по сравнению с ним Тобола. Я пришел в Окружное управление НКВД — в углу комнаты стоял стол, за ним сидел человек, на стене, на картоне печатные буквы сообщали: «Оперуполномоченный». Подхожу к нему.

— Здравствуйте, товарищ.

— Здравствуйте! «Личное дело»!

— У меня его нет. Прибыл без него.

— Тогда паспорт, посмотрю, что в нем.

— Паспорт у меня взяли в тюрьме при обыске.

— Совсем без документов прибыли? Но так не бывает,— усмехнулся уполномоченный.— А вы кто по профессии?

— Писатель. Член Союза советских писателей.

Он окинул взглядом мой красный узел.

— Тогда подождите...— Вышел. Минут через пять вернулся, провел меня в кабинет с ковровой дорожкой от порога к столу,

за которым сидел пожилой человек с двумя «шпалами» на воротнике.

— Здравствуйте...— я не поклонил головы.

— Здравствуйте. Садитесь. И расскажите нам, почему были без «личного дела».

— Я впервые узнал, что еду без «личного дела» в Свердловской областной тюрьме, куда меня не хотели впустить из-за отсутствия этого «дела».

— Почему вы так разговариваете?

— Мне выбили зубы.

— Вы были членом партии?

— Я беспартийный.

— Поскольку у нас нет вашего дела и мы не знаем, за какое преступление к нам вы присланы... Если хотите, можете рассказать об этом, а не хотите, мы не настаиваем.

— Рассказать коротко или подробно?

— Как вам угодно...— звучали четкие, холодные слова.

Я почувствовал некоторый шанс. И рассказал о международной конференции и подаренных мне книгах, не забыв прибавить, что мой роман «Двадцатый век» в Берлине сожжен фашистами и переведен в Испании, Японии, Германии, Америке.

— У вас нет с собою ваших книг?

— Книг нет, но все рецензии на них при мне. Вот здесь, в кармане.— Я достал их.

— У вас их не отобрали?

— Отобрали лишь подаренные иностранные книги. Следовательно...

— Как его фамилия?

— Федоров. Имени не знаю. Он очень хотел, чтобы я назвался шпионом какого-либо государства. Я все отрицал и не подписал ни одного протокола.

— А мне кажется,— вставил фразу уполномоченный,— вы признались!

— В этом случае мне не надо было бы выбивать зубы.

— Но нам кажется, вам не только выбили зубы,— взгляд начальника остановился на моем лице.— А каким образом у вас оказались рецензии?

— Рецензии не взяли при обыске квартиры, их положила жена в очередную передачу.

На вопрос, почему их много, я ответил: у нас существует бюро газетных и журнальных вырезок, я воспользовался его услугами. Что писали обо мне, все здесь.

— Вы можете их оставить у нас на некоторое время?

— Конечно, пожалуйста.— Я положил их на стол.

— Ступайте...— кивнул он.

Я поклонился.

Мы вернулись в комнату уполномоченного, он сел что-то писать, я стоял.

— Распишитесь, писатель... Что не станете выходить за черту города и будете через день являться ко мне на отметку в двенадцать часов дня.

Я расписался.

— Вы не подскажите, где тут можно снять комнату?

— Не подскажу. Не знаю. До свиданья...

Черную комнатенку я снял у девяностолетней старухи, прокурившей до табачной вони: пятьдесят лет назад умер ее муж, с тех пор она выкуривала ежедневно добрую половину папиросной пачки. И при этом бабка была крепкая, как дуб. С разговорами ко мне она не приставала. Я тоже обращался к ней лишь при необходимости.

Весь первый год ссылки меня терзала одна неотступная, но имевшая несколько оттенков мысль: почему я здесь? Неужели у нас достаточно одному человеку сделать подлость другому и власть в дугу сгибает этого другого, хотя он и писатель? Что происходит с революцией? И что бы теперь сказали участники харьковской конференции, на десятках языков с бурным восторгом приветствовавшие великую пролетарскую революцию? Не испугались бы они ее теперь?

И все же в моих мрачных поисках виновным был не Сталин. Виновных я искал в других людях, хотя был уже наслышан от осужденных, что все злое идет от него. Но, повторяю, я этому не верил.

Около года я помогал редактору небольшой газетки «Ударник Арктики», выходявшей два раза в неделю для факторий Омского отделения Главсевморпути,— деньги платили, в штат не брали. Ссылный! Потом работал около полугода корректором «Тобольской правды», но поперли и оттуда... Главный редактор, будто впервые услышав обо мне, сказал сотрудникам:

— Зачем вы держите врага народа, да еще корректором?

Я попросил бабулю вымыть белье, она ответила — пальцы не гнутся. Привела соседку, этакую серенькую женщину с редкой фамилией Христопродавцева. Рассказала, хоть я и не расспрашивал, что живет тяжело, двое детей, мужа-плотника арестовали, сослали на Колыму, потом сообщили, что писать ему нельзя, письма не дойдут, так его далеко увезли. Я как бы не по-

верил ей. Разве и здесь, куда ссылают людей, тоже арестовывают? И вдруг вмешалась моя бабуля:

— Да, почитай, половину уже города повязали и невесть куда им угон сделали.

Услышал я от них — старой и молодой, — что появилась тут красавица из Ленинграда, привезла два больших чемодана дорогих платьев, продает их на базаре и каждый день пьяная, иногда прохожих задевает. А то пьяная лежит на улице. Я вздрогнул: «Екатерина, можно проще...»

Рецензии на книги чекисты не спешили мне вернуть, я о них не напоминал. Я сделал глупость, предложив им познакомиться с текстом, о чем сообразил уже выйдя из Управления, шагая по незнакомым улицам. Кто сам себе роет яму? Я! За повесть «Сестры» критики в Тобольском ОКР НКВД добавляют мне жару?.. Несомненно... Идиот! Оставалась надежда: извратить смысл повести, но я хорошо себя знал, если буду врать, скоро собьюсь и замолчу.

Наконец в один из дней отметки уполномоченный внезапно для меня сказал, что со статьями они познакомились, и повел меня к начальнику.

— Садитесь, товарищ Уксусов, — холодно пригласил начальник, однако прибавив к моей фамилии «товарищ», чему я с робкой надеждой обрадовался. — Расскажите нам подробно, почему о вашем романе критики отзываются с добром, чего не скажешь о другой книге, этой повести о сестрах, которую у нас ругают, а в Париже хвалят? В одной из статей прямо говорится: «В Париже белогвардейцы восторгаются ею».

Я вроде бы похолодел. Вот тебе и «товарищ...» Здесь, пожалуй, выбьют последние зубы! Они просят рассказать подробно, значит с деталями? Это легче?.. И стал говорить сдержанно, но затем меня понесло.

...Жили без отца и матери две девушки, одна молоденькая, с жадным интересом озирающая все вокруг и за это прозванная в цеху Мухой. Другая старше на десять лет, калека с парализованными с детства ногами, поэтому и дома и на улице она ползала в цинковом корытце, отталкиваясь от земли деревянными колodками.

Муха пылко влюбилась в своего начальника, женатого человека. Между Мухой и начальником возникает любовная связь, затем начальник очень грубо отталкивает девушку, видимо, вспомнив, что у него двое детей и жена обещает родить третьего. Муха в отчаянии бросается с шестого этажа и погибает.

Жалкая Нилка, оставшаяся без средств к существованию, плакала и бранила сестру, создавая у окружающих ужасное впечатление: за жизнь хваталась та, которой жизнь в тягость, а та, которой, казалось бы, жить да жить, ушла из нее.

Нилка стала попрошайничать на панели. Вскоре мальчик привел слепого солдата-буденовца, положил на панель рядом с миской Нилки шлем с нашитой большой красной звездой. Калека стала поводырем слепому, взяла его к себе, и скоро два инвалида, один без глаз, другой без ног, уже не могли жить друг без друга. Жизнь для обоих сделалась интересной, затем необычная любовь сделала их счастливыми.

Н. Тихонов, опубликовав повесть в «Звезде» и чувствуя в ней что-то неладное, предложил В. Саянову написать послесловие: «Редакция считает неоправданным упаднический конец повести Ивана Уксусова и обязуется в ближайших номерах «Звезды» дать подробный критический разбор допущенных автором ошибок».

Через месяц в Париже, в белогвардейской газете «Руль», издаваемой Милюковым, появилась статья о «Сестрах». В Ленинграде члены редколлегии «Звезды» и я, автор, обсудили статью. Н. Тихонов чувствовал себя неловко, В. Саянов посмеивался. М. Зощенко похвалил повесть.

Я рассказал в НКВД о самом существе повести, всячески избегая мест, могущих показаться политически невыгодными, и тем не менее начальник управления существо «Сестер» увидел отнюдь не в излишнем биологизме.

— Зачем вы этого прохвоста, погубившего девушку, сделали коммунистом? Разве нельзя было показать его беспартийным?

— Да, нельзя было показать начальника беспартийным, это исказило бы правду жизни,— уверенно ответил я.— Пошел двадцать четвертый год, в повести показывается траурное собрание по поводу похорон Ленина. Ревели все одиннадцать гудков завода, многие люди, в том числе и молоденькая Муха, очень плакали. Начальниками всех производств тогда назначали лишь коммунистов, даже снимали знатоков беспартийных, заменяли их неумелыми коммунистами. Исказить такую массовую для того времени правду, повторяю, я не мог.

Оперуполномоченный сказал, когда мы вернулись в его комнату:

— Ну вот что, писатель, если хотите вернуться в Ленинград, никакого знакомства с нашими ссыльными не водите... Это вам строгое наше предупреждение... для вашей пользы... Вы обязаны знать, какое сейчас время... Вон, сам нарком НКВД СССР

Ягода разоблачен как враг народа. Наши враги, особенно троцкисты, клеветают на великого человека, товарища Сталина, а мы его оберегаем.

И переменял тему, поблескивая хитрыми глазами.

— Я романы не люблю, не хватает терпения, но стишки иногда открываю. Партия назвала Маяковского великим поэтом революции... А для меня рекомендации партии — это все... Закон!

Поработав в газетке «Ударник Арктики», затем некоторое время корректором «Тобольской правды», я на этом свою связь с тобольской печатью закончил. Но я не унывал, я мужик бывалый. С двенадцати лет работал на заводе, с тринадцати грузил вагоны небольшой, сделанной отцом специально для меня лопатой, четырнадцати лет ездил за хлебом, в шестнадцать и до двадцати — шахтер. И в Тобольске тоже находил себе работу. Красил людям полы, никогда до этого ничем подобным не занимался, колол женщинам дрова: зимы длинные, суровые, дров надо запастись много; узнавал между делом, что хозяин иного дома арестован, куда-то сослан, и вновь не дающая покоя мысль травила душу. Так что же все-таки делается на свете?..

И тревожно — о жене. Все, что возможно было продать, она уже продала, в первую очередь книги. Служила в конторе бухгалтером-расчетчиком, в сущности, ставила палочки в ведомостях, получая за это 55 рублей в месяц на себя, ребенка и старушку, дальнюю родственницу. Сливочного масла для девочки покупала 25 граммов на два дня, сама и бабушка питались кашами и постным маслом. Из трехкомнатной квартиры, с тем, отделанным под дуб кабинетом, жену переселили в коммунальную многокомнатную квартиру, где на кухне ежедневно горели десять примусов. Но и это было еще не вся подлость, свершенная по отношению к моей жене Литфондом. Надстройка для писателей на канале Грибоедова строилась на полугооперативных началах, я весь гонорар за второе издание романа отдал в уплату пая. Так почему въехавшему в мою квартиру человеку Литфонд не предложил вернуть моей жене деньги? Как они помогли бы жене. Труссы ничтожные...

Как-то в один из июльских дней тридцать шестого года моя хозяйка-бабуля вошла в мою комнатенку и сказала:

— Выдь-ко, парень, на улицу, глянь, чего увидишь.

Я вышел. В облачке пыли стража гнала толпу человек в сто: старики, старухи, женщины всех возрастов, иные с грудными детьми. Как стало известно впоследствии, их везли по реке на большой барже, но с баржей что-то случилось, тогда их высадили на берег и погнали в Тобольск ближайшей дорогой. Бабуля

моя жила на окраине города, к ее избушке и подходила толпа. У каждого был какой-то узелок с вещами или чемоданчик. Женщины несли самых маленьких, ребятишки шести-восьми лет брели сами.

Эти люди были родственниками тех, кого арестовали ночью и куда-то увезли. Им предложили явиться на вокзал в определенное время, их повезли в товарных вагонах, потом они плыли по реке, теперь, едва не утонув, шли неизвестно куда, задыхаясь от пыли.

Одна из женщин, увидев ручей, вышла из толпы, встав на колени, ополоснула лицо и начала пригоршнями пить воду. Это было в двадцати шагах от меня. Вдруг помчалась к ней, вытянув хвост и ощерив зубы, овчарка, вмиг она повалила женщину и стала рвать ей левую грудь, женщина не сделала ни одной попытки оборониться, не издала ни одного звука, вероятно онемев от ужаса, боли, слабости. Я видел, как овчарка оторвала ей часть груди вместе с соском,— морда собаки была в крови... Было похоже, она хлебала кровь.

Подбежавшие стражники отняли несчастную. Подняли, понесли вдоль толпы, там, в конце ее, была телега для ослабевших. Руки и ноги женщины безжизненно висели.

Я вбежал в избу и упал на свой топчан. Я орал, рвал на себе волосы, обо что-то стучал головой, не в состоянии ни унять себя, ни понять, что со мной происходит. Может быть, этот крик копился во мне еще со дня ареста, может быть, с того момента, как стражник впервые ударил меня чугунной перчаткой и назвал контрой, гадом, сволочью. Может быть, эта жуткая картина явилась последней каплей...

Значительно улучшились мои материальные дела. Я придумал писать на стекле масляными красками вывески и таблицы для школ, магазинов, учреждений, затем освоил белую и желтую фольгу. Горсовет, к которому я обратился со своей инициативой и с просьбой о помощи в этом деле, тотчас нашел мне комнату, а я подыскал одного парня из местных, мы сделали два деревянных приспособления, чтобы держалось на нем стекло, две круглых легких палочки «муштабели», и дело пошло. Первая вывеска, размером в натуральный лист стекла, ярко-зеленого цвета, появилась на нашем домике: Художественная мастерская.

Нас буквально завалили заказами. У меня появилась возможность материально помогать жене.

От бабули, прожив у нее два года, я переехал ближе к цент-

ру города, к месту своей работы, сняв в приличном доме комнату с большим окном и большим столом, на нем можно было и писать.

В один из воскресных дней, теплых, ярких, я увидел в окно едущего мимо на велосипеде уполномоченного. Будто случайно заметив меня, он соскочил с велосипеда.

— Здорово, писатель!

— Здравствуйте,— сдержанно отвечаю.

— Чего не приглашаешь в гости?

— С удовольствием,— улыбаюсь и чувствую, как он мне неприятен.

Уполномоченный поставил у ворот велосипед, вбежал ко мне в комнату.

— О-о, да у тебя целая канцелярия на столе.

— В настоящей комнате захотелось писать. Соображаю небольшую повесть. Чаю хотите? Есть конфеты.

— Чаю у меня дома предостаточно! Лучшим чаем будет, если что-то считаешь художественное. Или расскажешь, что пишешь, рассказываешь ты хорошо.

Я объяснил: пишу о двух латышах, активно боровшихся на стороне красных в гражданскую войну.

— Боролись, факт. А теперь буржуазной республикой живут? Забыли давно, как и Красная Армия называется!

— Ну, может, не все забыли.

— Брось ты их к черту! Революция продолжается! Мало тебе русских богатырей, стоящих на передовом крае борьбы? Ежедневно рискующих жизнью?.. Рассказал бы я тебе одну историю, на днях здесь случилась. Может, и написал бы.

— Я не знаю вашего материала, без этого нашему брату делать нечего.

— Ну, это верно,— его глаза то и дело останавливались на строчках лежащей перед ним рукописи.

— Может быть, хотите почитать дома? Пожалуйста.

— Я на службе чекист, а не дома. Дома я сынишке помогаю уроки делать. Слушай-ка,— легко переменял он тему.— А кто этот Федоров, который вел твое дело?

— Я его до ареста не видел.

— Он русский?

— Не знаю. Судя по фамилии — да.

— Фамилия что! Все троцкисты живут под вымышленными фамилиями. Ты что, не знаешь?

— Не знаю.

— Мы их всех передадим!

Я упорно молчал, подумывая, что он провоцирует меня, с тем и приехал. Неприятно было смотреть на него.

— Так вот в чем дело. Этот Федоров в прошлом году прислал нам телеграмму: «Писатель Уксусов еще на свободе?» А вчера вторую: «Писатель Уксусов еще на свободе?» А это уже грозный окрик из Ленинграда. Понял, почему спрашиваю, кто он такой?

— Он сволочь, это я хорошо знаю, а троцкист он или нет, это меня не касается.

— Им мало, видите ли, Октябрьской революции, им все-светную революцию подавай, чтобы они торговали и властвовали. Словом, Америку подавай.

Дышать мне было все труднее. Это же мука слышать такое и молчать. И подумывал: сорвусь, сорвусь. И нельзя срываться, нельзя.

— Нам плевать на его окрик, мы сами с усами. Понимаешь теперь, что он гонит тебя, куда Макар телят не гонял? Теперь дело проясняется, писатель, но не все. Если Федоров так неприемлемо злобно относился к тебе в Ленинграде и продолжает уничтожать тебя здесь, но уже нашими руками, ты понимаешь, почему приехал к нам без «личного дела»? Скажи-ка, а никто третий не присутствовал, когда Федоров допрашивал тебя?

— Один раз какой-то человек в сером костюме сидел в углу комнаты и сказал мне одну фразу: «Шахтеры рудника «Красный Октябрь» хорошего о вас мнения».

Уполномоченный с довольным лицом откинулся на спинку стула.

— Так вот кому скажи спасибо за сохраненную тебе жизнь. Чекисту! И не думай, как думают иные, что чекисты кровавые звери. Мы дети Феликса Дзержинского, железного рыцаря революции, и теперь охраняем товарища Сталина, тоже железного рыцаря революции, ненавидящего троцкизм, как его ненавидел Дзержинский.

Уполномоченный встал, впервые протянул мне руку.

— И последнее, знаешь. Мы обязаны были до конца выяснить, почему тебя прислали в Тобольск без «личного дела», кто ты на самом деле есть. И выяснили это. Думай над моими словами, но сам помни: не было у нас такого разговора и вообще я к тебе не заезжал!

— Благодарю за откровенность.

Он сбежал по высокой деревянной лесенке. Я не смотрел, как он отъезжал. Я выглянул, когда его велосипед был уже достаточно далеко и сильно пылил.

Тобольск делила высокая гора на город верхний и город нижний. На горе стояла старинная тюрьма, вблизи нее — высокая

белая церковь с золотящимся в ясный день крестом. В этой тюрьме когда-то томился Достоевский, оставивший нам «Записки из Мертвого дома», теперь в одиночном заключении находился Карл Радек — его даже не выводили на прогулку, так что иные сердобольные тоболяне говорили: «Несчастный человек, заживо погребен в каменном мешке».

И вот настал очень горький час для множества людей, в том числе и для той толпы, где овчарка загрызла женщину, и для Екатерины-ленинградки, и многих других. Их собрали на пристани якобы для отправки в какой-то другой город, но люди уже знали, что этим местом будет дикая тайга, их высадят на берег на съедение зверям, лютой мошкаре, хищным птицам.

Я с ужасом глядел на баржу, по-сибирски широкоую и длинную. Люди медленно, очень медленно входили на нее по трапу, может быть оттого, что знали — поплывут навстречу смерти, может быть оттого, что вдруг слабли и подкашивались у них ноги. Внезапно я увидел Екатерину. Она была в белом платье, вся сияющая и поднятой рукой кому-то делала знаки. Когда поймала мой взгляд, то оказалось — мне. С улыбкой вскричала она: «Прощай, слесарь! Желаю тебе счастья!» И у меня покатались слезы.

Старушки не отрывали взгляда от высокой церкви на горе, крестились усиленно и кланялись в пояс. Старики стояли с обнаженными головами, многие тоже крестились, но не кланялись — у них уже поясницы не позволяли наклоняться. Молодые женщины, прижимая к себе мальчиков и девочек, плакали.

Я будто в землю врос. Картина на всю жизнь.

Когда пароход дал гудок и баржа тронулась, старушки, не отрывая взгляда от сияющего на высокой горе креста, запели нестройными голосами: «Со святыми упокой, Христе, душу рабы твоя-а-а-а...»

Екатерина махала, махала мне рукой.

В декабре 1938 года меня вызвал уполномоченный и молча протянул мой ленинградский паспорт. Видимо, у меня изменилось лицо, потому что он неожиданно рассмеялся.

— Возвращайся, писатель, в Ленинград, да сюда больше не попадайся.

— Это зависит не от меня.

— Как зависит не от тебя? От кого же?

— Я не знаю. Впрочем, теперь я уже знаю.

— Так от кого же это зависит?

— От мерзости человека!

По возвращении в Ленинград я пошел в Союз писателей. В секретариате сидели, мирно о чем-то беседуя, Зощенко и Герман,— мое появление, прямо скажу, ошеломило их. Конечно, расспросы. Глаза у Михал Михалыча, обычно слегка прищуренные, теперь смотрели на меня широко, он жадно слушал. Юрий Павлович беспокойно ходил по кабинету, потом снял трубку телефона, и несколько раз снимал ее еще — не мог соединиться. Наконец заговорил:

— Александр Александрович, здравствуйте! Это Герман! Укусов вернулся из ссылки. Да-да, Укусов. Вот он, рядом с Михал Михалычем. Даю!

Я отчетливо услышал мягкий и хрипловатый, ни на какой другой не похожий фадеевский голос.

— Ваня, это ты? Поздравляю, поздравляю! Разговаривать не будем — у меня люди. Сейчас обрадую их. Непременно завтра утром приезжай ко мне, скажи, чтобы обеспечили тебя билетом. До свиданья! Впрочем, когда ты вернулся?

— Вчера!

— До встречи!

Я хорошо знал его с того дня, как он предложил избрать меня членом правления и президиума РАПП, а поездка с ним на харьковскую конференцию сблизила нас еще больше. Его яркий талант оратора подкупал непосредственностью речи и обилием мысли. Я слегка завидовал ему, но это чувство никогда не мешало мне глубоко уважать его, оно же не позволяло и отношения с ним построить такие простые, какие были у него с Чумандриным и Либединским.

Когда мы приезжали с Чумандриным на правление РАПП,— ни родных, ни знакомых ни у кого из нас в Москве не было,— Фадеев уводил нас ночевать к себе, что ужасно не нравилось его жене, писательнице Валерии Герасимовой. Он занимал с ней небольшую двухкомнатную квартиру, довольно скудно обставленную. Было похоже, это нисколько не смущало ни жену, ни тем более его, с утра до ночи принадлежавшего писателям и их делам. Мы с Чумандриным спали на полу в первой комнатке, Фадеевы за тонкой стеной на одной кровати,— мне, недавно покинувшему Енакиево, где на разных кроватях никто не спал, его рабочий быт нравился.

Руководя вместе с Либединским и Ленинградской организацией пролетарских писателей, Фадеев, когда приезжал в Ленинград, обычно останавливался в «Астории», там мы иногда и заседали у него, там он по утрам писал роман «Последний из удэге» и не убирал со стола страницы, так что всякий, приходив-

ший к нему, мог взять страницу и читать. Но нередко он ночевал и у меня. Хорошо зная жену мою, он, открывая дверь, шутливо спрашивал: «Принимаете? Мне скучно вечером в гостинице одному». И мы до глубокой ночи, попивая коньячок, а то и беленькую, говорили о делах литературных и смеялись. Когда же на «Ленфильме» ставили картину по его «Разгрому», он целую неделю ночевать приходил ко мне. Иногда, в веселую минуту, запевал любимую песенку — кажется, только ее одну он и знал. Голосом он никаким не обладал, если не считать его хрипоты во время пения,— крик, похожий на рев осла.

Ты не стой на льду,
Лед провалится.
Не люби вора,
Вор завалится!

И видно было, какое удовольствие дает ему пение. Он пел, откинувшись на спинку стула, широко раскинув руки и радостно улыбаясь, голос его то на мгновение вовсе пропадал, то вдруг взрывался пронзительным сложным хриплым визгом. Соседки по моей коммунальной квартире, зная, что это поет писатель Фадеев, хохотали за дверью, прикрыв ладонью рот, чтобы не помешать ему.

Около полудня я приехал с вокзала в Секретариат. У Фадеева шел прием. Человек пять писателей ждали очереди. Я поздоровался с Зинаидой Ульяновной, секретарем Фадеева, она, видимо, предупрежденная им, сказала присутствующим, что прием окончен, и прошла в кабинет.

Фадеев вышел в приемную впереди нее, повел взглядом по лицам собравшихся, подошел и обнял меня за плечи, мы вошли в кабинет.

— Поздравляю, поздравляю! Ты первая ласточка из всех. Рад!

Мы сели. Мое несколько встревоженное состояние — как встретит, не даст ли понять, что я все-таки был «врагом народа», — исчезло.

— Знаю кое-что о тебе. Ты свободно жил в городе Тобольске и где-то работал. Сколько времени ты там пробыл, Ваня?

— Три года, восемь месяцев и десять дней.

— А почему так говоришь? Или цинга была?

— Мне выбили зубы.

— Не может быть. Не может...— он жадно глядел на меня, даже, казалось, не мог отвести взгляда.— Но за что же тебя взяли?

— Следователь уверял, правда недолго, что книги, подаренные мне на конференции, сделали меня шпионом одной из стран, и он добивался, шпионом какой же страны я являюсь.

— За книги,— поразился Фадеев, будто не услышав ответа, так ясно было, что он мне не верит.

Я молчал.

— За те книги?

— За те.

— Но там же надписи на каждой. Они что, с ума сошли?

— Ты у них спроси об этом. Я об этом думал все прошедшие годы. Кто сошел с ума? Правительство или народ?

— Ну-ну. Ну-ну. Ты не сердись на Советскую власть!

— А на кого сердиться?

— Расскажи, пожалуйста, все, все, что считаешь нужным, все главное я должен знать от очевидца. От первого, Ваню. По крайней мере, кому я верю. Время у нас есть.

Он позвонил, попросил вошедшую Зинаиду Ульяновну принести нам чая и мой роман из библиотеки.

Я рассказывал ему больше часа обо всем, иногда прерываемый его вопросами, и когда кончил говорить, лицо у него было красным до самых ушей, а маленькие голубоватые глаза полны невылившихся слез.

Я сделал несколько глотков чая и закурил:

— Теперь я могу спросить тебя, Александр Александрович? Спасибо... Кто виноват во всем происходящем?

— Враги,— не совсем решительно ответил он.

— Саша, ты сказал, что веришь мне, я тебе — всегда. Так вот скажи, ты веришь, что врагами народа у нас стали сотни тысяч человек?

— Я не советую заниматься тебе такими подсчетами.— Заметив, что мне не понравился его ответ, прибавил более доверительно: — Да и неизвестно мне так много, как ты, наверное, себе представляешь. Твой вопрос на языке у всего народа, Ваню. У всего. Вот это я знаю. А все остальное покажет будущее. И последнее: я верил и верю товарищу Сталину, чтобы ты знал, а этим все сказано. Еще о чем хочу сказать, как о главном своем. Я всем писателям всегда старался делать хорошее. Но пришло такое время,— это несчастье для человека руководить Союзом писателей в такие дни. Когда участились аресты наших, я позвонил в Секретариат Генриху Ягоде, попросил его принять меня по делам репрессированных писателей, так он не только не принял меня, барин, он даже не соизволил что-то передать мне. Другое дело — Ежов. Он проще. Передал мне, что принять меня

может через месяц, не раньше, и через месяц принял. Я беседовал с ним более получаса. Ты-то, Иван, не хуже меня понимаешь, какое это было время, прошлый год... Мог я точно знать, за что каждый писатель арестован? Я не Иисус Христос... Тем не менее я за девять человек почти ручался ему, что они не могут быть врагами народа, в том числе был и ты. Ежов откровенно недоверчиво посматривал на меня, о каждом названном мною расспрашивал — кто он, что напечатал, — шесть фамилий записал себе в блокнот. О тебе я сказал, что ты из потомственных рабочих Донбасса, бывший шахтер, написал большой и первый в литературе роман о том, как белый деникинский тыл металлургии и шахтеры Донбасса превратили в красный фронт, чем и помогли фронту опрокинуть белогвардейщину в Черное море. Собственно, я повторил сказанное о тебе на конференции, добавив, как иностранцы приветствовали тебя на банкете. Когда я уходил, Ежов все тем же недовольным тоном сказал мне: «Скорых результатов не ждите, Фадеев. Вы знаете, что история диктует нам больше заниматься теми, кого надо изолировать от честных советских людей, а не теми, кого надо освобождать. Я думаю, вы меня понимаете».

И прошел еще год, Ваня, и ты с нами. Скажи спасибо Ежову, что освободил тебя.

— Тебе, Саша, спасибо, а не Ежову. О нем я наслышан, ты понимаешь...



**Вадим
Григорьевич
ФРОЛОВ**

род. 1918

Из книги «Писатели Ленинграда»

Фролов (как журналист выступал также под псевдонимом В. Дымов) Вадим Григорьевич (11.XI.1918, Нижний Новгород)* — прозаик, детский писатель. Учился на 1-м курсе Ленинградского института инженеров водного транспорта, работал токарем, лаборантом. В 1938—1943 жил в Сарапуле и Сарапульском районе Удмуртской АССР. Был культработником, воспитателем, преподавателем и завучем школы. В 1943—1945 служил в действующих частях ПВО. В 1945—1947 преподавал в вечерней школе. После окончания отделения журналистики филологического факультета Ленинградского университета (1951) был зав. литературной частью в театрах Иркутска (1951—1954), методистом Дома народного творчества в г. Великие Луки (1955—1957), был на редакционно-издательской работе в Ленинграде (1957—1961), работал в заводской многотиражке (1962—1965). Начал печататься в военных газетах в 1943 (стихи и песни). Первый рассказ опубликован в газете «Ленинградский университет» (1948). Повесть «Что к чему...» отмечена премией Ассоциации изучения ребенка в США (1968). Пьеса «Что к чему...» по одноименной повести (написана в соавторстве с И. Ционским) была поставлена в 1968 в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, а затем в ТЮЗах многих городов страны.

* Вадим Григорьевич Фролов умер в 1994 году.

По мотивам этой же повести написан сценарий фильма «Мужской разговор» (в соавторстве с В. Ежовым, 1968), получившего приз «Серебряная Минерва» на Международном фестивале детских и юношеских фильмов в Венеции (1971).

Что к чему...: Повесть. Л., 1966 и 1977; Что к чему... Пьеса. М., ВУОАП, 1968; Поворот: Повесть.— Костер, 1971; № 7—9; Невероятно насыщенная жизнь: Повесть. Л., 1972; Что посеешь: Повесть. Куйбышев, 1966; В двух шагах от войны: Повесть. Л., 1981.

Вадим Фролов

ЖЕРНОВА

(Из воспоминаний)

Чтобы понять, что со мною, со всеми нами происходило, надо знать наш Дом *.

Летом 1936-го арестовали отца Гутьки Лидака. Отто Августович был профессором, кажется, даже директором Института истории ВКП(б), в архиве которого некоторое время работал Николаев — убийца Кирова. Мы тогда почему-то считали, что Лидак каким-то образом должен отвечать за зверское преступление, хоть и не имел к нему отношения.

Отто Августовича сперва арестовали еще в декабре 1934-го. Продержали несколько дней и выпустили. Гутька под большим секретом говорил, что вроде бы было распоряжение самого Сталина: «Лидака не трогать», чем-то дорог был вождю бывший комиссар латышских стрелков Отто Лидак.

Постепенно отрыдал, отскорбел Ленинград. С газет исчезли широкие траурные полосы. Имя Кирова навеки запечатлелось в названиях множества фабрик и заводов, театров и домов культуры, парков, стадионов и городов страны. Наша улица Красных зорь стала Кировским проспектом, мост Равенства, бывший Троицкий, стал Кировским.

Все стремительно и неправдоподобно менялось. Сгинул куда-то начальник НКВД Медведь, а потом и занявший это место его заместитель Запорожец. Поползли слухи о гибели в автокатастрофе Борисова — начальника охраны Кирова: как раз тогда и погиб, когда везли его на допрос на следующий после убийства день. Газеты запестрели сообщениями о том, что в Ленинграде раскрыта большая группа заговорщиков — троцкистов

* Дом бывших ссыльных и политкаторжан в Петербурге на площади Революции.

и зиновьевцев. За судебным процессом Николаева и его сообщников последовали многочисленные аресты и высылки: кое-кого из кировского окружения, а в основном почему-то «бывших» — дворян, царских офицеров, дореволюционных чиновников, священников.

Впрочем, нашего Дома это если и коснулось, то в малой степени. А может, и не коснулось совсем. А коснулось нас нечто другое: в 1935 году было ликвидировано Общество бывших политкаторжан якобы за ненадобностью. Тогда же был закрыт и Музей революции. Мы перестали получать ежемесячный журнал «Каторга и ссылка», он тоже прекратил свое существование.

Наши старики были чернее тучи. Отчим Гриша, раскрывая по утрам газетный лист, тут же с раздражением отбрасывал его прочь. Газеты лохматыми неопрятными стопками копились на подоконниках, пока мама, кое-как замотав веревками, не выносила их на лестницу. Масштабы «заговоров» и арестов были столь обширны, что вызывали смутные подозрения и нежелательные аналогии.

— А не стало ли убийство Кирова чем-то вроде поджога берлинского рейхстага? — сказал я однажды вечером, когда у нас за чаем сидели Василий Иванович Сухомлин, Григорий Никитич Тер-Оганян, Катя Бибергаль, еще кто-то из маминых друзей. Они переглянулись и ничего не ответили.

...Когда мы в 1932 году переселились из Павловска в Дом политкаторжан, так называемые «межпартийные вопросы» вообще не обсуждались. В Доме жили представители самых различных партий — всех их освободила из каторжных тюрем, из далеких северных и сибирских поселений Февральская революция. Они приняли Октябрьскую революцию как данность, как нечто закономерное и, должно быть, свято уверовали в правильность избранного в то время большевиками пути — ведь за большевиками пошел народ, а воля народа была для них высшим законом. Однако камни, рытвины и ухабы этого пути, жестокости, несоразности и упорство в этих жестокостях и несоразностях, я думаю, повергали их порой в мучительные раздумья: почему, отчего, зачем.

Только все свои сомнения и разочарования они старательно скрывали от нас. Мы должны были верить! Верить в то, что другого пути, кроме Октября, не было и другой власти, кроме Советской, быть не могло.

И мы были самыми обыкновенными ребятами середины тридцатых годов. До хрипоты спорили о литературе, до упаду танцевали, увлекались девчонками и спортом. Впрочем, в нашей

«интеллектуальной» компании, бывало, велись ожесточенные «философские» споры и, конечно же, интересовались мы политикой: рассуждали о великой миссии революционной России, по-матерному ругали кретина Гитлера с его расовой теорией. Вместе с другими мы восторженно бежали вдоль улицы Красных зорь за самой первой «эмкой» — советской легковушкой «М-1», с одинаковым волнением следили за героическим спасением челюскинцев, дружно восхищались перелетами наших летчиков в Америку через Северный полюс, яростно «болели» за наших футболистов. Являемые нам в печати, кинохронике и по радио успехи первых пятилеток, наши военные парады, наше жизнерадостное искусство — все мы считали приметами крепко ставшего на ноги первого в мире государства, если еще не совсем социалистического, то идущего к тому неуклонно.

И лишь смутным воспоминанием тревожило меня увиденное в 1929 году за окном поезда бескрайнее и безлюдное поле с тугими колосьями, вооруженные красноармейцы на дорогах, умирающие (теперь-то я знаю от голода) люди на станциях, толпы беспризорных ребятишек. Что-то мне тогда, десятилетнему, мама объяснила, но я, должно быть, не запомнил или не понял ее объяснений.

Так вот, когда в августе 1936 года арестовали отца Гутьки Лидака, мы еще могли думать, что в чем-то он, вероятно, и мог быть замешан. Только это нас очень удивляло: неужели враг мог так здорово маскироваться. Был Отто Августович Лидак человеком спокойным, немногословным, как большинство латышей, был очень занятым, но неизменно и искренне приветливым с нами, Гутькиными приятелями. Длинный не по возрасту Густав дружил с более старшими ребятами вроде меня, Васьки Целуйко или Саши Гринфельда. Хороший парень был Гутька. И даже допуская, что его отец каким-то образом связан с врагами народа, мы Гутьку жалели и по-всякому старались продемонстрировать ему свое к нему доверие. «Сын за отца не отвечает».

...Я вернулся домой из Мурманска в декабре 1937-го. В горле зрел огромный нарыв, температура была под 40°. Мама, увидев перед собой мою обросшую рыжей бородой рожу, отшатнулась. По-моему, она меня в первый момент не узнала.

— О, господи...— сказала она.— Это ты?!

Обложенный подушками и укутанный в платок я валялся на кровати. Мама энергично лечила меня, и я не сразу заметил ее угрюмо-замкнутое, отрешенное лицо. А в тот день, когда заметил, не успел спросить, так как ко мне неожиданно ввалился Ян

Папрос из девяносто первой квартиры, таща за руку смущенную Зойку.

— Натe вам, объяснитесь, — сказал он, усмехнувшись, и пошел к дверям, оставив Зойку у моей кровати — этакoго ангела скорбящего с синими очами.

Ян Папрос к нашей компании не принадлежал. Он был на несколько лет старше, плавал за рубеж на пароходе «Андре Марти» и был просто хорошим доброжелательным парнем. Собственно, в Институт водного транспорта я пошел, отчасти наслушавшись его морских рассказов. Он да еще крепкий, спокойный Валя Дьяконов были из тех, на кого нам, пацанам помладше, хотелось быть похожими. Отца Васи Дьяконова — Бориса Михайловича, арестовали в конце июля 1937-го, вскоре после ареста Федора Ивановича Целуйко, Васькиного отца. Сам Васька уехал в какую-то там лесоустроительную экспедицию за несколько дней до того, как я отбыл в Мурманск.

В августе взяли и отца Яна Папроса — Яна Томашевича. Мы уже не спрашивали, за что и почему. Эти вопросы не находили ответа. Мы тоже научились молчать. В том же августе в тридцать шесть часов выслали из Ленинграда Гутьку с матерью и сестренкой Миркой, Мирузой. Второпях что-то срочно продавалось — нужны были деньги, чтобы как-то жить в неведомом городе Бугуруслане. Мы вместе с Гутькой носились по скупкам и комиссионкам, торопливо паковали вещи. Эмилия Павловна сидела на стуле посреди пустой комнаты и тихо плакала. Мирка злобно швыряла в чемодан какое-то барахло. Проводить Лидаков на вокзал мы не сумели — их отправили ночью. Может быть, мама не случайно отнеслась с такой легкостью к моему отъезду в Мурманск?

Остановившись в дверях и неподвижно глядя в пол, Ян Папрос сказал:

— В сентябре арестовали мать Вали Дьяконова, а самого его выслали в декабре. В ноябре взяли отца Сашки Гринфельда. У Гнихов никого не оставили. Еще по вашей лестнице взяли Гроздицкого и Кишкеля. Каждую ночь, как овцы, ждем, за кем придут.

Он треснул кулаком по дверной притолоке и вышел. Я услышал, как мама в коридорчике его о чем-то спросила, он ответил ей так же тихо. А больше я уже не слышал ничего: Зойка прильнула ко мне, я ее обнял...

Вечером пришел Сашка, на него страшно было смотреть. Своего отчима — Натана Яковлевича Гринфельда — он любил беззаветно, считал отцом и только что не боготворил. Сашка ни-

чего не знал толком, слышал только обрывки реплик энкавэдэшников, вываливших из шкафов на пол белье и книги. Они с озлоблением смотрели на невысокого, вытянувшегося в струнку на неудобном стуле человека, который, как член РСДРП, участвовал еще в революции 1905 года, бежал с каторги за океан, прошел огонь и воду, был членом ЦК Итальянской компартии и личным другом Антонио Грамши, потом после гражданской войны работал секретарем нашего полпреда Красина, то есть стоял у истоков советской дипломатии, помогал советской кинематографии выйти за рубеж. И вот теперь, будучи директором Театра оперы и балета имени Кирова, он, оказывается, собирается взорвать всю ленинградскую верхушку во главе со Ждановым во время празднования XX годовщины Октября.

— Я хочу написать товарищу Сталину, — говорил Сашка, — он не знает...

Год 1938-й надвигался в нежном кружеве снега, за которым могло скрываться все что угодно. Мы сидели за расшатанным столом четверо: я, еще не знающий, что меня ждет в самое ближайшее время, Сашка Гринфельд, у которого отец был в тюрьме, Володя Беловицкий, уже потерявший родителей, и еще один парень из нашей школы Саша Кедринский, единственный из нас, к кому судьба в тот год оказалась благосклонной, может быть потому, что у него ни отца, ни матери не было и жил он с бабушкой.

В конце января мама вдруг засобиралась в Москву. Я пришел с работы — временно устроился на завод «Русский дизель» учеником токаря, — пришел и увидел: мама запихивает свою кофточку в белую корзинку, которую всегда брала в поездки. Гриша, заложив руки за спину, нервно ходит по диагонали комнаты. Так часто ходила и мама — по диагонали и руки за спиной, тюремная у обоих привычка мерять камеру шагами. Гриша ходит и монотонно бубнит, что нечего ей в Москве делать, да кому она там нужна со своей помощью и тем более со своими вопросами.

Мама не отвечала на его воркотню. Упрямо нагнув голову, от чего ее сильно поредевшие седые волосы упали на лоб и на глаза и на щеки, она пыталась закрыть крышку корзинки. Замок там был не единожды сломан и чинен. Я подошел и, закрыв крышку, спросил, зачем, действительно, она едет в Москву?

Я редко что спрашивал и вообще мало интересовался материнскими общественными заботами: их у нее всегда было более чем достаточно. Вечно она улаживала чужие дела, кого-то выру-

чала из разных передряг, вечно у нас — к неудовольствию Гриши — обедали, ужинали, а то и жили неделями и даже месяцами какие-то неухоженные старики, брошенные мужьями или, наоборот, ушедшие от мужей молодые женщины. Да и живущие в доме чуть не каждый день приходили, как мама говорила, поплакаться ей «в жилетку». Старые политкаторжане называли ее подпольной кличкой — Лиза, для остальных она была Розой, Розочкой, Розалией Исааковной.

И тут эта непонятная для меня поездка в Москву.

— А ты знаешь, что в ноябре арестовали Катю Бибергаль, а еще в августе Сашу Филипченко — отца твоего приятеля Степки? — вместо ответа на мой вопрос сказала мама.

Я этого не знал. Филипченко и Бибергаль не жили в нашем доме, а Степку — внука Василия Ивановича Сухомлина — я не видел с весны.

— А вчера приходили арестовывать, как ты думаешь кого? Прибылева Александра Васильевича... почти через два года после смерти.

— А Анна Павловна? — спросил я помертвевшими губами.

— Слава богу, нет, — сказала мама.

Тут она тоже принялась ходить по комнате, не глядя ни на Гришу, ни на меня и бросая отрывистые слова в совсем несвойственном ей тоне:

— Ты... ты всегда занят только собой... Не знаешь — еще в тридцать шестом за Прибылевым приходили. А он уже был болен, не вставал... И Анна Павловна, а ей почти девяносто, легла перед дверью: «Арестуете Сашу только через мой труп». Так она сказала, понял?

— Не арестовали же, — вставил я.

Мама потрянула головой, опять рассыпав волосы по щекам, ее светлые глаза были оттянуты к вискам и сощурены, словно ей мешал свет включенной лампы.

— Красноармеец у двери плакал. А молодой парень, командир, сказал: «Прости меня, мать, и прощай — мне теперь не жить». Ушел. И конвой увел. А потом Александр Васильевич умер.

Прибылев Александр Васильевич и Анна Павловна Корба, его жена, были самыми старыми и заслуженными жильцами нашего Дома: народовольцы, отбывшие долгие сроки царской каторги и сибирской ссылки. Анна Павловна была, как и Вера Николаевна Фигнер, членом легендарного Исполнительного комитета «Народной воли».

Так и стоят они у меня перед глазами: высоченный, сутулый, с растрепанной сивой шевелюрой и такой же бородой Алек-

сандр Васильевич и маленькая, сухонькая, с прекрасными, истовыми, как на иконах, глазами Анна Павловна. Надвинутая на лоб черная котиковая шапочка поверх белого, тонкого пуха, платка, темная одежда, всегда чуть скорбное и сосредоточенное на чем-то далеком выражение лица — все это делало ее похожей на монашенку. И виделись они мне всегда рядом — огромный, как собор, громогласный Прибылев и тихой часовенкой у его левой руки Анна Павловна Корба. Была у них дочь Анна и внук Саша — он был младше меня на несколько лет.

Да что же они сделали советской-то власти?! Может быть, протестовали против закрытия Музея истории Революции, в основание которого вложили много сил и стараний?

Мы с Левого проводили маму на вокзал — поезд уходил поздно вечером.

Надо сказать, что все квартиры в нашем Доме были оснащены электроплитами. Кухонь как таковых в квартирах не было, обеды и другую готовую еду или полуфабрикаты брали в общей столовой на первом этаже. Там же, на первом этаже, помещался детсад, была библиотека, был музей, был клуб с большим, на четыреста мест залом. Тут же располагалось и Правление Ленинградского отделения Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Была в Доме своя парикмахерская, свой магазин, прачечная и даже ателье для шитья одежды. Так был устроен наш Дом-коммуна.

Для моей бесхозяйственной мамы общая столовая была просто спасением. Вероятно, эта система питания в Доме политкаторжан была задумана и осуществлена не только согласно духу эпохи «раскрепощения женщин», но и потому, что политкаторжане в своем прошлом — революционном, тюремном и каторжном, в вечных скитаниях своих по России и зарубежью — никак не были приспособлены к ведению семейного хозяйства.

Мама вернулась из Москвы через неделю — 1 февраля утром. Ни меня, ни Левы не было дома.

После обеда мы все долго сидели у неубранного стола. Мама говорила о поездке в Москву тихим, упавшим голосом. Она не нашла на свободе ни Биценко, ни Школьник, ни Фиалку. Кто-то, кого она не назвала, сообщил ей о том, что почти год назад в Уфе арестовали Марусю Спиридонову, а из ленинградских — Василия Ивановича Сухомлина.

— Теперь очередь за мной,— сказала мама.— Брали большевиков, теперь взялись за нас, бывших эсеров. За всех, кто знает правду о революции.

— Мам, а может, тебе куда-нибудь уехать? — осторожно спросил я.

Она посмотрела на меня, как на несмышленища.

— Ты думаешь, от НЕГО можно скрыться? Это палач похлеще царя, и сыск у него налажен давно и надежно. Ух, как я его ненавижу! — она вдруг повысила голос: — Убить русское крестьянство, во имя чего? Потом — своих единомышленников, подло, по одному. Что ОН с ними делал, что они во всем признавались?

Звонок в дверь раздался той же ночью, около двенадцати. Я пошел открыть. Увидев вначале только коменданта дома Яунзема и дядю Мишу, я подумал, что опять из-за меня, не могли подождать до завтра.

— Мама дома? — спросил Яунзем.

— Дома, — сказал я.

Вслед за комендантом и дворником вошли еще двое: военный с лицом сытого хомяка-альбиноса с двумя кубарями в петлицах и молодой красноармеец с винтовкой. Позже, когда все уже было закончено, я подобрал, видимо оброненную, копирку, которую военный использовал для протокола. Я разобрал фамилию: Зайцев. И буду его так именовать, хотя он нам не представлялся.

— Посторонние есть? — скучным голосом осведомился он.

Посторонние были: в Левиной комнате сидел его бывший одноклассник. Они играли в шахматы, на звонок и голоса оба вышли.

— Кто из вас посторонний, прошу удалиться, — сказал Зайцев.

Когда Левин приятель ушел, «хомяк» с кубарями предъявил два ордера: на обыск в квартире и на арест Рабинович Розалии Исааковны, то есть моей мамы.

— Пожалуйста, — совершенно спокойно сказала мама и улеглась на кровать.

— Всех членов семьи прошу сюда, — распорядился «хомяк».

В комнату вошел Гриша. Вид у него был невозмутимый и даже приветливый, словно к нам в гости пришел его ближайший друг.

Зайцев не торопился начинать обыск. Он вынул из портфеля листы бумаги, копирку, отточенные карандаши. Снял и повесил на вешалку в передней шинель, расчесал примятые фуражкой белесые волосы. И лишь после этого все тем же скучающим го-

лосом предложил нам сдать оружие. Мы слевой недоуменно переглянулись. Тут Гриша, тяжело поднявшись с кровати, на которую он уселся было рядом с мамой, пошел к нише, где под электрической плитой у нас был шкафчик.

— Вот наше оружие,— сказал он и бросил на стол перед Зайцевым наши немногочисленные ножи и вилки.

— Шутить не советую,— буркнул «хомяк» и приступил к обыску именно с посудного шкафа, словно там и впрямь мы спрятали оружие.

— А вы еще наверху посмотрите, на антресолях,— любезно подсказал я.

Мама с неудовольствием покосилась на меня:

— Дурачок...

Я вспомнил рассказы наших стариков про обыски в царское время: не полагалось помогать полиции. Лев пристроился на плюшевой банкетке и изредка не то тихо всхлипывал, не то как-то странно покашливал. Гриша вначале сидел спокойно, но потом встал и заходил по комнате, не обращая внимания на замечания Зайцева, который рылся в комод. Был у нас в маминой комнате такой большой старинный орехового дерева комод с красивым зеркалом, закрепленным между двумя витыми колонками.

Мамина, она же общая комната была, пожалуй, самой уютной в нашей просторной квартире. Только здесь лампочка над столом имела подобие абажура, здесь стояли старинные стулья с высокими спинками, старенькая, но симпатичная банкетка, особый шик придавали две картины в тяжелых рамах — картины, действительно, хорошие, подлинники кисти какого-то голландца. Когда мы приехали в Питер в 1924 году, политкаторжанам, у которых не было ни кола ни двора, выдавали мебель из опустевших барских особняков. Мама очень смеялась, получив одну из зарплат мебелью, в другую зарплату попали картины, судя по зарплате, за бесценки.

Комната старика Гриши и наши слевой комнаты были вовсе в спартанском духе.

В комод мама хранила белье, а в верхних ящичках у зеркала лежали разные бумаги, документы, старые письма и фотографии. Эти-то ящички Зайцев и стал трясти с особым тщанием. Он составил вместе два стула и вываливал на них содержимое ящичков, небрежно рвал конверты, читал пожелтевшие листки, что-то сбрасывал прямо на пол, что-то, усмехаясь, откладывал на стол, присаживался и делал записи. Мама сидела неподвижно. Из большой обтрепанной конфетной коробки посыпались

совсем старые фотографии: каторжане, ссыльные, дореволюционные портреты родных и знакомых. Фотографии сыпались из конфетной коробки. Мама как-то съежилась и прислонилась головой к спинке кровати.

— Накапать тебе валерьянки? — спросил я. Мама кивнула.

— Сидеть, ничего не капать! — приказал «хомяк», даже не подняв головы.

— Так валерьянка же...

— Нельзя.

Я не сел, стал ходить по комнате, потом все-таки плеснул в рюмку лекарство, долил воды и за спиной Зайцева протянул маме. Угрюмый красноармеец с винтовкой стоял у входа, опустив глаза, иногда мне казалось, что он стоя дремал. В уборную он нас конвоировал, исправно предупреждая не запирать дверей, словно кто-то из нас мог сбежать через канализационную трубу. Глядя на него, я вдруг припомнил, с каким особым удовольствием мама водила по Петропавловской крепости экскурсии красноармейцев. «Ах, какие это славные ребята, — говорила она, — как слушают».

«Хомяк» внимательно рассматривал фотографии, переворачивал их, читая надписи на обороте, какие-то откладывал в сторону. Одну из старых групповых фотографий он протянул маме.

— Что это? — спросил он.

— Женская каторжная тюрьма в Акатуе, девятьсот одиннадцатый год, швейная мастерская, — спокойно объяснила мама.

— Перечислите фамилии, кто тут сидит?

— Анастасия Биценко, Мария Спиридонова, Мария Школьник, Фанни Каплан.

Зайцев удовлетворенно хмыкнул: вот оно! И отложил эту фотографию особо.

— Так девятьсот же одиннадцатый год, — не выдержал я.

Мама опять одернула меня. Она держалась замечательно. Я только теперь понял, какова она была, моя мама, в своем революционном прошлом.

На Левину комнату «хомяк» почти не обратил внимания, только разворошил зачем-то постель. Большую полукруглую Гришину комнату, где кроме верстака — отчим столярничал, — этажерки и тахты из двух ящиков, накрытых матрацем и накидкой из драпировочной ткани, не было никакой мебели, Зайцев, можно сказать, и не осматривал. Раскрыл стенной шкаф, сунул туда руку, пошарил и закрыл. Взглянув на сработанную Гришей в виде большого тома «Капитала» деревянную подставку под репродуктор, криво ухмыльнулся и вышел.

— А вы еще в ванной не смотрели,— елейным голосом сказал я.

Он добросовестно полез под ванну и лыжной палкой выгреб из-под нее кучу пустых «мерзавчиков»; должно быть, их туда запихивала старая, еще при бабушке жившая у нас домработница, большая любительница спиртного. В моей комнате Зайцев задержался. Внимательно осмотрел все книги, вытряхивая каждую, потом полез в ящик стола. Там сверху лежало письмо от Зойки и даже с засушенным цветочком. «Хомяк» взялся его читать, но я решительно выхватил листки из его бледных и потных пальцев.

— Лю-ю-юбефь...— издевательски пропел он, но письмо оставил в покое.

В промозглый предутренний час я вышел проводить маму до машины: не «воронок», обыкновенная синяя «эмка». Мама была в новом, недавно сшитом (за столько-то лет наконец собралась его сшить!) зимнем пальто. Мы поцеловались.

Знать бы, что в последний раз...

По лестнице к себе домой я шел пустой и гулкой, как раскошшаяся бочка. Ни одной, ни единой мысленки не мелькало в голове, только неясные обрывки газетных заголовков или фраз из Сашкиного письма «к товарищу Сталину».

— Все! — сказал я, войдя в квартиру.

Гриша молча полез в свою «берлогу» и извлек поллитровку. Это было совсем непривычно, но я не удивился. Мы, то есть я, он и Лева, пили водку и молчали. Потом я поднялся на четвертый этаж к Гринфельдам, я знал, что там не спят. Звонить мне не пришлось — Сашкина мать Беба Марковна стояла на пороге.

— Проходи,— сказала она.— Хочешь чаю? Маму? — спросила она.

Наступало утро 2 февраля 1938 года. Бебу Марковну арестовали через двадцать дней, как жену врага народа.

Февраль оказался роковым для политкаторжанского дома. В одну ночь с мамой забрали еще шестерых и среди них Зойкиного отца — Ивана Дмитриевича Богомолова, политкаторжанина-шлиссельбуржца. 6 февраля во двор с помертвевшим лицом вышел Тимка Колосов из девяносто пятой квартиры: ночью взяли отца, при царе осужденного на вечную каторгу. 8 февраля арестовали улыбчивого, доброго и красивого старика Тер-Оганяна, близкого друга Гриши, его соседа по нарам в Акатуевской каторжной тюрьме.

Февральские аресты катились лавиной.

— Папу сегодня взяли, — плакала 12 февраля Зойкина одноклассница Галя Адасинская, еще не зная, какая судьба постигнет ее и ее мать.

Миша Алешковский рассказывал, что отца вызвали в жилконтору, он спустился туда, как был дома в тапочках и черной ермолке на голове. Не вернулся. Алексей Николаевич Алешковский был вместе с мамой в Кольской ссылке в 1904 году.

14 февраля был арестован отец Веры и Лиды Терских, 15 февраля — отцы Игоря Комарницкого и Миши Остроумова, 28 февраля взяли старого большевика Петра Сергеевича Мокрова. Терский, Комарницкий, Остроумов и Мокров, как впрочем и большинство политкаторжан, были участниками первой русской революции 1905 года. Всего в феврале из нашего дома забрали тридцать человек. В день Красной Армии арестовали Яна Папроса — за отца и старшего брата Сигизмунда.

Аресты были и позже, в другие месяцы, но уже не так густо.

Мы ходили на Шпалерную к углубленному в стене окошку порознь — у каждого был свой назначенный день, один раз в месяц, по алфавиту. Мой день был в середине месяца. Надо было выстоять огромную очередь, чтобы передать шестьдесят рублей и таким способом узнать, что следствие еще не окончилось. Мы хорошо помнили рассказ Гутьки Лидака: в один из дней деньги не приняли, послали в другое здание Большого дома. Дверь в самом углу садика на Литейном вела к окошку, откуда на его вопрос об отце Гутька услышал:

— Нет такого.

— Как нет? А где он? — растерянно спросил Гутька.

— На Луне! — отрезал по ту сторону окна энкавэдэшник.

«Расстреляли», — понял Гутька и долго, до самой высылки, не решался сказать об этом матери.

В начале марта, когда нас уже переселили в квартиру поменьше, под вечер в дверь позвонил маленький Саша Прибылев. Его розовые оттопыренные уши пылали, словно их натерли снегом. Почти не разжимая губ, он вызвал меня на лестницу и попросил выйти во двор. Я вышел — под аркой, прижавшись к стене, за выступом цоколя, стоял Гутька. В легком пальто — из коротких рукавов торчали длинные красные руки, в лыжной шапочке с козырьком.

— Я... оттуда, — прошелестел он белыми замерзшими губами.

Я потащил его наверх. Лева сбегал за Сашкой Гринфельдом и за Игорем. Больше мы никого не стали посвящать в Гутькино нелегальное появление. Обогревшись, он начал, наконец, отвечать на наши расспросы. Их не оставили в Бугуруслане, посла-

ли дальше в какое-то совершенно заброшенное в степи село. Мать не хотели брать на работу, у Гутьки были случайные заработки, Мирка бросила школу — на нее там смотрели, как на зачумленную.

— И так мне там тошно стало, робяты, хоть вешайся,— сказал Гутька.— А надо обратно. Не то хватятся, еще мать посадят.

Он спал на нашей старенькой продавленной банкетке и стоял во сне.

Утром мы обмотали его лицо широким бинтом («человек-невидимка»), нахлобучили меховую ушанку, Игорь притащил теплый свитер, который болтался на тощих Гутькиных плечах, как на вешалке. Бросив все свои дела, мы бродили с Гутькой по Питеру. «Робяты, робяты, что же это получается?» — твердил он. У него были тоскливые, потерянные глаза. На днях ему исполнилось шестнадцать. Он пробыл два дня и уехал. И ничего больше мы не узнали ни о нем, ни о его матери, ни о Мирке.

Любому из нас могли в любой момент ответить из окошка: «на Луне» или что-нибудь в этом роде, любого из нас могли вот так же выслать из Питера куда угодно или арестовать, как Яна Папроса.

После того как арестовали Бебу Марковну, а девятилетнего Сашиного брата Вольку забрали к себе родственники, мы стали собираться в сильно уменьшившейся гринфельдовской квартире. «Продолжаем жить, леди и джентльмены», — говорил Сашка и ставил на стол очередную бутылку. Если подпирало с деньгами, мы заходили к профессору Веденову. Володю Беловицкого выставили из школы при Академии художеств, он куда-то устроился маляром. Александр Васильевич теперь наливал нам спирт без всяких антимоний. Но не могли же мы уж очень нахально «обдирать» профессора. Кому-то из нас пришла в голову блестящая мысль: забраться в опечатанный еще при аресте Натана Яковлевича шкаф, Сашка сказал, что там остались ценные вещи. Печати мы не тронули, мы просто сняли заднюю стенку шкафа, достали кожаное пальто, костюм, еще что-то и продали. Сашка уже знал, что в ближайшие десять лет эти вещи его отцу не понадобятся. Бебу Марковну из тюрьмы отправили в ссылку, и Сашка отдал ей деньги, не открыв их происхождения.

Пили мы «по-черному», то есть до полного одурения, чтобы не думать, не помнить того, что со всеми нами, со всеми нашими стариками происходило. У Сашки начался нервный тик, что-то вроде «пляски святого Витта». Даже Лева приучился пить, хотя не умел и не любил этого раньше. Гриша клял меня последними словами и ругал при этом даже моего родного отца Ивана

Ивановича Калюжного, который, как вспоминала мама, был по питейной части большой любитель.

Месяц шел за месяцем. Я стал работать в лаборатории Химпищекомбината на Охте. Этот комбинат считался раньше политкаторжанским, но теперь там почти никого не осталось, начиная с директора Григория Матвеевича Тура, арестованного в апреле.

Я по-прежнему раз в месяц наведывался к окошку на Шпалерной. Ничего о маме не сообщали, но деньги брали: значит, жива и пока никуда не отправлена. В последних числах июля деньги не приняли, послали, как некогда Гутьку, а недавно Мишутку Алешковского, Комарницкую, Терскую,— к двери в уголке сквера на Литейном. Народу там было видимо-невидимо, не протолкнуться: очередь вилась несколькими удавчатыми кольцами через весь маленький сквер. Я отправил Льва домой — на этот раз он пошел со мной,— а сам остался стоять в очереди, в самом ее хвосте.

...Мы с Гришей уезжали в ссылку на Северный Урал 9 августа 1938 года. Не стали дожидаться принудительной отправки — уезжали сами, распродав все, что было возможно, включая книги и мою коллекцию марок. Я бы мог не уезжать так далеко от Питера: доброжелательный энкавэдэшник в штатском долго «путешествовал» со мной по карте, висевшей у него в кабинете, предлагая места поближе: Новгород, Череповец, Галич. Но Гриша зашел в его кабинет раньше меня, и ему без всяких околичностей был определен городок на Каме Сарапул. И уж очень жалобно он сказал: «Как я там буду один». Преодолев свою неприязнь к нему и подумав о том, что мама бы меня осудила, если бы я его бросил, я тоже выбрал Сарапул. Тем более, что именно туда были высланы с матерями братья Комарницкие и Миша Алешковский.

Мои без малого пять ссылочных лет мало чем отличались от мытарств сотен и тысяч ЧСИРов.

Мне нелегко возвращаться памятью в ссылочные годы, во все это зыбкое, мутно-неопределенное существование.

Начать с того, что в Сарапуле мы с отчимом совсем разошлись: он без конца упрекал меня в недостаточном к нему внимании и почему-то в том, что я «сiju на его шее», хотя я сразу же по приезде нашел работу и получал за нее деньги, намного больше его выхлопотанной в ссылке персональной пенсии. Мне осточертели его вечные попреки, в которые он ухитрялся встав-

лять все, вплоть до арбуза, разбитого мною о тумбу, когда мне было семь лет.

Короче говоря, я снял себе комнату и убрался с Гришиных глаз долой. Мы встречались с ним разве что в унылом помещении НКВД, куда два раза в неделю — по вторникам и пятницам — приходили отмечаться. Встречались и обменивались короткими, малозначащими фразами вроде: «Как живешь?», «Как здоровье?», «Нет ли вестей от мамы?».

Вестей, разумеется, не было.

Мы были молодыми ребятами — кому восемнадцать, кому девятнадцать-двадцать лет. Все мы где-то работали, зарабатывали на более или менее сносную жизнь. По вечерам собирались своей, питерской, компанией. Особо не пили, хотя не отказывали себе и в этом. Я и Алешковский вдруг увлеклись театром. Наш драмкружок при Доме культуры кожевенного завода соперничал с профессиональной труппой местного театра, арендовавшего помещение того же Дома культуры. Душа и разум нашего драмкружка — бывшая актриса и очень красивая женщина Вера Николаевна Дальская учила меня целоваться «по-сценически», это почему-то было для меня чуть ли не самым трудным. Несмотря на мой сравнительно невысокий рост, Вера Николаевна поручала мне ведущие роли. Меня стали узнавать на улицах маленького городка.

Судьба же моя ссыльная готовила мне сюрприз...

Я — ВЕРЮ! (Вместо эпилога)

«России грозит неминуемая катастрофа... Подумать только... при достаточном количестве хлеба и сырья,— и в такой стране, в такой критический момент выросла массовая безработица... правительство... ограничилось бюрократической игрой в реформы... Те же нефтяные короли, тот же застой... тот же развал на этой почве, то же хищение народного труда...»*

Что это — строки из сегодняшних газет?.. Нет. Они произнесены еще летом 1917 года. Лениным. Но мог ли тогда создатель советского государства, утопически мечтавший о грядущем царстве социальной справедливости, предположить, что его слова будут реальностью и 80 лет спустя?..

Демократические реформы... Казалось бы, они до глубины потрясли основы рухнувшего строя: не стало СССР, не стало КПСС, утвердилась гласность, пришли рынок, свободное предпринимательство — радующий итог. Но в стране воцарился и мощный слой стремительно разбогатевших нуворишей, фундаментом которого стала вчерашняя партийная бюрократия.

В одной статье я прочел, что три понятия — «свобода, порядок, держава» — воплощают в себе национальную идею России **. Но какая свобода?.. Какой порядок?.. Какая держава?..

Марксистская формула: «Свобода — есть осознанная необходимость» — не устарела и сегодня. Чтобы был порядок, люди должны пользоваться свободой не в ущерб обществу. Однако мы живем в пору свободы криминальной, свободы экономически спекулятивной, при порядке, в котором судьбы тысяч семей решает финансовый туз. Живем в державе, чьи границы общи-паны и обгрызены. Да есть ли это порядок, когда преступные группы откупаются от правоохранительных органов?.. Нищета, бедность, отсутствие жизненного пространства неизбежно рожают преступность. Страшна власть такой жизни, в которой не видны горизонты... Она ломает людей, ранит, терзает их, отнимает надежду, повергая в отчаяние. Рушатся границы между добром и злом. Побеждает безверие. «В какую сторону ид-

* В. И. Ленин. Грозящая катастрофа и как с нею бороться. Пг., 1917.

** «СПб. ведомости», 17.V.97. (З. Сикевич: «Свобода, порядок, держава».)

ти?» — спрашивает не имеющий заработка человек. И идет туда, где есть риск, но есть и нажива.

Искалеченный наркотиками, пьянством и алкоголизмом, почти поголовной социальной распушенностью народ не способен ни утвердить, ни отстоять демократию. У него сейчас одно на уме: «Как прожить?.. Как заработать на хлеб?» Долгие века российской истории приучили людей к лишениям и скромности. Но ныне вековой уклад рвут, взрывают. Сталкивают в бездну. И вот личность, в которой главное — ум, честность, высокое понимание долга — вырождается; ее все чаще заменяют злобные, высокомерные лица.

Нужно наконец разобраться, понять, каково теперь духовное здоровье народа? Что будет с ним завтра?.. Войны и смуты не раз его раздирали, но этот тысячелетний народ не исчез. Не рассеялся. Были и жертвы, и непокорство. Уничтожение и возрождение. Упадок и новый подъем. Каждый раз он вновь и вновь подымался с колен. И твердо говорил: «Я был. Я есть. Я буду».

Так что же теперь — выдержит ли он ту тяжкую ношу, какую взгромоздило на него время?.. Понимает ли он сам, этот народ, что предстоит ему выдюжить?.. Помните: когда более полувека назад немцы были уже в глубине России, прозвучало панфиловское: «Позади Москва — отступать некуда!» Мы пришли к криминальному государству, к глубокому социальному расслоению, к тому, что демократические идеалы и авторитеты деградировали. Так не пора ли и нам сказать: «Позади Россия — отступать некуда!»

Многое породило эту нынешнюю метаморфозу. Была огромная война, а следом, как и до нее, обрушились на народ страх, ложь, насилие. Эталонами жизни стали тюрьмы, пытки, лагеря смерти, ссылка. И все это неизбежно калечило душу и ум народа. Но, быть может, волшебное слово «демократия» мгновенно излечило народ от всяческих страхов? Быть может, он стал поинему мыслить и жить? Может, отряхнул с себя прах сумасшедшей действительности?..

80 лет назад народ знал ясные лозунги: «Мир — народам. Земля — крестьянам. Фабрики — рабочим». Идеи и цели были ложными, но они были. Нынешнее время отняло цель. Порой кажется, что современность, — это бессмысленная, беспомощная, растянутая на годы трагедия, полная нелепостей. Крутые перемены, ломки — разве прошли они бесследно?.. Иссыкают источники духовности, питающие корни народа, иссыхают и сами корни. Люди жаждут человеческой теплоты, избавления от горестей. Та Россия была страной выдуманного социализма,

но в эту выдумку верили, жили с нею. Теперь на месте выдумки печальная действительность, у которой хмурые лики и так мало мужественных. Честных.

Время... Безмерное. Неостановимое. В каждую эпоху оно имеет свою душу. Полвека назад душой времени была война. В царствие Иосифа Джугашвили народ принуждали мыслить штампами. Тот, кто осмеливался мыслить по-иному, объявлялся «врагом народа». Но в войну эта придавленная душа рванулась защитить Родину и забыла все обиды. При всей его негативности советское общество было символом единой судьбы. Так уж сложилось, что идеи, практика жизни, быт развивались по законам общности. Чтобы не стать изгоем, отщепенцем, ее должно было признавать. Сегодня это уже рутина, но она все еще владеет умами.

Так почему же народ перестал хотеть? Почему в пору первых пятилеток вкальвали не по восемь, а по пятнадцать часов в сутки?.. Потому что была вера в то, во что верилось. Так неужто наше общество поражено полным беспамятством и хладнокровно смотрит на все, что творится сейчас?.. Не думаю. Постоянная ломка психологических статусов, лихорадка общественного сознания, синдром жизненной подавленности, и все это — при смене поколений, — вот причина апатии, безразличия ко всему, кроме собственной судьбы.

Но иначе и быть не может. Состояние смутной каждодневной тревоги — это та духовная доминанта, которая сегодня владеет умами. Она рождает озлобленность, желание прибегнуть к насилию, все равно какому.

Характерная черта нашего времени — противостояние. Оно всегда жило в обществе: партийная элита и просто народ, бюрократы и обыватели... Вызываемое безвластьем правительства и, одновременно, всевластьем новорожденного капитала и криминальных структур, оно усилилось. Провалы социальной политики, нелепости, совершаемые государственным управлением становятся закономерностью. В этих условиях гражданская свобода делается несвободой. И все это калечит сознание народа. Как вода из разбитого сосуда, утекает из него человечность. Можно убить, обмануть, украсть, разорить — каноны справедливости, милосердия отринуты. Они мешают. Идет война всех против всех...

Случается, что в бою человек покалечен. Единожды. У нас душу калечат ежечасно. Жизнь сталкивает рядового гражданина с чиновником, коммерсантом, предпринимателем, службой порядка, и все чаще он встречает открытый вызов разуму, культу-

ре. Нравственности. Агрессивная наглость, циничная алчность ошеломляют. Нет, это не проходит бесследно. Когда рушится социальная, экономическая, нравственная первооснова общества, поиски справедливости и порядка принимают форму насильственного самоутверждения: разбой, террор становятся стандартом поведения и повседневности. И уже слышится уродливый отзвук революционных времен: «Грабь награбленное!»

Народ смертельно устал. Все чаще замечаются люди с пришибленной психикой. И приходят на память слова одного из персонажей Чехова: «Мир погибает не от разбойников и не от воров, а от скрытой ненависти».

Есть нечто примечательное в истории России: два вопроса, рождаемые общественными движениями: «Что делать?» и «Кто виноват?». Ленин на первый вопрос ответил гражданской войной, а на второй — изгнанием лучших умов России за ее пределы. Сталин?.. О, этот отлично знал и «Что делать?», и «Кто виноват?». Он пророчил государство всеобщего благоденствия, а тех, кто возражал, смирял плеткой репрессий. Не было в истории цивилизации более несправедливого общества, чем то. Народ принужден был жить по команде, ему приходилось жить и трудиться в двух сферах: расцвет искусства и культуры, управляемый сверху, был неоспорим, и тогда же в застенках, тюрьмах, лагерях эту культуру истребляли. Миллионы людей не понимали всей ложности сущего, тем более, что и в микро- и макромасштабе многое удавалось свершить. И горько, что теперь, спустя полвека, в России еще столько людей, которые не понимают смысла своей жизни, своей причастности к прошлой и сегодняшней трагедии.

После войны, всех ее ужасов, сердца людей искали утешения, а руки — дела, созидания. И казалось, наступает, наконец, время больших перемен. Но вместо них народу пытались привить веру в социально-экономические панацеи.

Несправедливо упрекать сегодня Президента, Думу, Правительство во всех бедах. Они получили тяжелое наследство, в котором были глубоко порочные экономика и сельское хозяйство. И реяли в ту пору высокие словеса о «бесклассовом обществе». В царской России классовые различия были отчетливо зримы: разница между нищим и богачом воспринималась как обыденность. Но не было такого, чтобы ничтожная часть народа обладала невиданным доселе богатством, а громадное большинство влачило жалкое существование...

Без понимания будущего, и в равной мере прошлого, духовное здоровье народа недостижимо.

После всего, что произошло в минувшие 80 лет, народ жаждет истины. Однако сегодня газеты находятся в плену сенсаций. Картины криминала, красочно указующие, как убивают, занимают целые полосы. Зачем?.. Это помогает бороться со злом?.. А телевидение? Оно стало рассадником распушенности, унижения. Экранная жизнь способна разрушить сдерживающие моральные тормоза. Наши СМИ состязаются в том, чтобы покруче показать, как все плохо и безнадежно. А народ-то ведь хочет стабильности, начала движения вверх...

И не спит тревога: не случится ли так, что сдавленная нуждой, голоданием, беспределом преступности вспыхнет и подымет новая ярость искалеченного, обездоленного, но все еще могучего мужика?..

Нет, такое не должно случиться. Никогда. Мы подошли к той черте, когда общество должно искать способы самозащиты. Уразумения происходящего. Управления им. Необходимо выработать свойственную России идеологию, культуру. Систему, понятную для всех. Миллионы раз повторенный термин «реформы» утратил свой первородный смысл. Суть его народ не понимает. Надо объяснить, как преобразить жизнь: вот — было, вот — есть, вот — будет. Вот поэтому-то народу и нет никакого дела до власти и до тех войн, которые бушуют между «этими» и «теми». В наше смутное, колеблющееся время не раз слышались призывы: «Надо потерпеть». Терпим. Но все чаще тревожит вопрос: «Во имя чего?»

Изнуренная четырехлетней войной, истекающая кровью Россия сумела создать себя заново. Как бы ни выглядели сегодня лозунги социализма, дело было не в них. Народ верил в лучшее. Эта вера давала глубоко дышать. Прибавляла сил. Человек идет по трудной дороге. Может ли он шагать, не зная куда? Ему нужна вера в завтрашний день. Ее нет. Гложет душу: «А может завтра будет хуже?..» И народ вправе спросить: «Где же он, голос нашей литературы, той, что учит и зовет к лучшей жизни; где слово о живых, а не о мертвых душах?..» В холоде и запустении сегодня наша культура, искусство. И литература — тоже.

И все же мы не должны, не имеем права поддаваться отчаянию. Не иссякли в народе живые силы. Раскрепощение духовности приобрело необратимый характер. Подавленная, но не исчезнувшая человечность не угасла. Однако только сильная власть и сильная культура защитят народ от социальной мерзости и нравственного распада, помогут победить агрессию преступности, растленной наживы, имущественного бесправия. Сегодня от каждого, кто держит в руке перо, кисть, резец, кто сто-

ит на эстраде, требуется мужество. Неужто навсегда покинуло оно нас?.. Будет настоящей катастрофой, если люди утратят надежду на Завтра. Нет, не только от финансовых воротил, приватизаторов, бизнесменов зависит, в какую сторону повернется общественное сознание, чему подчинится, что возглавит. Мы должны дать отпор безумным проповедям, в которых звучит ненависть к прошлому и националистическая жестокость.

Широкое движение за демократию не может и не должно остановиться. Еще остается привычка к коллективизму и многим трудно бывает согласиться с тем, что обычная торговля — не есть спекуляция; что старание приработать — не есть стяжательство; что свободный труд — не тунеядство. Что люди энергичные, образованные, идущие в бизнес, вовсе не проходимцы, а «дело делают». Но согласиться с мнением историка, что «вместо Народа какое-то другое население, россияне, разделенные на группы и рвущие друг у друга куски» ни в коем случае не могу.

Только раб продает свои честь и совесть. Увы, сегодня их продают многие, приходящие во власть. Но не революциями, а эволюцией живет и дышит мир. Историю России пропахали бунты и великие свершения, мировые открытия и тяжесть порабощения. Ее способность, испытав жесточайшие катаклизмы, вновь возрождаться, не имеет аналогов во всемирном историческом процессе. Ее грядущее уходит далеко в бесконечность.

Есть явные признаки того, что тяжелобольная страна выздоравливает. Это еще сложно уловить, но это так. Мы все острее ощущаем атмосферу исторического кануна, что предшествует подъему. Медленно? Да. Но неуклонно. Главная идея, которую нужно сегодня защищать — идея Родины. Она возвышается над всем и всеми. «Для России существенно важно, чтобы каждый осознал себя человеческой личностью в абсолютном ее значении и членом нации в абсолютном ее предназначении». Это сказал Александр Блок.

Его правота неоспорима. За нами — сила исторического прогресса. Надо убежденно верить в нравственную мощь своего народа.

Я — верю!

Захар Дичаров

СОДЕРЖАНИЕ

Железные звенья памяти. <i>Захар Дичаров</i>	11
Даниил Натанович Альшиц	12
«Своя» тюрьма	14
Игорь Владимирович Бахтерев	19
Горькие строки	20
Анатолий Ефимович Горелов	29
Пережитое	31
Захар Львович Дичаров	45
Если оглянуться...	47
Владимир Днепров (Вольф Давыдович Резник)	96
Это было	97
Симон Давыдович Дрейден	114
Каторжанин 50-х	116
Дмитрий Сергеевич Лихачев	129
Соловки	131
Адриан Владимирович Македонов	138
Воркута ты, Воркута...	139
Игорь Леонидович Михайлов	159
Сквозь ненастье	160
Надежда Януарьевна Рыкова	170
Из воспоминаний щепки	171
Василий Андреевич Соколов	180
Восемь лет ожидания	181
Софья Степановна Солунова	190
Расскажу о себе...	190
Иван Ильич Уксусов	194
Свобода в плену	195
Вадим Григорьевич Фролов	233
Жернова (Из воспоминаний)	234
Я — верю! (Вместо эпилога). <i>Захар Дичаров</i>	249

Литературно-художественное издание

**Распятые
Писатели —
жертвы
политических
репрессий**

Автор-составитель
Захар Львович Дичаров

Выпуск 4
ОТ ИМЕНИ ЖИВЫХ...

Зав. редакцией *В. В. Винокурова*
Обложка художника *Л. Г. Епифанова*
Художественный редактор *В. Б. Михневич*
Техническое редактирование
и компьютерная верстка *А. Б. Этиной*
Компьютерный набор *Г. В. Гордеевой*

Лицензия ЛР № 010001 от 10.10.96.

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93-953000. Подписано в печать с оригинал-макета 25.02.98. Формат 84 × 108 ¹/₃₂. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,44.

Уч.-изд. л. 13,73. Тираж 3000 экз. Заказ №

Отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства
«Просвещение» Государственного Комитета Российской
Федерации по печати. Санкт-Петербург, 191186,
Невский пр., 28.

тип. газ. "На страже Родины". Зак. 3175